РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4
ИЮЛЬ–АВГУСТ

"НАУКА"
МОСКВА-1996

СОДЕРЖАНИЕ

А.В. Бондарко (Санкт-Петербург). Теория инвариантности Р.О. Якобсона и вопрос об общих значениях грамматических форм 5
Г.А. Климов (Москва). Два тысячелетия внешней истории малого языка (сванские данные)..... 19
Е.В. Урысон (Москва). Синтаксическая деривация и "наивная" картина мира..... 25
Н.В. Перцов (Москва). Грамматическое и обязательное в языке 39
П.В. Петрухин (Москва). Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века 62
Е.М. Брейдо (Москва). Интервальная модель русской метрики..... 85
А.В. Сидельцев (Москва). Особенности деривации в парах слов "прилагательное – субстантивированное прилагательное" в хетто-лувийских языках..... 95

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Л.Ю. Астахина (Москва). Древнерусская рукописная картотека XI–XVII вв..... 112

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М.М. Маковский (Москва). *Т.В. Топорова*. Семантическая структура древнегерманской модели мира..... 120
В.А. Виноградов (Москва). *Akamatsu Tsutomu*. Essentials of functional phonology 128
Л.В. Куркина (Москва). *F. Bezlaj*. Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga P–S. Dopolnila in uredila Marko Snoj in M. Furlan. 132

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки..... 138

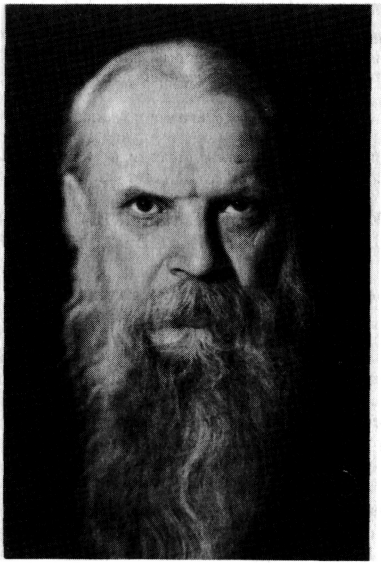
РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой* (главный редактор), *О.Н. Трубачев* (зам. главного редактора), *А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1996 г.



27 июня 1996 г. скончался

НИКИТА ИЛЬИЧ ТОЛСТОЙ

человек высокой духовности и большой души, соединивший в своих жизненных трудах преданность науке, любовь к своей земле, благожелательную доброту и неизменную ответственность. Академик, член Президиума РАН, заместитель академика–секретаря Отделения литературы и языка РАН, почетный член многих иностранных академий и научных обществ, председатель Российского гуманитарного научного фонда и Российского комитета славистов, главный редактор журнала "Вопросы языкознания".

Н.И. Толстой родился 15 апреля 1923 г. в городе Вршац в Сербии, участвовал во второй мировой войне и после победы вместе с семьей вернулся в Россию. Его филологические интересы отличались исключительной широтой, в исследованиях по славянской духовной культуре, этнолингвистике, истории славянских литературных языков он создал собственные школы, которые во многом определяют развитие этих областей в настоящее время. В последние годы Никита Ильич, жертвуя и своими силами и временем, вел очень большую организационную работу, стремясь сохранить и поддержать российскую гуманитарную науку: его усилия здесь были поразительно плодотворны. Коллеги и друзья с чувством горькой обездоленности переживают безвременную кончину выдающегося ученого.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. А.В. БОНДАРКО

ТЕОРИЯ ИНВАРИАНТНОСТИ Р.О. ЯКОБСОНА И ВОПРОС ОБ ОБЩИХ ЗНАЧЕНИЯХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

1. АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ИНВАРИАНТНОСТИ

1.1. Понятие инвариантности трактуется в трудах Р.О. Якобсона как одно из основополагающих понятий в развитии языкознания. По мысли ученого, значимость проблемы инвариантности выходит далеко за пределы лингвистики. Задача "извлечения из потока вариаций относительно инвариантных сущностей" рассматривается как интердисциплинарная тенденция. Говоря о том, что эта тенденция четко проявилась в 70-х гг. прошлого века как в лингвистике, так и в математике, Р.О. Якобсон соотносит понятие инвариантности с идеей относительности: эта идея вместе с ее следствиями трактуется как "обратная сторона понятия инвариантности" [Якобсон 1985а: 307, 310]. Лингвистика разделяет с биологией тот взгляд, согласно которому "стабильность" и вариативность заложены в одной и той же структуре и имплицируют друг друга [Якобсон 1985б: 395–396].

Р.О. Якобсон выделяет в лингвистике два этапа исканий, связанных с понятием инвариантности. Первый этап сопряжен с учением о фонеме как инварианте в плоскости звуковых вариаций, второй – с установлением и истолкованием инвариантов грамматических [Якобсон 1985в: 177].

С соотношением инвариантности/вариативности тесно связано истолкование Р.О. Якобсоном проблемы эквивалентности при существовании различия. Эта "кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики" охватывает три способа интерпретации вербального знака, которым соответствуют три типа перевода: 1) внутриязыковой перевод – интерпретация вербальных знаков посредством других знаков данного языка; 2) межъязыковой перевод – интерпретация вербальных знаков посредством иного языка; 3) межсемиотический перевод – интерпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем [Якобсон 1985г: 362–363].

Принцип инвариантности/вариативности в теории Р.О. Якобсона распространяется на соотношение языкового кода и различных подкодов как функциональных вариантов языка, включая вариативность степени эксплицитности/эллиптичности языковых моделей, вариативность стилей и вариативность типов речи [Якобсон 1985 б: 381].

Идея инвариантности в ее соотношении с вариативностью распространяется на всю языковую систему, рассматриваемую в ее проявлениях в речи, во взаимодействии со всем тем, что выходит за пределы языка, но оказывается существенным для его функционирования. Постоянное и всеобщее взаимодействие инвариантов и вариантов является "существенным, сокровенным свойством языка на всех его уровнях" [Якобсон 1985 а: 310].

По мысли Р.О. Якобсона, маркированность/немаркированность и вариативность/инвариантность – две дихотомии, нерасторжимо связанные с сутью и назначением языка [Там же: 310]. Эти дихотомии тесно связаны друг с другом общим принципом единства и целостности системной характеристики рассматриваемых отношений.

Максимально широкое истолкование отношения инвариантности/вариативности,

распространение этого отношения на всю сферу языка и речи – в строении языковой системы и в функционировании ее элементов – влечет за собой внутреннюю дифференциацию аспектов анализа, проводимого в рамках единого концептуального поля.

Идея инвариантности раскрывается в трудах Р.О. Якобсона в двух основных аспектах. Первый аспект можно назвать в н у т р и с и с т е м н ы м. Речь идет об инвариантности значимостей языковых знаков и отношений между ними – оппозиций – в системе значимостей [Якобсон 1985д: 67, 83]. Второй аспект – ф у н к ц и о н а л ь н ы й: имеется в виду инвариантность значимостей в системе языковых знаков, являющаяся основой целевого (фунционального) подхода к языку и его единицам; актуален вопрос "для чего служат варианты?" [Якобсон 1985б: 373]. Эти аспекты соотношения инвариантности/вариативности интегрируются в целостной системно-функциональной концепции. Раскрывается подход к языку ("с его реляционными инвариантами и многочисленными контекстуальными и стилистическими вариациями"), при котором "язык не может интерпретироваться как изолированное и герметически закрытое целое" [Якобсон 1985е: 303–304]. Признается необходимым анализ, принимающий во внимание как код, так и контекст [Там же: 304–305].

Внутрисистемный аспект понятия инвариантности в рассматриваемой концепции явно доминирует, однако он всегда выступает в соотношении с аспектом функциональным (подобно тому, как само понятие инвариантности неразрывно связано с понятием вариативности).

1.2. Осмысляя понятие инвариантного (общего) значения в грамматике, Р.О. Якобсон неоднократно ссылается на труды ученых, так или иначе затрагивавших проблему семантической характеристики грамматических форм (см., в частности, ссылки на работы А.Х. Востокова, К.С. Аксакова, Н.П. Некрасова, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, С.И. Карцевского, Л. Ельмслева).

Концепция общих грамматических значений уже на первоначальных этапах ее формирования отличалась критической направленностью по отношению к описаниям отдельных значений и употреблений. Так, К.С. Аксаков критиковал подход к определению значений падежных форм, основанный на исчислении отдельных употреблений падежей в речи. В частности, он писал: "Полное исчисление случаев невозможно. Наиболее полное исчисление все также сбивает, ибо это все частные случаи употребления, не только скрывающие общий закон, но часто противоречащие друг другу..." [Аксаков 1860: 82]. Значение формы рассматривается им как ее внутренняя сущность, как закономерность, разные стороны которой проявляются в отдельных употреблениях. Как пишет К.С. Аксаков, "...падежи имеют свой самостоятельный смысл, обнаруживающийся при всяком случае разными сторонами... и потому могут и должны рассматриваться сами в себе, а не только в употреблении; следовательно, должны быть поняты с этой точки зрения, даже и вне синтаксиса, в котором, конечно, как в живой речи, полнее выступает смысл и падежей и всех грамматических изменений" [Там же: 83].

Дальнейшее развитие концепции общих значений было сопряжено с анализом системных соотношений форм, объединяемых определенной грамматической категорией. Речь идет о том, что позднее рассматривалось на основе теории оппозиций. Ф.Ф. Фортунатов концентрировал внимание на связи между отдельными значениями грамматической формы, выделяя тот признак, который является для них общим. Так, определяя значения форм перфективного и имперфективного вида в общеиндоевропейском языке, он писал: "...первая обозначала данный признак в полноте его проявления во времени, а вторая не имела этого значения, т.е. обозначала тот же признак без отношения к полноте его проявления во времени" [Фортунатов 1956: 161]. Заметим, что здесь, как и в ряде других случаев, при анализе грамматических категорий Ф.Ф. Фортунатовым реализован принцип корреляции, иначе говоря, привативной оппозиции, предполагающей соотношение семантической маркированности/немаркированности (при том, что он не употребляет этих терминов). В других случаях Ф.Ф. Фортунатов использовал принцип эквиполентной оппозиции. Например, рассмат-

ривая значения временных форм, он наделял каждую из них собственным значением [Там же: 160]. Говоря о реализации принципа привативной оппозиции, сошлемся также на определение видовых значений, сформулированное А.А. Шахматовым: "Несовершенный вид означает обычное, неквалифицированное действие-состояние, совершенный вид означает полноту проявления действия-состояния" [Шахматов 1941: 472].

1.2. Понятие общего значения в интерпретации Р.О. Якобсона – это один из основных элементов учения о системе языка и о языковых знаках. Общее значение связывается с представлением о единстве грамматической формы – понятием, "без которого распалось бы учение о формах". Отказ от этого понятия приводит к тому, что "теряется связь между знаком и значением и вопросы значения несправедливо исключаются из области учения о знаке" [Якобсон 1985ж: 133–134].

Тезис о системной основе грамматической инвариантности противопоставлен "безграничному и бесплодному атомизированию языковых данных". Этот альтернативный подход Р.О. Якобсон связывает с работами ученых, стоящих на позиции отрицания общих значений в грамматике [Там же: 133–135].

Р.О. Якобсон как бы восстанавливает системное значение формы (категории как элемента грамматической системы), ставя вопрос о том, что́ в инвариантном отношении между двумя противопоставленными морфологическими категориями остается неизменным при всей изменчивости вариантов: "Решающая процедура научного исследования различных уровней языковой структуры состоит в последовательном выявлении и идентификации относительных инвариантов из всего многообразия вариаций" [Якобсон 1985: 310].

Проводимый анализ направлен на восстановление глубинных значимостей на основе выступающих "в конкретной лексической и синтаксической обстановке" вариантов. В этом смысле можно сказать, что в осмыслении общих и частных значений грамматических форм фактически выявляется принцип двухуровневого анализа грамматической семантики. Мы имеем в виду самую общую идею соотнесения конкретных явлений, выступающих в речи, и глубинных закономерностей, заложенных в языковой системе, – тех закономерностей, которые не лежат на поверхности и должны быть "выведены" в результате анализа, выявляющего в вариантах инвариантную основу. Элементы таких представлений заложены уже в языкознании XIX в. (ср. концепции А.К. Аксакова [Аксаков 1875] и Н.П. Некрасова [Некрасов 1865]). Идея соотнесения "скрытого общего закона" и "лежащих на поверхности" отдельных проявлений этой общей закономерности давно вызревала, выступая в разных направлениях языкознания в разных воплощениях. Одна из разновидностей анализа, соотносящего глубинные языковые сущности и их "поверхностные" проявления – разновидность, не теряющая своей актуальности и в наши дни, – представлена в теории инвариантности Р.О. Якобсона.

Поиск глубинного единства значения формы как языкового знака распространяется и на те случаи, когда "на поверхности" выступают, казалось бы, далекие друг от друга значения (например, значения родит. или творит. падежа). Во всех случаях Р.О. Якобсон ищет внутреннюю системно-языковую значимость (примечательна ссылка на понятие valeur в истолковании Ф. де Соссюра), которая объединяет значения–варианты.

Ссылаясь на суждения Ф. де Соссюра о соотношении оси последовательности с осью одновременности, которая объединяет единицы в мнемонический, воображаемый класс, Р.О. Якобсон пишет о том, что "...именно этот условный класс, эта скрытая система является источником оппозиций, необходимых для образования знака" [Якобсон 1985д: 84]. Примечательно, что оппозиции связываются с понятием "скрытой системы". Это имеет отношение и к общим значениям как значимостям, устанавливаемым в системе оппозиций.

Инвариантность в сфере морфологии трактуется как инвариантное отношение, не зависящее от появления грамматических форм в той или иной лексической и

синтаксической обстановке [Якобсон 1985в: 177]. Подчеркнем важность замечания о лексической и синтаксической обстановке. Здесь представлено то обобщение разных типов факторов, воздействующих на языковую систему и ее элементы, которое, на наш взгляд, близко к тому, что в общей теории систем связывается с понятием среды.

Понятие общего значения Р.О. Якобсон использует при анализе грамматических категорий разных типов. В частности, речь идет о категориях-шифтерах, соотносящих сообщаемый факт с фактом сообщения. Не соглашаясь с точкой зрения, согласно которой местоимения и другие шифтеры не имеют общего, постоянного значения, Р.О. Якобсон распространяет понятие общего значения и на шифтеры. Так, "я" обозначает отправителя, а "ты" – адресата сообщения. Специфика шифтеров заключается в том, что их общее значение не может быть определено без ссылки на сообщение [Якобсон 1972: 97–98]. Заметим, что выделение шифтеров как особого типа общих значений лишний раз подтверждает необходимость разработки типологии общих значений – выделения их типов и разновидностей на основе различных дифференциальных признаков.

Общие значения в интерпретации Р.О. Якобсона – это прежде всего значения грамматические, однако в некоторых случаях понятие общего значения используется и по отношению к лексике. Предметом анализа являются лексические значения слов, рассматриваемых в их функционировании, в частности, в поэтической речи. Ср., например, суждения об общем значении слова *nevermore* (речь идет о рефрене стихотворения Эдгара По "Ворон") и его окказиональных, контекстно обусловленных значениях [Якобсон 1985д: 30–31]. Не только в сфере грамматики, но и в сфере лексики признается возможность противопоставления означаемых по принципу маркированности/немаркированности [Якобсон 1985з: 226; 1987: 169–170].

Интерпретация общих значений, выходящая в некоторых фрагментах анализа за пределы грамматики, – одно из проявлений общей ориентации теории, оперирующей понятиями инвариантности/вариативности и маркированности/немаркированности, на языковую систему в целом, рассматриваемую в ее живом функционировании в разных типах речи.

Использование понятия общего значения как единственно возможного типа структуры грамматических значений наталкивается на сопротивление языкового материала. В ряде случаев множественность значений грамматической формы явно не укладывается в схему общего значения, ср., например, значения родит. и творит. падежей (см. об этом [Бондарко 1978: 134–136]). Следует, однако, подчеркнуть значимость и непреходящую актуальность концепции Р.О. Якобсона для осмысления проблемы семантической инвариантности в грамматике. Если даже избирается иной подход к семантической характеристике грамматических форм, а именно, подход, базирующийся на принципе множественности типов структурной организации рассматриваемых значений, теория Р.О. Якобсона постоянно воздействует на осмысление всего круга обсуждаемых вопросов и стимулирует дальнейшие поиски возможных решений.

1.3. Согласно теории Р.О. Якобсона, общее значение грамматической формы устанавливается в морфологических корреляциях. Понятие "корреляция", как отмечает Н.С. Трубецкой, было предложено и определено Р.О. Якобсоном [Трубецкой 1960: 95–96] (сам Н.С. Трубецкой определяет корреляции как привативные пропорциональные одномерные оппозиции [Там же: 94–95]). Маркированный член корреляции указывает на наличие определенного признака (А), тогда как немаркированный не указывает на наличие данного признака, т.е. не свидетельствует о том, присутствует А или нет. Общее значение немаркированного члена корреляции, таким образом, ограничивается отсутствием "сигнализации А" [Якобсон 1985и : 210]. Ср. другой вариант определения данного соотношения: "один из членов указывает на наличие определенного признака, а другой (беспризнаковый, немаркированный, нулевой член) – не указывает ни на наличие признака, ни на его отсутствие" [Якобсон

1985з : 224]. Так, формы совершенного вида в противоположность формам несовершенного вида указывают абсолютную границу действия [Якобсон 1985и : 213].

Интерпретация принципа привативной оппозиции (корреляции) в трудах Р.О. Якобсона оказала существенное влияние на развитие грамматической теории (ср., в частности, исследование категорий вида и времени). Вместе с тем в ряде работ отстаивался тезис о том, что помимо привативных оппозиций существенную роль в структуре грамматических категорий играют оппозиции эквиполентные (см. [Бондарко 1971: 85–94]; здесь же приведена литература вопроса). Однако понятие привативной оппозиции в интерпретации Р.О. Якобсона неизменно остается предметом пристального внимания исследователей, обращающихся к данному кругу проблем (ср. [Плунгян 1992: 24–63]).

Возникает вопрос: почему Р.О. Якобсон выделил именно морфологическую корреляцию, т.е. пропорциональную одноместную привативную оппозицию, в которой различаются маркированный и немаркированный члены, как единственный тип отношений компонентов грамматических категорий? Думается, что основания для некоторых предположений можно найти в характеристике привативных оппозиций, данной Н.С. Трубецким. Он писал: "Из всех возможных логических отношений между двумя фонемами привативное отношение выделяется благодаря тому, что наличие или отсутствие известных признаков данных фонем обнаруживается в ней самым очевидным образом. Вот почему анализ фонологического содержания фонем, выступающих членами привативных оппозиций, оказывается наиболее легким. Наоборот, труднее всего анализировать фонологическое содержание фонем, которые являются членами эквиполентной оппозиции" [Трубецкой 1960 : 93–94]. По существу в этой характеристике привативных оппозиций в сфере фонологии содержатся элементы, сопоставимые с тем, что в современных работах связывается с понятием п р о т о т и п а. Привативная оппозиция как "ясный случай", "типичный пример", в котором находят наиболее четкое воплощение специфические признаки оппозиций, может рассматриваться как оппозиция прототипическая.

Конечно, нельзя переносить сказанное Н.С. Трубецким по поводу привативных оппозиций в сфере фонологии на концепцию Р.О. Якобсона (ту ее часть, которая включает интерпретацию морфологических корреляций). Однако общность базисных принципов того направления структурной (структурно-функциональной) лингвистики, к которому принадлежат концепции Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона, позволяет сформулировать некоторые предположения. Можно думать, что Р.О. Якобсон выделил морфологическую корреляцию, характеризующуюся соотношением семантически маркированного и немаркированного членов, как своего рода э т а л о н (п р о т о т и п) о п п о з и т и в н о г о о т н о ш е н и я в с ф е р е м о р ф о л о г и и. В этом эталоне представлено ядро системности грамматических категорий. В соотношении членов морфологических корреляций наиболее полно и четко проявляются признаки противопоставленных друг другу форм и их системных связей. Возможность нейтрализации оппозиции по определнному признаку подчеркивает целостность анализируемых систем.

Существует принципиальное е д и н с т в о п о д х о д а к анализу грамматических категорий на основе понятий о б щ е г о з н а ч е н и я и м а р к и р о в а н н о с т и / н е м а р к и р о в а н н о с т и. В интерпретации обоих понятий проявляется принцип единственного и инвариантного эталона (прототипа). Оба понятия демонстрируют единство языкового знака и единство отношения оппозиции в анализируемых системах.

В комплексе понятий общего значения и привативной оппозиции проявляется е д и н с т в о р а з н ы х с т о р о н и д е и и н в а р и а н т н о с т и: инвариантность о б щ и х з н а ч е н и й сочетается (согласуется) с инвариантностью о т н о ш е н и й, в которых устанавливаются эти значения. Единый (и единственный) тип значений грамматических форм соотносится с единым (единственным) типом оппозиций. Исключается как множественность структурных типов грамматических значений, так

и множественность типов оппозиций. Принцип "прототипической инвариантности" проводится последовательно и бескомпромиссно.

Противоположность принципов "общее значение – привативная оппозиция" и "множественность возможных структурных типов грамматических значений – множественность типов оппозиций" нельзя абсолютизировать. Между рассматриваемыми подходами, конечно, существует значительное различие, но нет неразрешимого, непреодолимого противоречия. Перед нами одно из характерных проявлений принципа интеграции в развитии научных идей. То, что в теории Р.О. Якобсона выступает как общая, абсолютная и инвариантная закономерность, при ином, менее жестком подходе к грамматическим значениям и оппозициям в грамматике не отвергается, а рассматривается как один из возможных структурных типов грамматических значений и один из типов оппозиций. При этом характеристика грамматических инвариантов и отношений маркированности/немаркированности, данная Р.О. Якобсоном, сохраняет свою концептуальную значимость как осмысление того, что может рассматриваться как прототип, "наиболее ясный случай". Сравнение с этим эталоном системности дает возможность более четко охарактеризовать те структурные типы грамматических значений и те оппозиции, которые отличаются от эталона. Осмысление абсолютной инвариантности помогает определить специфические признаки инвариантности относительной. Во всех случаях оказывается полезной "проверка на соответствие эталону инвариантности".

Заметим, что при анализе категориальных значений должны быть приняты во внимание не только оппозиции (привативные и эквиполентные), но и неоппозитивные различия, выходящие за пределы единого основания для членения; ср. соотношение изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений, соотношение форм 1-го, 2-го и 3-го лица (подробнее об этом см. [Бондарко 1981]).

2. ВОПРОС О МНОЖЕСТВЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

2.1. Анализ, базирующийся на понятии общего значения, как известно, представляет собой лишь один из существующих подходов к семантической характеристике грамматических форм. В лингвистической литературе могут быть выделены три разновидности описания грамматических значений: а) определение единого "общего значения" ("Gesamtbedeutung", "general meaning"), трактуемого как инвариант, охватывающий все частные значения и типы употребления грамматической формы (варианты); б) анализ, опирающийся на понятие "основного значения" ("Grundbedeutung", "basic meaning"), выделяемого на фоне ряда периферийных (вторичных) значений и типов употребления данной формы; в) описание комплекса отдельных значений и употреблений грамматических форм.

Принцип множественности возможных типов структурной организации грамматических значений по существу (хотя и в других терминах) был четко сформулирован А.М. Пешковским. Он писал: "Объединение... форм со стороны значения может осуществляться при помощи 1) единого значения, 2) единого комплекса однородных значений, 3) единого комплекса разнородных значений, одинаково повторяющихся в каждой из форм" [Пешковский 1956 : 27].

2.3. Как уже говорилось выше, понятие общего значения связано с идеей инварианта, охватывающего все частные значения и употребления данной формы. Ср., например, "участие говорящего" как инвариантное значение местоименных и глагольных форм 1-го лица. "Общие значения" определяются на основе значимости грамматической формы в системе форм, конституирующих данную грамматическую категорию. Это инвариантное категориальное значение отличает выражающую его форму от других форм и детерминирует системную основу различных частных значений и употреблений в речи, представляя то, что их объединяет.

Понятие основного значения также связано с идеей инвариантности, однако в данном случае инвариантность оказывается ограниченной определенной – центральной – сферой употребления грамматической формы. Те или иные периферийные значения и типы употребления остаются за пределами этой сферы.

Например, у форм типа *напишу, сделаю* и т.п. выделяется основное значение будущего времени (*Я напишу*). Вместе с тем эти формы могут употребляться и при выражении в высказывании значения неактуального настоящего (настоящего времени повторяющегося, обычного и "вневременного" действия), например: *Чего же тут смешного, когда человек падает? И почему так заведено, что у п а д е т человек, а остальные смеются?* (А. Рекемчук. Молодо-зелено). Как основное темпоральное значение данной формы рассматривается только отнесенность действия к будущему. Именно это значение характеризует место анализируемой формы в системе времен глагола. Зависимость данного значения от контекста минимальна (достаточно отсутствие особых условий, создающих возможность употребления рассматриваемой формы в значении настоящего неактуального, чтобы было выражено значение будущего времени; достаточен минимальный и даже "нулевой" контекст: – *Я вернусь* и т.п.).

Основное значение, как и общее значение, является системным, категориальным. При анализе функционирования определенной грамматической формы выделяется значение, которому приписывается системная значимость: оно трактуется как занимающее определенное место в системе грамматических форм, представляющих данную грамматическую категорию.

Важно учесть, что термин "основное значение" употребляется в лингвистической литературе в двух смыслах, между которыми необходимо проводить различие. С одной стороны, основное значение соотносится с общим значением как разные структурные типы категориальных значений грамматических форм. С другой стороны, основное значение выступает в ряду частных значений данной формы, представляя собой главное среди прочих частных значений. Иначе говоря, в первом случае основное значение трактуется как один из типов семантической характеристики грамматических форм (наряду с общими значениями); при таком подходе основное значение не является разновидностью какого-то общего значения, "стоящего над ним". Ср. рассуждение о том, что у формы простого будущего в русском языке можно установить основное значение (значение отнесенности действия к будущему), но нельзя сформулировать общее значение как инвариант, который охватывал бы все употребления данной формы. Во втором случае речь идет об основном значении как о главном среди прочих вариантов общего значения. Например, конкретно-фактическое значение совершенного вида трактуется как основное по отношению к другим частным значениям этой формы (наглядно-примерному, потенциальному и суммарному); данное основное значение является одним из вариантов общего значения совершенного вида, характеризующегося признаками целостности и ограниченности действия пределом. Разумеется, в принципе было бы целесообразно по отношению к разным смыслам использовать разные термины, но пока реальная картина именно такова: сочетание "основное значение" используется в обоих смыслах. Интерпретация данного термина устанавливается по контексту (который обычно достаточно ясно указывает на то, о чем идет речь).

При описании основных значений грамматических форм нередко выделяются дистинктивные признаки, образующие определенную систему. Тем самым относительная инвариантность в рамках основного значения соотносится с системой вариативности (ср. [Leech 1971 : 9–12]).

Существуют различные интерпретации основного значения. Так, по мнению Э. Даля, это понятие может интерпретироваться либо экстенсионально, либо интенсионально. В первом случае сфера, охватываемая данным понятием, членится на отдельные регионы, причем один из них трактуется как "основной" или

"первичный" по отношению к другим. С точки зрения "экстенсиональной перспективы" "вторичное значение" (или употребление) может быть истолковано как нечто находящееся за пределами "фокуса". Во втором случае (при интенсиональной интерпретации понятия основного значения) выдвигается постулат, согласно которому значение языковой единицы состоит из нескольких компонентов (признаков), из которых один или некоторая часть трактуется как первичное или основное значение по отношению к остальным – вторичным. Такой подход используется в тех случаях, когда выделяются "доминантные" параметры. Например, по мнению автора, хотя первичное употребление английского future tense включает как "футуральную референцию", так и "интенцию", основным значением в смысле доминантного параметра является лишь "футуральная референция" (см. [Dahl 1985 : 9–11, 103–112]).

В ряде современных работ понятие основного значения трактуется как прототипическое значение (prototype meaning). Так, по мнению Б. Комри, основное значение скорее может быть определено как прототип, т.е. "наиболее характерный случай" ("the most characteristic instance"). Признавая понятие общего значения возможной основой анализа, Б. Комри отдает предпочтение "более подвижному подходу", который связывается с понятием основного значения (basic meaning). Этот подход, по его мнению, способствует более точной характеристике языковой системы [Comrie 1985: 19].

Теория прототипов предполагает, что категории вообще выступают в "лучших примерах" ("categories, in general, have best examples"), называемых прототипами [Lakoff 1988: 7] (ср. [Лакофф 1988: 31–51; Демьянков 1995: 273–277]). Наиболее репрезентативное значение среди значений грамматической формы ("лучший пример" в семантической сфере, охватываемой данной формой) может рассматриваться как прототипическое значение. Например, актуальный презенс во многих языках представляет собой наиболее репрезентативное из значений формы настоящего времени. Ср. точку зрения, согласно которой прототипический субъект – это агенс и в то же время тема (topic) [Там же: 64–65]. Такие понятия, как "степень прототипичности" ("degree of prototypicality") [Там же: 44] применяются и по отношению к иерархии значений и употреблений. Прототипические определения используются, в частности, при характеристике степени удаленности (от момента речи или другой исходной точки отсчета) при употреблении форм прошедшего и будущего времени [Comrie 1985: 22–23, 83–101].

Отношение "основное значение – другие значения данной формы", рассматриваемое в разных терминах, в том числе и в терминах теории прототипов, по многим признакам сходно с оппозицией "центр – периферия" в трактовке представителей Пражской школы [Travaux... 1966] и в теории полевой структуры (в частности, в интерпретации В.Г. Адмони). Центр семантического поля, образуемого данной грамматической формой, интегрирует наиболее характерные признаки этой семантической сферы (см. [Адмони 1988: 28–29]).

2.4. Обратимся к последнему из упомянутых выше типов семантической характеристики грамматических форм. Разновидность описания значений, основанная на принципе грамматической полисемии и находящая выражение в описании определенного комплекса значений данной формы и типов ее употребления, широко представлена во многих традиционных грамматиках; ср. такие функции, как genitivus partitivus, genitivus subjectivus, genitivus objectivus, dativus commodi и т.п. Такой подход к семантической характеристике грамматических форм может быть теоретически противопоставленным идее общих значений в грамматике. Так, А.А. Потебня, описывая значения и употребления форм творит. падежа в русском языке, замечает, что задача данного описания состоит в том, чтобы "на место отвлечения, называемого одним падежом, поставить более конкретные формальные значения, по возможности разграничить их между собою и показать их генетическую связь или ее отсутствие" [Потебня 1958 : 431]. Выделяется ряд значений творит. падежа, в частности, творительный социативный, творительный места, времени, ору-

дия и средства, творительный действующего предмета в страдательных конструкциях [Там же: 431–434].

Во многих работах речь идет о значениях и употреблениях грамматической формы. На наш взгляд, между употреблениями и периферийными значениями нет резкой грани. По существу в распоряжении лингвистов нет достаточно надежных критериев, *при помощи которых можно было бы четко определить, в каких случаях* перед нами вторичное (периферийное) значение, а в каких – употребление. Не случайно во многих работах можно встретить неопределенные выражения типа "вторичные значения или употребления". Интерпретация рассматриваемых понятий во многом зависит от исходной позиции исследователя и от целей грамматического описания. Если исходная точка зрения определяется "формоцентрическим принципом", то выявляется тенденция к использованию терминов типа "вторичное значение формы". Если же исходная позиция детерминируется задачей исследовать и описать прежде всего различные типы поведения изучаемых форм в речи, то предпочтение нередко отдается анализу в терминах типа "употребление", "функционирование". Частные значения и употребления (типы употребления) грамматических форм связывают систему языка с системой речи, где в полной мере реализуется взаимодействие языковой системы и среды (о соотношении системы и среды в языке и речи см. [Бондарко 1985]).

2.5. Упомянутые выше типы семантической характеристики грамматических форм по-разному интерпретируются лингвистами. Могут быть выделены два подхода, противопоставленных друг другу по следующему принципу: либо признается действительным лишь один из указанных типов, либо допускается возможность сосуществования разных типов. Иначе говоря, противостоят друг другу: 1) подход, основанный на принципе универсальности избранного типа семантической характеристики (сошлемся на концепцию общих значений в истолковании Р.О. Якобсона, а также на концепцию основного значения, или первичной функции в интерпретации Е. Куриловича [Курилович 1955; 1965 : 411, 429–432]); 2) подход к грамматическим значениям, базирующийся на принципе множественности возможных типов их структурной организации. Мы придерживаемся последнего из двух указанных направлений анализа.

2.6. Принцип множественности структурных типов грамматических значений получает в лингвистической литературе различные истолкования (ср. упомянутые выше подходы к основному значению). Далее мы остановимся на одной из существующих интерпретаций рассматриваемого принципа. Речь идет о грамматической концепции В.Г. Адмони.

В рамках данной концепции родовым понятием, охватывающим разные типы семантических структур, является обобщенное значение грамматических форм, трактуемое как система, имеющая полевую структуру. Полевое строение этой системы проявляется в том, что отчетливое и однозначное представление обобщенного значения присуще лишь части реализаций грамматической формы, тогда как у других реализаций данное значение "представлено нечетко, половинчато или даже вообще отсутствует" [Адмони 1988 : 28]. По мысли В.Г. Адмони, обобщенное значение может оказаться и общим значением грамматической формы, действительным для всех ее реализаций, однако такое совпадение рассматривается лишь как один из возможных типов обобщенного значения, а не как универсальное правило [Там же : 28]. Одно из проявлений полевой структуры обобщенного значения заключается в соотношении центра (доминанты системы), где сосредоточены специфические признаки данного значения, и периферии, характеризующейся разреженностью признаков, их неполнотой; важной особенностью полевой структуры являются также постепенные переходы, различные типы недискретности и континуальности [Там же : 29].

Обобщенные значения грамматических форм представлены в теории В.Г. Адмони не в статической системе отношений (хотя аспект отношения, в частности оппозиции,

отнюдь не исключается), а в системе построения, для которой характерно многообразие разноаспектных связей и форм взаимодействия [Адмони 1975; 1979 : 6–36; 1988 : 22–36]. Анализ этой системы, включающей и обобщенные значения грамматических форм, сопряжен с осмыслением процесса речевой коммуникации (в частности, используются такие понятия, как память говорящего и слушающего) [Адмони 1988 : 29–30]. Здесь мы находим одно из проявлений характерной для лингвистической концепции В.Г. Адмони направленности на выявление сложных связей между системой языка и системой речи (см. [Адмони 1994]). Актуальность этой проблемы для современной лингвистики не требует особых пояснений.

2.7. Итак, в отличие от широко распространенного истолкования понятий общего и основного значений, базирующегося на идее альтернативности, мы трактуем эти понятия, исходя из принципа множественности способов существования системных значений грамматических форм и множественности возможных типов их взаимодействия с лексической, синтаксической и контекстуальной средой.

Общие и основные значения могут сосуществовать даже в пределах одной и той же грамматической категории. Ср. общее значение форм сложного будущего времени типа *буду решать* и упомянутое выше значение будущего времени у форм типа *решу* – значение, которое трактуется нами как основное.

Понятия общего и основного значения отличаются друг от друга (как уже было отмечено выше, общее значение представляет собой инвариант, охватывающий все частные значения и употребления данной формы, тогда как основное значение не имеет "всеохватывающего" характера), но вместе с тем между ними есть и нечто общее. Сходство рассматриваемых понятий заключается в том, что в обоих случаях речь идет о значениях системных. Общее значение определяется как признак (комплекс признаков) данной формы, отличающий ее от других форм, репрезентирующих данную грамматическую категорию. То же характерно и для основного значения, с тем отличием, что в нем заключена не только обусловленность со стороны грамматической системы, но и некоторая зависимость от контекста и других разновидностей окружающей среды: должны существовать условия для реализации именно основного значения формы, а не какого-либо из ее периферийных значений.

Концепции общих и основных значений, на наш взгляд, отражают разные типы структуры грамматических значений, связанные с разными масштабами (степенями) инвариантности.

3. АБСОЛЮТНАЯ (НЕОГРАНИЧЕННАЯ) И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ (ОГРАНИЧЕННАЯ) ИНВАРИАНТНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

3.1. В сфере грамматических значений могут быть выделены два типа семантических инвариантов: 1) абсолютная (неограниченная) инвариантность общих значений, распространяющаяся на всю сферу функционирования данной формы; 2) относительная (ограниченная) инвариантность основных значений, охватывающая центральную сферу употребления грамматической формы, но не распространяющаяся на сферу периферийных употреблений; свойство относительной инвариантности распространяется и на комплексы основных значений (по отношению к вариантам в рамках каждого из значений, входящих в данный комплекс).

Отличительная особенность предлагаемой интерпретации рассматриваемого понятия заключается в том, что признаки инвариантности выявляются и за пределами общих значений – в той сфере, где данное категориальное значение не охватывает все случаи употребления данной формы. Распространение понятия инвариантности и на область основных значений и их комплексов существенно потому, что и в этой области сохраняется соотношение

общего и отдельного, типа и подтипов, вариантов, частных случаев. Иначе говоря, признание множественности структурных типов грамматических значений не означает отказа от принципа инвариантности/вариативности. Если инвариантность общих значений (та, которую имел в виду Р.О. Якобсон) является прототипической, то инвариантность основных значений, будучи ограниченной, относительной, представляет окружение прототипа (при обычной картине постепенных переходов между центром и периферией). Мы имеем здесь дело с явно выраженной полевой структурой.

3.2. Между абсолютной (неограниченной) и относительной (ограниченной) инвариантностью нет резкой грани. В некоторых случаях то значение грамматической формы, которое признается "общим", т.е. абсолютно инвариантным, все же не может быть безоговорочно признано действительным для всех без исключения разновидностей употребления данной формы. Общее правило, действительно доминирующее в сфере функционирования рассматриваемой грамматической единицы, все же может сочетаться с отдельными исключениями и "трудными случаями". Само понятие абсолютной инвариантности становится в известном смысле относительным.

Рассмотрим один из примеров. Значение форм типа *буду решать* – значение будущего времени – обычно трактуется (в том числе и нами) как общее. Для этого есть достаточные основания. И все же существуют отдельные периферийные типы употребления этой формы, в которых значение будущего четко не выражено. Налицо лишь модальные и экспрессивные оттенки, которые могут трактоваться как косвенные проявления ("следы") собственного значения формы при ее переносном употреблении. Например: – *Как же, из под наших гончих травить будет! За лисицу хватает!* (Л. Толстой. Война и мир). В таких случаях проявляется особый оттенок "злой воли", приписываемой говорящим некоторому субъекту. Ср. также: *Огромный будочник... гаркнул: "Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!"* (В. Гиляровский. Москва и москвичи); – *А с вами я вообще не желаю разговаривать, – ответило кожаное пальто. – Еще секретарши будут мне указывать* ... (И. Меттер. Обида). В высказываниях такого рода передается возмущение говорящего, вызываемое несовместимостью типа субъектов, которому приписывается негативная оценка, и действия, на которое этот субъект посягает. В модальном и вместе с тем экспрессивном оттенке "посягательства" (злой воли) можно видеть следы связи с категориальным значением рассматриваемой формы, однако значение будущего времени четко не выражено. Подобные исключения не могут поколебать истинность правила, однако характеристика "всегда" скорее преобразуется в более осторожный вариант "почти во всех случаях". Примеры такого рода свидетельствуют о подвижности границ между понятиями абсолютной и относительной инвариантности (соответственно между понятиями общего и основного значения).

3.3. В ряде случаев вопрос о том, как трактовать данное значение грамматической формы – как общее или как основное, допускает различные решения. Один из факторов, обусловливающих множественность решений, – возможность анализа либо на основе понятия привативной оппозиции (корреляции), либо на базе понятия эквиполентной оппозиции. Приведем пример. Р.О. Якобсон трактовал глагольную форму второго лица ед. числа как беспризнаковый член корреляции, значение которого сводится к отсутствию признака отнесенности действия к говорящему лицу – того признака, который присущ форме первого лица. Признавая тот факт, что форма второго лица употребляется преимущественно для выражения отношения к адресату, Р.О. Якобсон все же полагает, что при решении вопроса об общем значении формы статистический критерий неприменим. Отнесенность действия к адресату трактуется лишь как одно из частных значений данной формы. Оно сопоставляется с другими частными значениями, определяемыми контекстом – значением отнесенности к любому

лицу (*умрешь – похоронят*) и значением отнесенности к говорящему (*выпьешь, бывало*) [Якобсон 1985 и : 215–216].

Представляется возможным другой подход к определению значения рассматриваемой формы. Можно предположить, что формы первого и второго лица находятся в отношении эквиполентной оппозиции. Дальнейшие рассуждения таковы. Форма первого лица обладает признаком "участие говорящего". Налицо общее значение, т.е. абсолютный инвариант. Что же касается формы второго лица, то ее значение трактуется не как общее, а как основное. Данная форма как элемент эквиполентной оппозиции наделяется собственным положительным признаком – "участие адресата". Признается, что выражение этого признака распространяется не на все типы функционирования рассматриваемой формы: за пределами сферы реализации данного признака остается обобщенно-личное значение (*Что посеешь, то и пожнешь*): это значение относится к периферии анализируемого семантического пространства.

Преимущество такого решения данного вопроса заключается в том, что выражаемое при употреблении формы второго лица значение отнесенности действия к адресату не "теряется в общей массе" частных значений: оно приобретает системно-категориальный статус, что, на наш взгляд, соответствует языковым и речевым фактам.

Следует, однако, заметить, что в трактовке значения формы второго лица на основе принципа корреляции, т.е. как беспризнакового (семантически немаркированного) члена привативной оппозиции, есть и сильные стороны. Обобщенно-личное употребление формы второго лица ед. числа всегда имплицирует элемент "участие говорящего". Это относится не только к случаям типа *Идешь, бывало...*, но и к "общим истинам" типа *Плетью обуха не перешибешь*; обобщенный опыт представлен в таких высказываниях как включающий и опыт говорящего: "так бывает со всеми и со мной в том числе". Элемент "участие говорящего" представлен здесь как тонкий нюанс языковой семантической интерпретации обобщенно-личного смыслового содержания, но тем не менее он представлен (как импликация). Подобные импликации характерны для семантически немаркированных (беспризнаковых) членов привативных оппозиций.

Таким образом, вопрос об интерпретации значения формы второго лица – либо как общего (значение немаркированного члена привативной оппозиции), либо как основного (значение одного из членов эквиполентной оппозиции в условиях относительной инвариантности) – вряд ли может быть решен однозначно (по крайней мере на современном этапе исследований и теоретических поисков). Подобные ситуации анализа встречаются довольно часто. Они отражают не только различия в теоретических подходах, но и проявления континуальности в самом предмете грамматического описания.

*

Для реализации категориальных грамматических значений как абсолютных или относительных инвариантов существенны такие факторы, как функция речевого акта (информация о факте, описание, повествование и т.п.) и соответствующий тип речи (ситуативно актуализированной/неактуализированной). Функция, реализуемая в речи, может существенно изменить системное значение, заложенное в грамматической форме. В условиях множественности типов взаимодействия системы и среды при многообразии функций высказывания и целостного текста, включающего грамматические формы с их категориальными значениями, эти значения не могут быть однообразными по своей структуре. Множественность возможных типов системно-структурной организации категориальных грамматических значений – естественное следствие многомерности соотношения системы языка и системы речи.

Осмысление связи внутрисистемного (системно-языкового) и функционального (обращенного прежде всего к речи) аспектов дихотомии инвариантности/вариативности в

трудах Р.О. Якобсона приобретает особую актуальность на современном этапе развития лингвистических исследований. Если соссюрианская и постсоссюрианская лингвистика была обращена прежде всего к языковой системе, то современная лингвистика во все большей мере концентрирует внимание на системе речи. Сама по себе эта тенденция закономерна и перспективна, однако некоторые ее проявления отличаются односторонностью: анализ дискурса и целостного текста, изучение речевой деятельности и ее результатов нередко оказывается изолированным от познания фундаментальных свойств и закономерностей языковой системы. Учение Р.О. Якобсона, представляющее собой одно из наиболее значительных достижений системно-функционального направления в лингвистике XX в., отличается последовательной ориентацией на связь системы языка и системы речи (мы имеем в виду и работы по поэтике). Концепция Р.О. Якобсона – один из немногих примеров гармонии в лингвистической теории, стремящейся охватить комплекс аспектов структуры и функции. Актуальность этой ориентации теоретического анализа в наши дни трудно переоценить, поскольку результаты, достигнутые в сфере лингвистики речи, настоятельно требуют особого внимания к анализу (на современном уровне) языковой системы. Связи речи и языка, исполнения и компетенции оказываются в настоящее время наиболее трудными и, на наш взгляд, наиболее актуальными проблемами современного языкознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адмони В.Г. 1975 – Статус обобщенного грамматического значения в системе языка. ВЯ. 1975. № 1.

Адмони В.Г. 1979 – Структура грамматического значения и его статус в системе языка // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1979.

Адмони В.Г. 1988 – Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.

Адмони В.Г. 1994 – Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.

Аксаков К.С. 1860 – Опыт русской грамматики. Ч. I. Вып. 1. М., 1860.

Аксаков К.С. 1875 – Полн. собр. соч. Т. II. Ч. 1: Сочинения филологические. М., 1875.

Бондарко А.В. 1971 – Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.

Бондарко А.В. 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Бондарко А.В. 1981 – О структуре грамматических категорий (отношения оппозиции и неоппозитивного различия) // ВЯ. 1981. № 6.

Бондарко А.В. 1985 – Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // ВЯ. 1985. № 1.

Демьянков В.З. 1995 – Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.

Курилович Е. 1955 – Заметки о значении слова // ВЯ. 1955. № 3.

Курилович Е. 1965 – О методах внутренней реконструкции // Новое в лингвистике. Вып. 4. М., 1965.

Лакофф Дж. 1988 – Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. М., 1988.

Некрасов Н.П. 1865 – О значении форм русского глагола. СПб., 1865.

Пешковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-ое. М., 1956.

Плунгян В.А. 1992 – Глагол в агглютинативном языке (на материале догон). М., 1992.

Потебня А.А. 1958 – Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.

Трубецкой Н.С. 1960 – Основы фонологии. М., 1960.

Фортунатов Ф.Ф. 1956 – Сравнительное языковедение // Избр. труды. М., 1956. Т. I.

Шахматов А.А. 1941 – Синтаксис русского языка. Л., 1941.

Якобсон Р.О. 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Якобсон Р.О. 1985а – Речевая коммуникация // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985б – Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985в – Морфологические наблюдения над славянским склонением // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985г – О лингвистических аспектах перевода // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985д – Звук и значение // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985е – Часть и целое в языке // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985ж – К общему учению о падеже // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985з – Нулевой знак // Избр. работы. М., 1985.

Якобсон Р.О. 1985и – О структуре русского глагола // Избр. работы. М., 1985.
Якобсон Р.О. 1987 – Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Работы по поэтике. М., 1987.
Comrie B. 1985 – Tense. Cambridge etc., 1985.
Dahl Ö. 1985 – Tense and aspect systems. Oxford; New York; Blackwell, 1985.
Lakoff G. 1988 – Cognitive semantics // U. Eco, M. Santambragio, P. Violi (eds.). Meaning and mental representations. Bloomington, 1988.
Leech G.N. 1971 – Meaning and the English verb. L., 1971.
Travaux... 1966 – Travaux linguistiques de Prague. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Prague, 1966.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. Г.А. КЛИМОВ

ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВНЕШНЕЙ ИСТОРИИ МАЛОГО ЯЗЫКА

(СВАНСКИЕ ДАННЫЕ)

Среди разбросанных по разным континентам лингвистических "лабораторий", создающих возможность наблюдения за историческими судьбами малых языков, не без оснований называют Кавказ. Особый интерес в этом отношении к автохтонным языкам региона вызван уже тем, что некоторые из них достаточно рано попадают в сферу внимания европейской традиции. Один из картвельских языков – сванский – едва ли не единственный в мире, внешнюю историю которого удается в какой-то мере контролировать на протяжении почти двух тысячелетий. Последнее обстоятельство обязано, впрочем, не только наличию соответствующей информации в различных исторических источниках (сначала – в античных, затем – в византийских, грузинских и некоторых иных), но и тем данным, которые предоставляют в распоряжение лингвиста топонимика Западной Грузии, отдельные факты самого сванского языка, и, наконец, соображения экстралингвистического плана.

Документированная история застает ареал распространения этого языка в северозападной части Закавказья на безусловно более широкой территории, чем занимаемая им в настоящее время. Если оставить в стороне иногда встречающееся в кавказоведческой традиции отождествление гениохов (греч. Ἡνιοχοι) античных источников со сванами, то в той или иной степени согласующиеся их сведения о соанах, суанах и суаноколхах, по-видимому, заслуживают определенного доверия. Так, уже на рубеже старой и новой эры Страбон упоминает соанов (Σοάννοι) как племя, жившее на Западном Кавказе "выше" колхов, давших свое имя Колхиде и надежно идентифицируемых в качестве картвельских племен занской ветви, и, в частности, как господствовавшее над Диоскурией, т.е. современным Сухуми. Существенно заметить, что и в ту эпоху это был, по-видимому, малый язык, поскольку его носители упоминаются у Страбона при перечислении целого ряда других мелких народов региона [Латышев 1947: 214, 217] (вместе с тем его информация о том, что во главе сванов был совет, состоявший из трехсот мужей, по всей вероятности, недостоверна, поскольку и в более позднее время сванское общество характеризовалось родовым строем).

Важный ориентир для локализации этого языка находим у Плиния (23–79 гг. н.э.), отмечавшего, что через область сванов протекает река Хоб [Латышев 1949: 290], за названием которой скрывается, как обычно полагают, один из притоков Риона – Ингур, в верховьях которого сваны живут и в настоящее время. Соответствующий ареал еще более расширится за счет включения в него, по крайней мере, части нынешней горной Мегрелии, если принять, что река Хоб является современной Хоби – другим притоком Риона.

Следующее по времени указание на этот счет содержится у Клавдия Птолемея (ок. 90–168 гг. н.э.), называющего среди племен, населявших черноморское побережье Закавказья, сваноколхов [Латышев 1948: 249]. Учитывая, что под аналогичным образом построенным этнонимом античной традиции *кельтиберы* подразумеваются, как это установлено, кельты, обитавшие в европейской Иберии, т.е. на Пиренейском полуострове, этноним Σουαννοκολχοι должен был обозначать сванов, населявших

Колхиду, а отнюдь не продукт некоторого смешения сванов и колхов, как он интерпретировался в свое время Н.Я. Марром в духе его известной концепции.

Среди сообщений византийских авторов весьма интересным является в этой связи упоминание о том, что на границе между сванским племенем мисимианов (в последнем этнониме существующая историографическая традиция не без основания усматривает греческую передачу самоназвания сванов *mušwän*) и апсилами, т.е. абхазами, находилась крепость Τιβέλος, т.е. современная Цебельда, что как будто указывает на расселение сванских племен в ту эпоху невдалеке от морского побережья или, возможно, даже на самом побережьи (ср. [Меликишвили 1959: 92]).

Нетрудно привести и некоторые иные аргументы, говорящие о более широком ареале бытования сванской речи в прошлом. В частности, здесь прежде всего необходимо упомянуть данные топонимии не только соседних с Сванетией горных районов Западного Закавказья, но и предгорных. Так, древнегрузинское обозначение Сухуми – *Cxum-i*, зафиксированное в литературных памятниках, начиная с VIII века н.э., восходит, как это впервые заметил М. Калдани, к сванскому *cxut* 'граб' (ср. [Меликишвили 1965: 64–65] (современная форма этого топонима представляет собой позднейшую турецкую переработку былого картвельского обозначения). Название крупного села *Babušer-i* 'Бабушери', расположенного южнее Сухуми близ черноморского побережья, является, по всей вероятности, сванским топонимом, стоящим в едином ряду с несколькими другими подобными названиями сванских селений, характеризующимися исходом на топоформант *-š-er* [Ониани 1989: 304–305]. Еще один подобный топоним *γumuriši* 'Тумуриши', засвидетельствованный на крайнем юге Абхазии, содержит в своей основе сван. γumur- 'ель, пихта', оформленное другим топоформантом *-iš* [Климов 1986: 182; Ониани 1989: 308], и интересен тем, что он упоминается в произведениях сванского фольклора (ср. [Топуриа (ред.) 1939: 17]. В этом контексте следует подчеркнуть, однако, что компактный сваноязычный анклав, образующий так называемую абхазскую Сванетию, недавнего происхождения, поскольку он обязан переселению в кодорское ущелье части носителей верхнебальского и нижнебальского диалектов этого языка, имевшему место на рубеже XIX и XX столетий [Калдани 1970: 82–82].

Еще более отчетливым образом субстратная сванская топонимия засвидетельствована в других соседствующих с Сванетией областях Западного Кавказа. Прежде всего она отмечена в таких исторических землях Западной Грузии, как Лечхуми и Рача. Так, на территории Лечхуми зафиксирован целый ряд названий селений со сванскими топоформантами *-er* и *-(i)š*: ср. *Kinišeri*, *Cageri*, *Cxukušeri* и др., с одной стороны, и *Zesxwiši*, *γwiriši*, *Twiši* и др., с другой [Калдани 1959; 1963]. В Верхней Раче сохранились такие характерные сванские топонимы, как *γebi* и *Boqwa* [Ониани 1989: 304–305]. Ощутимы следы сванского субстрата и в топонимии восточной полосы горной Мегрелии, прилегающей к Сванетии и Лечхуми [Цхадаиа 1985: 68–72]. В частности, еще А. Цагарели и М. Джанашвили заметили, что мегрельские микротопонимы, образованные от фамильных имен посредством нехарактерных для мегрельского языка префиксов *le-* и *la-* (ср. *Ledgebia* при фамилии *Dgebia*), повторяют модель, свойственную сванским топонимам. Нелишне упомянуть и гипотезы, предполагающие сванское происхождение названий трех пунктов, локализующихся значительно южнее территории, непосредственно соседствующей с современной Сванетией. Так, К. Ломтатидзе высказывает мнение, согласно которому в основе названия исторического центра Мегрелии Зугдиди лежит сван. *zugw* 'холм' [Ломтатидзе 1984: 20–23]. Известный грузинский историк Г. Меликишвили приводит аргументы в пользу того, что Φασις (ген. Φασιδος, дат. Φασιδι) – древнегреческое обозначение Риона и основанной в VIII в. до н.э. в его устьи милетской колонии – отражает в своей основе сван. ★*Pašd-*, закономерно отвечающее современному мегрело-лазскому обозначению расположенного примерно на месте последней порта *Poti* 'Поти' [Меликишвили 1965: 59–62]. Наконец, С. Джанашиа принадлежит догадка, согласно которой сванским по

происхождению может являться и гурийский топоним *Lančxuti* к югу от Риона [Джанашиа 1959: 146].

Другое лингвистическое указание в пользу происшедших в прошлом изменений в ареальной конфигурации сваноязычной территории содержит некоторое число сепаратных сванско-грузинских лексических общностей, охватывающих в своей грузинской части лишь крайне западные диалекты – аджарский и гурийский, географически удаленные ныне от Сванетии. Особенно показательными представляются в этом отношении отдельные общности, образованные старыми заимствованиями из греческого: ср. сван. *karäxs* 'рог (питьевой)' ~ гур. *karaxsi* 'рог для хранения мыла и дегтя', сван. *hastam* 'скребок для соскабливания теста со стенок сосуда' ~ адж. *hastami* 'род совка'. Упомянем в этой связи и изолированно стоящее в картвельской языковой области сван. *pamlə* 'домашний раб', возводившееся К.Д. Дондуа к лат. *famulus* 'прислужник'.

Отметим, наконец, два экстралингвистических соображения, говорящие в пользу несколько более продвинутого на запад или юго-запад ареала сванской речи в прошлом. С одной стороны, это то, что в сванских сказках действие нередко происходит на морском побережье, а среди их персонажей встречаем чайку и "морскую свинью", т.е. дельфина. С другой стороны, в палеоантропологии Кавказа своеобразный тип абхазов среди остальных носителей абхазско-адыгских языков обычно объясняют их близостью к западногрузинскому антропологическому типу, что приводит некоторых исследователей к мысли, что процесс этногенеза абхазов можно рассматривать как переход какой-то группы западных картвелов на абхазо-адыгскую речь [Алексеев 1974: 193–194].

Наряду с всеобщим признанием в картвелистике следов сванского субстрата за пределами современной Сванетии (ср. высказывания С.Н. Джанашиа, В.Т. Топуриа, Т.В. Гамкрелидзе, Г.И. Мачавариани и др.) необходимо упомянуть некоторые формулировки Н.Я. Марра, усматривавшего в грузинском языке и, в частности, уже в тексте древнегрузинского перевода Библии значительное число сванизмов. Исходя из своего впечатления, он считал возможным утверждать, что "имеется много косвенных и прямых указаний на то, что на юге между тубал-кайнами (т.е. занскими племенами – *Г.К.*) на западе и картами (т.е. грузинами – *Г.К.*) на востоке... первоначально обитали племена, говорившие на сванском языке, и что даже в период всходов христианства среди яфетических народов Сомехии (т.е. Армении – *Г.К.*) местная речь была сванская или насыщена сванизмами" [Марр 1913: 23]. Между тем, едва ли не полное отсутствие в его распоряжении сколько-нибудь доказательного фактического материала плохо согласовалось с этой более чем смелой гипотезой.

Если сопоставить данные исторической традиции с другими свидетельствами, то напрашивается вывод о том, что на протяжении веков ареал распространения сванского языка постепенно сокращался, пока не достиг своих современных очертаний. Этот процесс прежде всего увязывается с историческими судьбами всей западной части Закавказья, отражавшими медленную, но неуклонную концентрацию здесь общественной жизни. Его истоки, однако, трудно усматривать в акте принятия Грузией в IV в. н.э. христианства, выдвинувшем в качестве языка религии грузинский, и, тем более, в эпизодической зависимости Сванетии от Лазского царства на протяжении IV–V столетий. Первые сколько-нибудь ощутимые результаты этого процесса относятся скорее к VI веку: если этноним *eger-suan-k*, встречающийся у Фауста Византийского, просто привязывает сванов к течению Ингура, то Прокопий Кесарийский помещает сванов уже в глубине Западной Грузии, что подчеркивается их упоминанием вместе с соседней с ними областью *Skvimia // Skumnia*, в названии которой принято усматривать обозначение исторической земли Лечхуми. К VIII веку, т.е. ко времени уже возникшего Абхазского царства, относится одно важное указание грузинской летописной традиции. Так, Леонти Мровели, описывая события от начала грузинской государственности, определяет Сванетию как горную страну, которая про-

стирается от Эгриси (т.е. Мегрелии) на Западе до Дидоэти (т.е. до истоков Терека и Арагвы) на востоке [Картлис цховреба 1955: 27]. Если полагаться на это свидетельство, не доверять которому едва ли имеются основания, то в современную Леонти Мровели эпоху сванов уже нет в пределах Абхазии, но они занимают еще часть территории Закавказья к востоку от мест их расселения в настоящее время.

Несмотря на постоянно заявлявшую о себе тенденцию сванетских эриставов к сепаратизму процесс сокращения сваноязычного ареала должен был получить очередной стимул в период XII–XIII вв., характеризовавшийся расцветом грузинского государства, а также включением южной части Сванетии в состав владений князей Дадиани (хотя наиболее ранние эпиграфические памятники области относятся еще к X-му столетию, о степени вовлеченности области в общественную жизнь Грузии можно судить начиная с XIII века, когда к ним присоединяются и семейно-фамильные поминальные тексты, содержащие порой довольно разнообразную информацию [Ингороква 1941; Силагадзе 1988]).

Судя по некоторым документальным свидетельствам, современные границы распространения сванского языка в Закавказье существовали во всяком случае в первой половине XVII столетия, хотя они могли сложиться и значительно ранее. Так, итальянский миссионер той эпохи Ламберти, долго живший в Мегрелии, локализует места обитания его носителей в горах, возвышающихся к северу от Имеретии и Мегрелии [Ламберти 1913: 187]. Примерно одним столетием позже грузинский географ Вахушти со всей определенностью проводит границы Сванетии к северу от грузинских земель Рача и Лечхуми и к востоку от Мегрелии [Вахушти 1941: 172].

Охарактеризованную здесь общую тенденцию по существу не могли нарушить и известные эпизодические миграции различных сваноязычных групп за пределы исторической Сванетии. Наиболее значительная из них, судя по исследованию Л.И. Лаврова, имела место в промежутке между XIV и XVII веками, когда сванами были освоены верховья Кубани и Баксанское ущелье в пределах современной Кабардино-Балкарии [Лавров 1950: 81–82]. Однако И. Гюльденштедт, путешествовавший по Кавказу в 1773 году и дающий подробное описание горских племен Северного Кавказа, сванов не упоминает (о другом значительно более позднем выселении мелких групп на территорию Абхазии говорилось выше). Нетрудно заметить, что в обоих случаях миграции оказывались следствием появления свободных земель, нужда в которых неизменно ощущалась в Сванетии (в первом случае такие земли возникли после разгрома севернокавказских алан в результате монгольского нашествия, во втором – после выселения части абхазов и адыгов в Турцию по завершении Кавказской войны).

Наряду с общей тенденцией к сокращению ареала распространения сванского языка естественно предположить и уменьшение числа его носителей. Даже в условиях отсутствия каких-либо данных, характеризующих динамику изменения числа говорящих в сколько-нибудь отдаленном прошлом, степень достоверности такого предположения не должна внушать серьезных сомнений, если учесть, что особенно негативно в этом отношении должна была сказаться достаточно ранняя утрата сванами наиболее плодородных предгорных территорий, занятых ныне другими языками. Поэтому цифра в 15 000 сванов, сообщаемая статистическими данными 1886 года, была, по-видимому, близка к критической. Лишь с начала последующего более чем векового периода с образованием вторичного сванского анклава в Абхазии эта цифра стала характеризоваться тенденцией к постепенному возрастанию. Так, если в начале XX-го века число говорящих составляло 23 000 чел. [Марр 1913: 34], то в 60-х годах оно достигало, согласно оценке В.Т. Топуриа, 34 550 чел. [Топуриа 1967: 77], а в 80-х годах, как свидетельствует, ссылаясь на неофициальные данные А.Л. Ониани, возросло до 80 000.

Устойчивость границ современного сваноязычного ареала во многом обусловлена его естественными географическими рубежами – горным ландшафтом этой части Большого Кавказа. На севере такую границу образует Главный Кавказский хребет с вершинами, достигающими 4 000–5 000 м. над уровнем моря. На юге это два

параллельных кряжа – Сванский хребет, обособляющий всю Верхнюю Сванетию (т.е. нижнебальский и верхнебальский диалекты) от Нижней или так называемой Дадиановской, а также Эгрисский и Лечхумский хребты, отделяющие Нижнюю Сванетию (т.е. лашхский и лентехский диалекты) от Мегрелии и Лечхуми. На крайнем востоке этот ареал отделен от земли Рача горой Читхар. Согласно колоритному описанию конца прошлого столетия, принадлежащему русскому чиновнику В.Я. Тепцову, "обе Сванетии со всех сторон окаймляются горами малопроходимыми, а иногда и вовсе недоступными – одни по причине снега и значительной высоты, другие по причине шиферных скал, дремучего девственного леса и глубоких скалистых теснин, в которых пенятся бурные потоки" [Тепцов 1890: 3]. Из сказанного должно быть очевидным также, что прежде всего природными границами обособлены друг от друга и сванские диалекты, процессы взаимного контактирования которых и в настоящее время ощутимы лишь в минимальной степени.

Однако помимо географического фактора стабильности языковой границы здесь необходимо отметить и благоприятствовавшие такому положению вещей факторы социального порядка. Одним из них являлись долго сохранявшиеся в Сванетии элементы общинного уклада жизни (так, еще в конце XIX-го века здесь не было школ и торговых учерждений и единственным родом общественных зданий оставались небольшие церкви). Существенно также, что здесь прочно держался и обычай брать невест из своей среды, в частности, левират.

В этих условиях наиболее благоприятным путем проникновения грузинских и мегрельских заимствований в сванский язык должно было быть издавна практиковавшееся отходничество сванов на сезонные работы в Имеретию и Мегрелию, засвидетельствованное уже А. Ламберти [Ламберти 1913: 187–188], хотя не приходится отрицать и некоторой роли позднейших переселений мелких грузинских групп из Рачи и Лечхуми в обратном направлении.

Имеются, таким образом, основания полагать, что и в обозримом будущем перспективы бытования сванской речи останутся достаточно благоприятными.

Естественно вместе с тем, что обстоятельства внешнелингвистического плана не могли не отразиться на некоторых структурных характеристиках языка. Так, с одной стороны, ограниченность, особенно на протяжении последних нескольких столетий, контактов сванского с его окружением обусловила сравнительно скромные по сравнению с другими картвельскими, следы иноязычного воздействия на него, сказавшиеся почти исключительно в сфере лексики. Более заметны результаты контактов сванского с другими картвельскими языками – грузинским и мегрельским. Кроме того, в его словаре отложились небольшие группы аланских (староосетинских) и хронологически более поздних тюркских (балкарских) заимствований. Что касается пользовавшегося популярностью у части кавказоведов тезиса Н.Я. Марра о "мешанной" природе этого языка, будто бы содержащего как картвельский, так и абхазско-адыгский генетические компоненты, то он оказывается в настоящее время всецело достоянием пройденного этапа развития науки. С другой стороны, маргинальное положение сванского в картвелоязычном ареале способствовало сохранению в нем широкой совокупности архаических черт, изжитых в остальных родственных языках и ценность которых для построения сравнительной грамматики достаточно очевидна. Например, в фонетике здесь бросается в глаза унаследованность некоторых общекартвельских противопоставлений в вокализме, а также более полная сохранность серии фарингальных смычных согласных (с прочной позицией глухого аспирированного *q*). В сфере именной морфологии в этой связи указывают на минимальную степень унификации различных типов склонения, большую формальную близость элятива (сравнительно-превосходной степени имени прилагательного) к исходной для него глагольной словоформе и т.д. В глагольной морфологии сюда относятся сохранение, хотя и в несколько модифицированном виде, общекартвельских аблаутных противопоставлений квантитативного характера, реализуемых в определенных глагольных словоформах, а также оппозицию форм инклюзива и эксклюзива. Примечательно,

наконец, и то, что среди самих сванских диалектов наиболее архаическим характером отличается крайне северный верхнебальский диалект, составляющий периферию картвельской языковой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев В.П. 1974 – Происхождение народов Кавказа. Краниологическое исследование. М., 1974.

Вахушти 1941 – Описание царства Грузинского (География Грузии) / Под ред. Т. Ломоури и Н. Бердзенишвили. Тбилиси, 1941 (на груз. яз.).

Джанашиа С. 1959 – Труды. III. Тбилиси, 1959 (на груз. яз).

Ингороква П. 1941 – Исторические памятники Сванетии. Вып. 2. Тбилиси, 1941 (на груз. яз.).

Калдани М.М. 1959 – К вопросу о суффиксе *-iš* (*//-iš*) в географиической номенклатуре Грузии // XVIII Научная конференция Института языкознания. 30–31 дек. 1959 г. Тезисы. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).

Калдани М.М. 1963 – К вопросу о суффиксе *-iš* (*//-iš*) в лечхумской географической номенклатуре // Вопросы структуры картвельских языков. III. Тбилиси, 1963 (на груз. яз.).

Калдани М.М. 1970 – Смешение диалектов сванского языка в Кодорском ущелье // Иберийско-кавказское языкознание. XVII. Тбилиси, 1970 (на груз. яз.).

Картлис цховреба (История Грузии). Грузинский текст. I. Тбилиси, 1955.

Климов Г.А. 1986 – Введение в кавказское языкознание. М., 1986.

Лавров Л.И. 1950 – Расселение сванов на Северном Кавказе до XIX века // Краткие сообщения Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Вып. X. 1950.

Ламберти А. 1913 – Описани Колхиды (в переводе Л.Ф. Гана с предисловием автора и картой) // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 43. Тифлис, 1913.

Латышев В.В. 1947 – Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ, 1947. Вып. 4 (22).

Латышев В.В. 1948 – Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1948. Вып. 2 (24).

Латышев В.В. 1949 – Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1949. Вып. 2 (28).

Ломтатидзе К.В. 1984 – билабиальные смычные, восходящие к комплексам в картвельских языках. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).

Марр Н.Я. 1913 – Из поездок в Сванию. I (летом 1911–1912 гг.) // Христианский Восток. Т. II. Вып. 1. СПб., 1913.

Меликишвили Г.А. 1959 – К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959.

Меликишвили Г.А. 1965 – К вопросу о древнейшем населении Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).

Ониани А.Л. 1989 – Вопросы сравнительной грамматики картвельских языков (именная морфология). Тбилиси, 1989 (на груз. яз.).

Силагадзе В. 1988 – Письменные памятники Сванетии. X–XVIII вв. Т. 2. Тбилиси, 1988 (на груз. яз.).

Тепцов В.Я. 1890 – Сванетия (географический очерк) // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 10. Тифлис, 1890.

Топурия В.Т. (ред.) 1939 – Сванская поэзия I // Материалы для изучения карвельских языков. II. Тбилиси, 1939 (на сван. и груз. яз.).

Топурия В.Т. 1967 – Сванский язык // Языки народов СССР. Т. IV: Иберийско-кавказские языки. Москва, 1967.

Цхадаша П.А. 1985 – Топонимия горной Мегрелии (лингвистический анализ). Тбилиси, 1985 (на груз. яз.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. Е.В. УРЫСОН

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ И "НАИВНАЯ" КАРТИНА МИРА*

0. В толковых словарях принято давать толкование не всем словам – некоторые снабжаются отсылкой к другому слову. Например: *прощание* – действие по значению глагола *прощаться*, *дырочка* – уменьш. к *дыра*, *фаталистка* – женск. к *фаталист*. Первое слово в такой паре рассматривается как производное, или дериват, от второго – исходного слова. Отсылку естественно интерпретировать как метку некоторого стандартного семантического преобразования: оно трансформирует значение исходного слова в значение деривата.

Принято считать, что в некоторых случаях такое семантическое преобразование затрагивает только категориальную (частеречную) семантику – тогда соответствующий дериват называется синтаксическим. Ср. определение Е. Куриловича: "Синтаксический дериват – это форма с тем же лексическим содержанием, что и у исходной формы, но с другой синтаксической функцией" [Курилович 1962: 61]. Синтаксическими дериватами являются, например, отглагольные существительные в следующих парах: *прощаться – прощание*, *преподавать – преподавание*, *ослабевать – ослабевание*.

Синтаксические дериваты неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. Вызывал интерес тот факт, что слово, облекаясь в иную морфологическую (частеречную) форму, приобретает способность выступать в изначально ему не свойственных синтаксических функциях. Именно с этой точки зрения синтаксическую деривацию описывали ученые Женевской школы: Ш. Балли, а вслед за ним А. Сеше и А. Фрей представляли данный тип деривации как функциональную (синтагматическую) транспозицию, т.е. как простую мену синтаксических характеристик слова [Балли 1995; Sechehaye 1926; Frei 1929]. Аналогичным образом описывали синтаксическую деривацию Е. Курилович [Курилович 1962] и Л. Теньер (последний называл тот же круг явлений синтаксической трансляцией [Теньер 1988]). О. Есперсен, усматривая тонкое семантическое различие между исходным словом и его синтаксическим дериватом, все же формулировал это различие в чисто синтаксических терминах [Есперсен 1958]). Анализом сочетаемостных свойств этого типа производных слов ограничиваются и А.К. Жолковский и И.А. Мельчук, описавшие (в рамках модели "Смысл ⇔ Текст") роль синтаксических дериватов в системе перифразирования [Мельчук 1974].

Следствием этого, чисто функционального подхода к синтаксическим дериватам был тот факт, что такие дериваты практически не рассматривались "изнутри" – не исследовалась их семантика как таковая. Анализировалось лишь соотношение грамматических категорий исходного слова и его деривата. В частности, А.М. Пешковский [Пешковский 1956] описал отражение глагольной категории вида в семантике

* Автор благодарит В.З. Санникова и, в особенности, Ю.Д. Апресяна за полезное обсуждение.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, инициативный проект 96-04-06437.

отглагольного существительного, ср. существительные из следующих пар: *прыгание* (от *прыгать*) и *прыжок* (от *прыгнуть*), *рассматривание* (от *рассматривать*) и *рассмотрение* (от *рассмотреть*). В этом же русле лежит работа Е.В. Падучевой, посвященная вопросу о сохранении таксономических категорий исходного глагола (типа "действие", "процесс", "событие") в значении отглагольного существительного [Падучева 1991].

Цель предлагаемой работы – анализ семантики некоторых русских отглагольных существительных. А именно, мы попытаемся уяснить сущность стандартного семантического преобразования, представленного в парах типа *прощаться – прощание*. Будет показано, что это семантическое преобразование затрагивает не только грамматические категории лексемы, но и ее самые глубинные пласты.

I. СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ И ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ КЛАССЫ СЛОВ

I.1. Как известно, синтаксический дериват от некоторого слова совпадает с этим словом по смыслу, но принадлежит к иной части речи. Другими словами, в паре типа *прощаться – прощание* исходный глагол и производное существительное обозначают одну и ту же ситуацию. Стандартное преобразование, которое трансформирует семантику глагола в семантику существительного, естественно представить как замену одних грамматических категорий другими: с исходного слова "снимаются" грамматические категории глагола и на полученный внекатегориальный конструкт "надеваются" грамматические категории существительного. Никаких других семантических изменений не происходит. В частности, отглагольное существительное, подобно глаголу, может обозначать (в соответствующих контекстах) и факт, и процесс. Ср. *Я представил себе свое возвращение домой* ⇔ *Я представил себе, что ⟨как⟩ я возвращаюсь домой* [Падучева 1974: 201].

Оказывается, однако, что замена глагола на отглагольное существительное допустима далеко не во всех контекстах. Ср.

(1а) *Я видела, как они прощались* –

(1б) *Я видела их прощание,*

однако,

(1в) *Я слышала, как они прощались* –

(1г) **Я слышала их прощание.*

Ср. также

(2а) *Мы видели, как бомбят Грозный* –

(2б) *Мы видели бомбежку Грозного,*

однако

(2в) *Мы слышали, как бомбят Грозный* –

(2г) **Мы слышали бомбежку Грозного.*

Предложения типа (г) абсолютно неправильны, причем их аграмматичность не имеет ничего общего с той стилистической неудачностью, которая часто присуща предложениям с отглагольными существительными. Ср.

(3а) *Я видел, как они пихали друг друга* –

(3б) ?*Я видел их пихание.*

(4а) *Мы видели, как (день и ночь) возводят крепостные стены* –

(4б) ?*Мы видели возведение крепостных стен.*

Неудачность примеров типа (3б), (4б) легко объяснима. Дело в том, что многие отглагольные существительные (в том числе *пихание, возведение*) – это слова скорее потенциальные, нежели реально существующие в языке. Они не "обкатаны" в должной мере и поэтому выглядят естественно в очень ограниченном круге контекстов. (Это главным образом фазовые глаголы, которые вообще свободно

сочетаются с обозначениями процессов, ср. *Пихание кончилось* ⟨*возобновилось*⟩, *Возведение дамбы будет завершено к будущему году*. Это также глаголы, указывающие на длительность процесса, ср. *Пихание заняло не больше трех минут*, *На возведение дамбы ушло несколько лет*.) Кроме того, отглагольные существительные на *-ание*, *-ение* несут оттенок книжности, а это усугубляет искусственность примеров (3б), (4б). Однако в соответствующих – книжных – контекстах эти существительные могут быть вполне уместны. Ср. *Исследователи наблюдали пихание морских ежей в естественных условиях*; *Туристы с интересом наблюдали возведение пирамид, осуществляемое без помощи современных технических средств*. Подобные, стилистические аргументы не позволяют объяснить неправильность примеров (г) выше. Ср. также стилистически корявые примеры (3б), (4б) с абсолютно неправильными примерами (г) в следующих парах:

(3в) *Я слышал, как они пихали друг друга* –

(3г) **Я слышал их пихание.*

(4в) *Мы слышали, как (день и ночь) возводят крепостные стены* –

(4г) **Мы слышали возведение крепостных стен.*

Запрет на все эти отглагольные существительные в контексте глагола *слышать* кажется совершенно нелогичным. Е.В. Падучева называет его "капризом трансформации номинализации" [Падучева 1991: 12].

Другое дело, когда какая-либо ситуация может восприниматься только зрением, но не слухом, ср. *сверкать*, *развиваться*, *ослабевать* и т.п. Обозначения таких ситуаций нормальны в контексте глагола *видеть* и недопустимы в контексте глагола *слышать*. Но этот запрет, разумеется, не связан с тем, какой частью речи оформлено обозначение ситуации. Ср. нормальные высказывания:

(5а) *Он видел, как сверкали ее глаза* –

(5б) *Мне все-таки удалось увидеть ее смеющиеся розовые губы и веселое сверкание белых зубов* (И.А. Куприн, пример из [МАС])

и одинаково недопустимые примеры:

(5в) **Он слышал, как сверкали ее глаза.*

(5г) **Мне все-таки удалось услышать ее звонкий голос и веселое сверкание белых зубов.*

Ср. также следующие нормальные примеры:

(6а) *Он видел, как постепенно развивается мальчик* –

(6б) *Он видел постепенное развитие мальчика,*

и недопустимые высказывания:

(6в) **Он слышал, как постепенно развивается мальчик* –

(6г) **Он слышал постепенное развитие мальчика.*

Ср. также

(7а) *Я видела, как ослабевает пружина* –

(7б) *Я видела ослабевание пружины,*

и

(7в) **Я слышала, как ослабевает пружина* –

(7г) **Я слышала ослабевание пружины.*

[Отметим, что примеры типа (6в, г), (7в, г) могут оказаться вполне правильными относительно некоторой нестандартной ситуации – субъект способен воспринимать слухом такие в норме беззвучные процессы, как развитие ребенка или ослабевание *пружины.*]

Описываемая нами картина осложняется еще и тем, что существуют глаголы, прямо противоположные рассмотренным. Ср.

(8а) *Я видела* ⟨*слышала*⟩, *как она плакала* –

(8б) *Я слышала ее плач,*

однако недопустимо

(8в) **Я видела ее плач.*

Ср. также

(9а) *Я видел* ⟨*слышал*⟩, *как они хихикали (на задней парте)* –

(9б) *Я слышал их хихиканье,*

однако нельзя

(9в) **Я видел их хихиканье.*

Ср. также

(10а) *Я видел* ⟨*слышал*⟩, *как сморкался Иван Иванович* –

(10б) *Я слышал чье-то сморканье,*

однако нельзя

(10в) **Я видел его сморканье.*

Запрет на отглагольные существительные типа *плач, хихиканье, сморканье* в контексте глагола *видеть* тоже кажется не вполне логичным – ведь соответствующие ситуации можно воспринимать и слухом, и зрением, ср. примеры (а).

Другое дело – ситуации типа *скрипеть, тарахтеть, шуршать* и т.д.: они действительно могут восприниматься только слухом. Поэтому обозначения таких ситуаций не могут фигурировать в контексте глагола *видеть* – естественно, независимо от того, какой частью речи выражено обозначение ситуации. Ср. нормальные примеры (11а, б) и в равной мере недопустимые примеры (11в, г):

(11а) *Я слышала, как скрипели колеса* ⟨*как ветер шуршал листьями, как тарахтели машины на улице*⟩.

(11б) *Я слышала скрипение колес* ⟨*шуршание листьев, тарахтение машин*⟩.

(11в) **Я видела, как скрипели колеса* ⟨*как ветер шуршал листьями, как тарахтели машины на улице*⟩.

(11г) **Я видела скрипение колес* ⟨*шуршание листьев, тарахтение машин*⟩.

Попытаемся сформулировать ограничения на сочетаемость отглагольных существительных с предикатами восприятия типа *видеть* и *слышать*.

I.2. Рассматриваемые нами исходные глаголы обозначают некоторые ситуации внешнего мира, которые могут быть восприняты другим человеком, т.е. человеком, не являющимся их участником. Судя по нашему материалу, такие ситуации образуют четыре класса.

Первый, вполне очевидный класс – это ситуации излучения света, ср. *светить(ся), сверкать, блестеть, блистать, вспыхивать, мерцать, гаснуть, светлеть, темнеть* и др. Такие ситуации могут быть восприняты только зрением.

Второй, тоже вполне очевидный класс – это "звуковые ситуации", ср. *шелестеть, шуршать, хрустеть, трещать, скрипеть, скрежетать, лязгать, тарахтеть, громыхать, грохотать, гудеть* и под., а также *картавить, шепелявить, присюсюкивать* и т.п. Такие ситуации могут быть восприняты только слухом.

Оба эти класса относительно невелики и компактны. Остальные два класса гораздо больше и неоднородней.

Третий, по-видимому, самый обширный класс составляют ситуации, которые не являются ни "световыми", ни "звуковыми". Ср. *развиваться, уставать, ослабевать, гнить, расти, расставаться, (из)меняться, развеваться, махать, макать, нести, качаться, вращать(ся), кивать, моргать, щуриться, улыбаться, вздрагивать, ежиться, бледнеть, смотреть, слушать, спать, тонуть, висеть, стоять, сидеть, лежать* и др.

В значение этих предикатов не входит указание ни на свет, ни на звук. Тем не менее с точки зрения восприятия, все эти ситуации сближаются с ситуациями излучения света: их тоже можно только видеть, но не слышать. Ср. нормальные примеры (12а) и недопустимые (12б):

(12а) *Мы видели, как развевались на ветру флаги* ⟨*как они махали руками, как он стоял под деревом*⟩.

(12б) **Мы слышали, как развевались на ветру флаги* ⟨*как они махали руками, как он стоял под деревом*⟩.

При этом некоторые из таких ситуаций действительно не предполагают никаких звуков, ср. *гнить, улыбаться, щуриться, сидеть, смотреть, стоять, сидеть, лежать* и т.п. Другие ситуации в норме не сопровождаются такими звуками, которые способен воспринять обычный человек, ср. *моргать, макать, расписываться, расти, развеваться*, а также (6в, г) и (7в, г). А третьи ситуации – ср. *вращаться, качаться* – могут сопровождаться достаточно громкими звуками, однако соответствующий предикат сам по себе такого указания не содержит – его нужно выражать отдельно. Поэтому нормально

(13а) *Мы видели, как вращалось тяжелое колесо,*

(14а) *Мы видели, как качалось старое дерево,*

но сомнительно

(13б) ?*Мы слышали, как вращалось тяжелое колесо*

(14б) ??*Мы слышали, как качалось старое дерево,*

хотя совершенно нормально

(13в) *Мы слышали, как со скрипом вращалось тяжелое колесо,*

(14в) *Мы слышали, как, скрипя, качалось старое дерево.*

(Отметим, что фраза (13б) может быть приемлемой, но лишь во вполне определенной ситуации: когда говорящий и его адресат хорошо знают, какими звуками сопровождается вращение данного колеса.)

Ср. также ситуацию *читать (про себя* vs. *вслух):*

(15а) *Я видела, как он читал газету;*

(15б) *Я слышала, как он читал детям сказку.*

Наконец, четвертый класс образуют ситуации, которые в норме (а некоторые – даже всегда) сопровождаются определенными звуками. Ср. (а) *петь, смеяться, хихикать, хохотать, плакать, всхлипывать, рыдать, кашлять, чихать, сморкаться, вздыхать* и др; (б) *рубить, пилить, бомбить, стрелять, ходить, шагать, бежать, прыгать, стирать* и под. К этому же классу относятся акты речи, ср. *говорить, разговаривать, беседовать, умолять, ругать(ся),* а также ситуации, предполагающие речь, ср. *приветствовать, прощаться, брататься* и др. Все эти ситуации могут быть восприняты и зрением, и слухом.

Легко видеть, что четвертый класс ситуаций разбивается на два подкласса – ср. группы (а) и (б) в приведенном выше списке, причем соответствующие предикаты различаются способом указания на звук. Действительно, в семантике предикатов группы (а) – типа *петь, смеяться, плакать, кашлять, чихать, сморкаться, вздохнуть*, а также, вероятно, *ругать(ся)* указание на звук безусловно занимает центральное место – не указав характер звука, нельзя адекватно описать соответствующую ситуацию. Для этих глаголов типична сочетаемость с наречиями, указывающими на силу и тембр звука, ср. *громко* ⟨*тихо, тонко*⟩ *плакать, громко* ⟨*звонко, тихо*⟩ *смеяться, громко* ⟨*оглушительно*⟩ *сморкаться, громко* ⟨*сипло, хрипло*⟩ *кашлять, крикливо ругаться, петь басом* и т.д. Правда, некоторые такие ситуации могут не сопровождаться никакими звуками, но это необычно, и говорящий может специально об этом сообщить, ср. *беззвучно плакать* ⟨*смеяться*⟩.

Что касается предикатов группы (б) – типа *рубить, бегать, прощаться, стирать* – то, по-видимому, в их значении указание на звук отсутствует. Правда, ситуации типа *прощаться, брататься* обычно включают в себя речевой акт, т.е. говорение, речь, следовательно – определенные звуки. Ситуация типа *рубить* предполагает удар одного твердого предмета о другой, а контакт такого рода обычно сопровождается

особым звуком (ср. *звук удара*). Аналогичным образом, ситуации типа *бегать, прыгать, шагать* предполагают кратковременный контакт ступней субъекта с поверхностью земли, а такой контакт в норме тоже сопровождается определенными звуками. Ситуация *стирать* предполагает плеск воды и т.п.

Однако эти сведения о звуках не являются частью семантики слова – это знание реалий, знание того, какими бывают вещи и ситуации вокруг нас. Иными словами, это так называемые энциклопедические знания о мире. Они вряд ли фиксируются в языке как таковом (т.е. в значении слов данного языка и его грамматических категорий), но, тем не менее, являются общими для всех носителей данного языка (и, по-видимому, усваиваются очень рано, одновременно с языком).

Тем самым, предикаты группы (а) сами по себе не указывают на звук (это, между прочим, обусловливает запрет на сочетания типа **громко рубить, *громко бегать* ⟨*прыгать, прощаться*⟩). Но описываемые этими предикатами ситуации часто (или обычно) сопровождаются определенными звуками, и мы знаем это по опыту, т.е. постольку, поскольку живем в этом мире.

С точки зрения лексической семантики предикаты группы (а) принципиально отличаются от предикатов группы (б). Однако с точки зрения "наивной" картины мира и те и другие попадают в один класс – они обозначают зрительно-слуховые ситуации.

Отметим, что зрительно-слуховые предикаты типа (а) и (б) могут различаться и в контексте глагола *слышать*. Если в семантике предиката имеется указание на звук – ср. *петь, смеяться, плакать*, – то в контексте глагола *слышать* он может обозначать и процесс, и факт. Ср.

(16а) *Я слышал, как она пела* ⟨*смеялась, плакала*⟩ (процесс)

и

(16б) *Я слышал, что она пела* ⟨*смеялась, плакала*⟩ (факт).

Если же сведения о звуке являются энциклопедическими, то в контексте глагола *слышать* (в данном его значении) соответствующий предикат, как правило, может обозначать только процесс. Ср.

(17а) *Я слышала, как они прощались у вагона* ⟨*рубили лес, бомбили Грозный*⟩ (процесс).

Действительно, в высказываниях типа

(17б) *Я слышала, что они прощались у вагона* ⟨*рубили лес, бомбили Грозный*⟩

глагол *слышать* указывает, скорее, не на восприятие как таковое, а на "знание по слухам".

С точки зрения поведения в контексте глагола *слышать*, предикаты типа *петь, смеяться, плакать* сближаются с предикатами, обозначающими "слуховые" ситуации, типа *скрипеть, тарахтеть*. Ср. *Я слышала, как* ⟨*что*⟩ *скрипят несмазанные колеса* (восприятие слухом). А ситуации типа *рубить, бомбить, прощаться* близки к зрительным ситуациям типа *расставаться, ослабевать*, ср. *Я слышала, что они расстались* ⟨*что она очень ослабела*⟩ (знание "по слухам").

I.3. Выделенные четыре класса ситуаций внешнего мира, а именно: ситуации световые (ср. *сиять, светиться*); звуковые (ср. *шуршать, тарахтеть*); не сопровождающиеся ни светом, ни звуком (ср. *стоять, махать*); и сопровождающиеся определенными звуками (ср. *петь, рубить*) – естественным образом группируются в три типа с точки зрения восприятия их человеком. Это ситуации зрительные (ср. первый и третий классы), слуховые (ср. второй класс) и зрительно-слуховые (ср. четвертый класс). Эти типы не являются языковыми (в собственном смысле этого слова): вряд ли в значение слов *качаться, стирать* или *моргать* входит указание на то, каким образом воспринимается данная ситуация. Мы сталкиваемся здесь с "энциклопедическими" типами ситуаций – они фиксируются не в толковании слов, т.е. не в лексической семантике, а в "наивной энциклопедии".

Оказывается, что "наивная энциклопедия" теснейшим образом связана с языком –

она не только так или иначе отражается в лексической семантике, но и вторгается в область чисто языковых правил – без нее не удается описать, в частности, некоторые правила сочетаемости (ср. примеры (16) – (17)), а также правила деривации, о которых речь пойдет ниже.

Сейчас отметим, что деление ситуаций на эти три типа при всей его очевидности отражает все же не действительность как таковую, а определенное преломление ее в "наивной" картине мира.

Действительно, некоторые предикаты, хотя и обозначают звуковые ситуации (т.е. указывают в первую очередь на звук), все же тяготеют к зрительно-слуховому классу. Ср. *ругаться*, *ворчать*, а также *щебетать*, *пищать*, *чирикать*, *каркать*, *кудахтать*, *кукарекать*, *крякать*, *мычать*, *блеять* и др., *сопеть*, *хрипеть*, *храпеть*, *чавкать*, *топать*, *стонать* и под. Так, вполне допустимо

(18) *Я видела, как они ругались.*

(19) *Я вижу, как она ходит и ворчит на него.*

(20) *Я видела, как вы шумели без учителя.*

В разговорной речи возможно даже

(21) *Я видела, как она ворчит на него* ⟨*как он чавкал пирогом, как он захрипел, как во дворе мычала корова*⟩. Высказывания типа (21) производят впечатление небрежных, но все же их аномальность гораздо меньше, нежели следующих, абсолютно недопустимых примеров:

(22) **Я вижу, как едет и скрипит телега.*

(23) **Я вижу, как шуршат опавшие листья.*

Дело в том, ситуация *ворчать* (на кого-л.) предполагает определенное выражение лица субъекта, ситуация *чавкать* предполагает, что субъект энергично жует, т.е. двигает челюстями, а когда корова мычит, она особым образом вытягивает шею. Этих, в сущности, очень небольших указаний на внешний вид может оказаться достаточно для того, чтобы ситуация "сдвинулась" в сторону зрительно-слухового класса.

Выбор именно такого преломления действительности в "наивной" картине мира (т.е. отнесение ситуации к зрительно-слуховому или зрительному классу), имеет, разумеется, внелингвистическую основу. В этом преломлении отражается безусловное доминирование зрения над всеми остальными органами чувств человека.

Действительно, самую главную, самую большую по объему информацию о внешнем мире человек получает благодаря зрению: мы в первую очередь видим окружающий нас мир и лишь во вторую очередь воспринимаем его ушами. Зрительная информация представляется наболее полной и точной (ср. в связи с этим поговорку *Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать*). Если некоторая ситуация может быть воспринята и зрением, и слухом, то высказывания типа *Я видел, как P* ⟨*Я видел, как бомбили Грозный*⟩, предполагают, как нечто само собой разумеющееся, что субъект, скорее всего, воспринимал данную ситуацию также и слухом. А в высказываниях типа *Я слышал, как P* ⟨*Я слышал, как бомбили Грозный*⟩ имеется в виду, что субъект воспринимал ситуацию только слухом, но не зрением. Тем самым, высказывания типа *Я видел, как P* информативнее высказываний типа *Я слышал, как P*[1].

Доминирование зрения над слухом отражается не только в "наивной энциклопедии", но и непосредственно в лексической семантике – при отборе компонентов, формирующих значение слова как таковое. Действительно, ситуации, которые достаточно

---

[1] Превосходство зрения над слухом отражается в разных точках лексической системы языка; см. об этом в работе [Апресян 1995], содержащей обзор "модели человека". Добавим, что хотя глаголы *видеть* и *слышать* оба развивают значение знания (а глагол *видеть* еще и понимания), но это знание – разное: глагол *слышать*, в отличие от *видеть*, указывает на знание лишь недостоверной информации, "слухов". Ср. *Теперь я вижу, что был неправ; Я не вижу выхода из этого тупика* и *Я слышала, что наш сад вырубили.*

часто сопровождаются звуками – ср. *вращаться, качаться, читать*, теоретически вполне могли бы иметь соответствующее указание в толковании, но этого не происходит.

I.4. Перейдем теперь непосредственно к деривации. Если глагол обозначает зрительную или слуховую ситуацию, то соответствующее отглагольное существительное ведет себя совершенно тривиальным образом: оно может выступать либо только в контексте предиката *видеть*, ср. группы примеров (5) – (7), либо только в контексте предиката *слышать*, ср. группу примеров (11).

Что касается зрительно-слуховых ситуаций, то с точки зрения деривации одни из них ведут себя как зрительные, а другие – как слуховые. Зрительными становятся предикаты, в семантике которых указание на звук отсутствует (оно зафиксировано не в значении слова, а в "наивной энциклопедии"), ср. *прощаться, бомбить, рубить* (это подкласс (б) четвертого класса); ср. группы примеров (1) – (4). Как слуховые ведут себя предикаты, в семантике которых указание на звук есть, ср. *петь, смеяться, плакать* (т.е. подкласс (б) четвертого класса); ср. примеры (8) – (10).

Иными словами, при деривации происходит некоторое упрощение классификации предикатов. Чем это можно объяснить?

I.5. Синтаксическая деривация – это своего рода подделывание обозначений, принадлежащих к одной части речи, под обозначения из другого грамматического класса. В нашем случае обозначение процесса подделывается под обозначение предмета, вещи[2]. Это заключается, прежде всего, в смене грамматических категорий слова. Но может быть, это подстраивание включает в себя и какие-то другие аспекты?

Ядром, центральной частью того класса слов, который называется "имя существительное", являются названия обычных, материальных предметов, "вещей", ср. *человек, рука, птица, дерево, вода, хлеб* и т.п.[3] Но такие материальные предметы человек в норме воспринимает прежде всего зрением, ср. *Вижу человека, руку, птицу, дерево, воду, хлеб*. Многие из таких предметов человек может также осязать, а иногда – обонять и даже ощущать на вкус. Ср. *ощупывать дерево, нюхать цветок, пробовать воду на вкус*. Но может ли человек воспринимать предметы слухом?

На первый взгляд кажется, что да – некоторые предметы человек может не только видеть, но и слышать. Ср.

(23) *Мы услышали пастуший рожок.*

(24) *Мы слушали скрипку ⟨гитару, флейту, рояль⟩.*

Однако в таких примерах существтельные *рожок, скрипка, гитара, флейта, рояль* и т.д. выступают в ином значении, нежели в случаях типа

(25) *В музее мы видели пастуший рожок.*

(26) *В первый раз вижу такую скрипку ⟨такую гитару, такую флейту, такой рояль⟩.*

Действительно, в примерах (23), (24) существительные *рожок, флейта, рояль, скрипка, гитара* обозначают предметы, а в примерах (25), (26) те же слова имеют метонимическое значение и обозначают звуки этих предметов. Этим примеры (23) – (26) принципиально отличаются от высказываний с глаголами типа *Мы видели*

---

[2] Ср., например, следующее высказывание А.М. Пешковского: "в с е непредметное может быть в языке при помощи определенных грамматических средств [т.е. с помощью категории существительного – *Е.У.*] о п р е д м е ч е н о" [Пешковский 1956: 73]. Ср. также мысль В.В. Виноградова о том, что существительное является "средством опредмечивания разнообразных понятий и представлений" [Виноградов 1972: 46].

[3] Существительные могут обозначать достаточно разные объекты. Как и в случае ситуаций, сосредоточимся на тех объектах (внешнего мира), которые может воспринимать человек (таким образом, мы не рассматриваем здесь существительные – обозначения мыслей, чувств и т.п.).

⟨слышали⟩, как они прощались ⟨смеялись⟩ – глаголы *смеяться, прощаться* выступают здесь в одном и том же значении. Тем самым, ситуацию можно, вообще говоря, и видеть, и слышать, а вещи можно только видеть: слышим мы звуки.

С точки зрения русской наивной картины мира предметы как таковые не звучат: они статичны и "безмолвны". Для того чтобы они зазвучали, требуется действие, движение: один предмет должен удариться о другой, струна должна начать колебаться, человек – говорить и т.п. Однако идея действия, движения выражается глаголом, и обозначение действия может быть лишь добавлено к обозначению предмета, "вещи".

Тем самым, с точки зрения восприятия предметы, "вещи" образуют всего один, зрительный класс (в него, кстати говоря, попадает и существительное *свет*, а также другие обозначения света и существительные типа *цвет, форма, размер*). Вещам противопоставляются звуки, ср. *щебет, свист, шорох, скрип, хруст, гул, гуд, дробь (барабана)* и т.п. Они образуют "слуховой" класс. Никаких сущностей, которые можно было бы воспринимать и зрением, и слухом, существительные не обозначают[4]. Таким образом, в "русской наивной энциклопедии" существительные делятся всего на два класса.

Четкость границы между зрительными и слуховыми классами обеспечивается, между прочим, и лексической семантикой: метонимия 'предмет' – 'звук этого предмета' лишь намечена в системе языка. Соответствующие переносные значения могут выступать только в контексте предикатов *(у)слышать, слушать*, ср. примеры (23), (24), а также допустимые высказывания *Мы услышали скрипку ⟨гитару, рояль⟩*. В других контекстах, характерных для обозначений звуков, эти слова не выступают. Ср. разговорные или очень сомнительные примеры типа *?Из открытых окон слышалась скрипка, ?Из-за стены доносилась гитара, *До нашего слуха долетела флейта, *Нашего слуха коснулся рояль ⟨пастуший рожок⟩*. Во всех этих примерах желательно или даже обязательно эксплицитное указание на звук, ср. безупречные примеры *Из открытых окон слышались ⟨неслись⟩ звуки скрипки, Из-за стены доносились звуки гитары, До нашего слуха долетели звуки флейты, Нашего слуха коснулись звуки рояля ⟨пастушьего рожка⟩*[5].

Отметим, что противопоставление "вещей" и звуков отражается в синонимии имен: некоторые (квази)синонимичные существительные различаются указанием на наличие/отсутствие звука – следовательно, отнесением обозначаемой сущности к разным "энциклопедическим классам" с точки зрения характера ее восприятия. Ср. *плач – слезы* (последняя лексема представлена в высказываниях типа *Его потрясли ее слезы, Ее слезы действуют тебе на нервы*, разг. *Прекрати слезы*). Лексема *плач* указывает на звук – и, следовательно – на слуховое восприятие ситуации; а лексема *слезы* – на внешний вид плачущего – и, тем самым, – на зрительное восприятие той же ситуации. Поэтому нормально: *услышать (ее) плач, вид (ее) слез*, но недопустимо *увидеть (ее) плач, *услышать ее слезы*. Ср. также синонимы *походка – поступь*. Первое существительное указывает на внешний вид движения (тем самым – на зрительное восприятие ситуации), а второе – на сопровождающие это движение звуки (следовательно – на слуховое восприятие ситуации). Ср. *любоваться (ее) походкой*, но *услышать (ее) поступь; плавная походка*, но *мерная поступь*.

Итак, существительные бывают только двух типов – зрительного и слухового (мы

---

[4] Этому как будто противоречат примеры типа *видеть текст ⟨стихи, речь⟩* vs. *слышать текст ⟨стихи, речь⟩*. Однако глагол *видеть* обозначает здесь не зрительное восприятие, как таковое, а чтение, т.е. особое интеллектуальное действие.

[5] К приведенным примерам можно добавить еще такие высказывания (допустимые в разговорной речи): *Мы услышали телефон ⟨собаку, поезд⟩*. Ср., однако недопустимые примеры *??Из соседней квартиры доносился телефон, *Из-за забора доносилась собака* (нужно *собачий лай*).

сейчас абстрагируемся от существительных типа *запах, вкус, тепло, холод* и т.д.). При синтаксической деривации предикат из смешанного, зрительно-слухового глагольного типа может попасть лишь в один из этих типов существительного[6]. Тем самым, смена категориальной семантики предполагает не только замену одних грамматических категорий другими, но и изменение некоей "энциклопедической" характеристики слова с точки зрения восприятия обозначаемой им сущности.

Мы выяснили природу запрета на сочетания типа **(у)слышать бомбежку* ⟨*прощание*⟩, **(у)видеть пение* ⟨*плач*⟩. Отметим, что поддельвание обозначения процесса под обозначение вещи объясняет и некоторые другие факты, описанные Е.В. Падучевой – а именно, сочетаемость отглагольных дериватов с кванторами; ср. *всякая бомбежка, третья бомбежка, некоторые переезды, какой-нибудь переезд* и т.п. [Падучева 1991: 23]. В данном случае отглагольные дериваты тоже выступают как обозначения обычных (притом исчисляемых) "вещей".

Приведенные факты свидетельствуют о том, что синтаксическая деривация – это не просто номинализация, а скрытая перестройка лексемы в духе другой части речи. Как отразить изменения, сопутствующие деривации, в словаре?

В соответствии с лексикографической традицией, мы считаем, что синтаксические дериваты не могут толковаться в собственном смысле этого слова. Действительно, было бы самым естественным толковать дериват через исходное слово, отдельно указывая при этом изменение его частеречной семантики. Однако категориальная семантика в принципе не может быть объектом толкования – она не вербализуема и входит как составная часть в значение любого семантического примитива. Следовательно, категориальная семантика является семантическим кварком (понятие семантического кварка введено Ю.Д. Апресяном [Апресян 1994]). Представить семантический кварк можно лишь "условной формулой", условным знаком. Ср. формулу "действие по значению глагола", принятую в толковых словарях для представления отглагольных существительных, или символ лексической функции S_0 [Мельчук 1974]. Отсылка к исходному слову в лексикографическом описании деривата – это символ того кварка, на который меняется семантика исходного слова в результате деривации (а не только метка деривации).

Что касается характеристики (не толкования!) категориальной семантики (например, перечня свойств семантических или "энциклопедических" классов той или иной части речи), то их (так же как и правила изменения категориальной семантики) естественно фиксировать в отдельном описании – в "грамматике словаря". Характеристика этого компонента лексического описания выходит далеко за рамки предлагаемой работы. Сейчас сосредоточимся на одном, частном вопросе, связанном с изменением "энциклопедического класса" слова при деривации.

II. СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА

II.1. "Подделывание" обозначения из одного грамматического класса под обозначение из другого класса может повлечь за собой достаточно серьезные семантические изменения слова. Эти изменения могут иметь индивидуальный характер и затрагивать отдельные лексемы. Ср. *хохотать* и *хохот*: хохотать может любой человек (в том числе – младенец), а лексема *хохот* предполагает только взрослого субъекта (возможно, в силу того, что акцентирует громкий звук). Ср. также *плакать* и *плач*:

---

[6] Нам известен лишь один случай, когда существительное, соотносимое с глаголом, обозначает (в данном своем значении) сущность, которую можно воспринять и зрением, и слухом. Ср. *Мы услышали взрыв* и *Мы видели взрыв атомной бомбы*; при этом недопустимо **Мы видели взрыв дома* ⟨*бомбы*⟩. Но такая контекстная избирательность свидетельствует о том, что сочетание *взрыв атомной бомбы* имеет тенденцию к фразеологизации, становится устойчивым.

лексема *плач*, в отличие от *плакать*, предполагает наблюдателя (не совпадающего с говорящим), поэтому сомнительно ?*Они слышат мой плач*, хотя совершенно нормально *Я плачу*[7].

Однако подобные изменения могут носить и вполне системный характер, распространяясь на достаточно большие классы слов. Покажем это на примере одного класса отглагольных существительных.

Сосредоточимся на дериватах типа *щебетанье, пищанье, скрипенье, визжание, пение, плач, смех*, т.е. на отглагольных существительных, попадающих в класс существительных, обозначающих звуки.

Для того чтобы разобраться в их специфике, рассмотрим пары существительных *щебет – щебетанье, писк – пищанье, шелест – шелестенье, скрип – скрипенье* в контексте их словообразовательных гнезд[8].

Первое, непроизводное существительное в паре обозначает только звук, а второе, отглагольное, может обозначать ситуацию. Ср. *Пищанье ⟨щебетанье⟩ отняло у птенцов последние силы, Вся жизнь ушла на шелестение бумагами*. Ср. сомнительные (непонятные) высказывания ??*Писк ⟨щебет⟩ отнял у птенцов последние силы*, ??*Вся жизнь ушла на шелест бумагами*. Это различие между существительными внутри пар хорошо согласуется с предложенным выше описанием отглагольных существительных.

Но отглагольное существительное может обозначать и звук как таковой. Ср. *Среди монотонного жужжания пчел слышалось щебетанье дроздов, овсянок, зябликов* (Н. Успенский, [МАС]), *[Мотыльки] влетали в окна и с беспокойным шелестением надоедливо носились по комнате* (В. Ажаев, [МАС]). Тем самым, семантика отглагольных существительных как бы состоит из двух частей: одна часть совпадает (с точностью до категориальной семантики) со значением исходного глагола, а вторая часть – это указание на звук, и она совпадает со значением непроизводного существительного (если таковое имеется) из данного словообразовательного гнезда. Таково следствие изменения категориальной семантики слова, точнее того, что обозначение ситуации при деривации попало в класс обозначений звуков.

Предлагаем следующую схему толкования отглагольного существительного: 'S_0(Р) или такой-то звук'. Первый компонент этой схемы подробно охарактеризован выше. Сосредоточимся на компоненте 'такой-то звук'.

Если в словообразовательном гнезде есть непроизводное существительное (ср. *скрип – скрипеть – скрипение*), то оно и занимает второе место в предлагаемой схеме. Например: *скрипение* = 'S_0 (скрипеть) или скрип'. Если непроизводного существительного нет (ср. *? – шуршать – шуршание*), то нужно описать соответствующий звук в толковании[9]. Пример: *шуршание* = 'S_0 (шуршать) или тихий

---

[7] См. наше описание синонимических рядов *смех, хохот, хихиканье, смешок* и *плач, рыдание, рев, слезы* в [Нов. син. сл. 1995; 1996].

[8] Максимально полными словообразовательными гнездами данного типа являются гнезда, содержащие четыре компонента: междометие – непроизводное существительное – глагол – отглагольное существительное; ср. *пи-пи-пи – писк – пищать – пищание; скрип*[1] (ср. *Скрип-скрип-скрип – скрипят старые половицы*) – *скрип*[2] (ср. *Что за странный скрип?*) – *скрипеть – скрипение; хрусть – хруст – хрустеть – хрустение* и т.п. Таких, максимально полных гнезд довольно мало. Гораздо чаще встречаются гнезда с тем или иным дефектом. Перечислим типы дефектности: а) отсутствие междометия, ср. *шелест – шелестеть – шелестение, щебет – щебетать – щебетанье*; б) отсутствие первого существительного, ср. *кукареку – – кукарекать – кукареканье, кудах-тах-тах – кудахтать – кудахтанье;* в) отсутствие глагола и – как следствие – отглагольного существительного; этот дефект сопровождается и отсутствием междометия, ср. *шорох, гул*. Возможна также комбинация дефектов (а) и (б) – отсутствие междометия и первого существительного; ср. *тарахтеть – тарахтение, шуршать – шуршание*.

[9] Ср. задачу толкования непроизводных существительных типа *скрип, шорох*.

шум, какой бывает, когда сухие опавшие листья трутся друг о друга'[10].

Вообще говоря, в рассматриваемых нами случаях можно было бы усматривать полисемию типа 'ситуация' – 'компонент ситуации'. Именно такое решение, правда, непоследовательно, принято в Словаре Ушакова (ср. толкование слова *скрипение*). Однако такой подход кажется нам антиинтуитивным: слишком близки друг другу соответствующие две части толкования. Действительно, выделенные потенциальные значения слова состоят из одних и тех же семантических блоков 'ситуация' и 'звук', и, следовательно, все различие между ними сводится к семантическим акцентам, к тому, какой именно блок выбран в качестве вершинного. По-видимому, для разделения значений внутри слова такого различия недостаточно: лексемы должны отличаться друг от друга семантическими компонентами.

Итак, лексемы типа *скрипение, шуршание* имеют дизъюнктивно-организованное значение. В некоторых контекстах реализуется ровно одна, причем четко указываемая часть этого значения. Так, в контекстах, указывающих на звук, реализуется вторая часть схемы; ср. *Мы услышали щебетанье птиц, До нас донеслось жужжание пчел* и т.п. В контекстах, указывающих на занятие субъекта реализуется первая часть схемы (указание на ситуацию); ср. *Пищанье ⟨щебетанье⟩ отняло у птенцов последние силы, Вся жизнь ушла на шелестенье бумагами.*

В остальных контекстах такой детерминированности нет. Можно говорить о реализации любой части схемы или обеих ее частей. Ср. *Щебетанье ⟨шуршание, пищанье, визжанье⟩ возобновилось ⟨прекратилось⟩*. Кажется неестественным вводить для подобных случаев какие-то жесткие правила.

Тем самым, значение данных лексем оказывается не вполне детерминированным, не вполне определенным: в некоторых случаях может реализоваться любой (неважно – какой) из соединяемых связкой 'или' компонентов значения или оба компонента одновременно[11]. Итак, отглагольные существительные типа *скрипение, шуршание, визжание* демонстрируют специфический тип организации лексического значения[12].

II.2. Попытаемся интерпретировать недетерминированные лексические значения с точки зрения модели И.А. Мельчука "Смысл ⇔ Текст" [Мельчук 1974]. Начнем с анализа.

При получении семантического представления исходной фразы происходит отождествление каждой словоформы фразы с какой-либо лексической единицей словаря и замена словоформы на толкование соответствующей лексемы. Поскольку толкование лексемы с недетерминированным значением состоит из двух частей, то требуется правило выбора той или иной его части. В некоторых строго оговоренных контекстах выбирается одна, четко указанная часть толкования. В остальных

---

[10] Обозначения звуков – это те слова, которые очень естественно толковать остенсивно, т.е. просто предъявляя соответствующий звук. Остенсивное толкование, однако, не отменяет обычного, словесного толкования, т.к. только последнее вскрывает связи данного слова с другими лексемами языка, эксплицирует место данного слова в лексической системе. Обозначения звуков типа *писк, щебет, шелест, визг, скрип* мы предлагаем толковать по следующей схеме: 'звук с такими-то характеристиками, какой бывает в такой-то ситуации'. Например: *щебет* = 'приятные звонкие мелодичные обычно негромкие звуки, какие издают при пении некоторые небольшие птицы'. Обратим внимание на сходство этой схемы со схемой толкования слов со значением чувства, предложенной А. Вежбицкой [Wierzbicka 1969; 1972; 1992]; см. также [Иорданская 1970]. В частности, компонент 'какой' указывает на то, что соответствующий звук может сопровождать и другую ситуацию; ср. *Вместо членораздельной речи синтезатор выдавал писк и щебет.*

[11] Подчеркнем, что идею такой неопределенности выражает именно русский союз *или* в его центральном значении. Ср. толкование этого союза, данное В.З. Санниковым: *X или Y* = 'возможно X, возможно Y' (приводится здесь с некоторым упрощением; подробнее см. [Санников 1989: 104].

[12] Такую же организацию значения имеют и лексемы, описанные нами в Урысон 1995. В этой работе мы назвали данный тип организации значения диффузным. Этот термин, однако, использовал Д.Н. Шмелев для описания другого явления – а именно, промежуточных значений многозначного слова [Шмелев 1973].

контекстах выбирается любая часть толкования или обе части (в последнем случае связка 'или' заменяется на 'и').

Для описания синтеза удобно принять расщепление семантического уровня на два подуровня – глубинно-семантический и поверхностно-семантический [Апресян 1980]. При переходе к поверхностно-семантическому уровню, происходит "оформление" смысла по правилам данного языка: смысл подстраивается под словарь и под грамматику языка (например, достраиваются смыслы граммем, относящихся к обязательным грамматическим категориям). Затем оформленный смысл отождествляется с какой-либо лексической единицей, которая и выбирается из словаря при словесном оформлении семантического представления. В некоторых контекстах тот фрагмент смысла, который соответствует лишь одной части недетерминированного значения лексемы, не претерпевает никаких изменений. Он отождествляется с данной лексемой (достаточно совпадения с одной частью ее значения), которая и выбирается из словаря. В других контекстах язык предоставляет при синтезе свободу: этот же фрагмент может быть обогащен, дополнен второй частью толкования. Однако такое обогащение семантики факультативно.

Выводы. Мы легко представляем себе некий идеальный язык, в котором предикаты и термы обозначаются разными частями речи (глаголами и существительными соответственно). Реальный естественный язык кажется бесконечно далеким от такого состояния. Тем не менее в нем неожиданно обнаруживаются некоторые следы этой "идеальной грамматики". Описывая синтаксическую деривацию типа *прощаться – прощание*, исследователь сталкивается с фактами, которые естественно объясняются в терминах "прототипических", идеальных частей речи: прототипический глагол обозначает ситуацию, а прототипическое существительное – вещь (а также его характеристику, ср. *цвет, форма*) или свет (ср. существительное *свет*).

Прототипические части речи разбиваются на классы с точки зрения того, каким образом воспринимает человек данную сущность. При этом рассматриваемые нами части речи располагают своими наборами таких классов. Причина этого в том, что человек воспринимает ситуации, вообще говоря, не так, как вещи. В этом пункте описания мы сталкиваемся с принципом антропоцентричности естественного языка: естественный язык представляет мир как бы специально ориентированным на воспринимающего субъекта[13].

Информация о характере восприятия той или иной сущности является частью наивной картины мира. Существенно, что данный фрагмент наивной картины мира фиксируется не в грамматике и даже не в лексической семантике, а в "наивной энциклопедии", т.е. в энциклопедических сведениях о нашем мире, которые (так же как и сам язык) являются общими для всех носителей данного языка.

Синтаксическая деривация предполагает не только смену грамматических категорий данного слова, но и переход его из одного содержательного, "энциклопедического" класса в другой. Такая смена класса может повлечь за собой глубинные изменения семантики слова. В частности, одним из следствий деривации является не вполне детерминированное значение некоторых отглагольных существительных.

Правила деривации, которые, на первый взгляд, представляются чисто языковыми, даже грамматическими, оказываются связанными с чем-то, что лежит, вообще говоря, за пределами языка как такового, т.е. не входит ни в грамматику, ни в лексическую семантику. Это "наивная энциклопедия", т.е. общие для всех говорящих на данном языке элементарные сведения о нашем мире.

---

[13] В последнее время принцип антропоцентричности был продемонстрирован на массовом материале А. Вежбицкой [Wierzbicka 1969; 1972; 1992].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1980 – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ" // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 1. Wien, 1980.

Апресян Ю.Д. 1994 – О языке толкований и семантических примитивах // ИАН СЛЯ. 1994. № 4.

Балли Ш. 1995 – Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1995.

Виноградов В.В. 1972 – Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 1972.

Есперсен О. 1958 – Философия грамматики. М., 1958.

Иорданская Л.Н. 1970 – Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1972. Вып. 16.

Курилович Е. 1962 – Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962.

МАС – Толковый словарь русского языка. 1–4. М., 1985–1990.

Мельчук И.А. 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ⇔ Текст". М., 1974.

Нов. син. сл. 1995 – Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка: проспект / Под общим руководством Ю.Д. Апресяна. М., 1995.

Нов. син. сл. 1996 – Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка: I вып. / Под общим руководством Ю.Д. Апресяна. М., 1995.

Падучева Е.В. 1974 – О семантике синтаксиса: материалы к трансформационной грамматике русского языка. М., 1974.

Падучева Е.В. 1991 – Отпредикатные имена в лексикографическом аспекте // Научно-техническая информатика, сер. 2, 1991, № 5.

Пешковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

Санников В.З. 1989 – Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.

Словарь Ушакова – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. ТТ. 1–4. М., 1935–1940.

Теньер Л. 1988 – Основы структурного синтаксиса. М., 1988.

Урысон Е.В. 1995 – Фундаментальные способности человека и наивная "анатомия" // ВЯ. 1995. № 3.

Шмелев Д.Н. 1973 – Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973.

Frei H. 1929 – La grammaire des fautes. P., 1929.

Sechehaye A. 1926 – Essai sur la structure logique de la phrase. P., 1926.

Wierzbicka A. 1969 – Dociekania semantyczne. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1969.

Wierzbicka A. 1972 – Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.

Wierzbicka A. 1992 – Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. N.Y.: Oxford, 1992.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. Н.В. ПЕРЦОВ

ГРАММАТИЧЕСКОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ В ЯЗЫКЕ

"<...> в тех случаях, когда речь идет о вопросах достаточно тонких и сложных, необходимо избегать двусмысленных терминов, а пользоваться лишь вполне точными, хотя бы их и приходилось создавать. Ведь люди сами по себе находятся под властью и м е н, и, когда их слуха достигает имя, которое им знакомо, они считают, что поняли его смысл, хотя зачастую не поняли ничего".

Из замечаний члена французской академии Шарля Дюкло к "Грамматике общей и рациональной Пор-Рояля" издания 1754 г.

В настоящей работе мы хотели бы привлечь внимание лингвистов к проблеме разграничения нескольких хорошо известных лингвистических понятий и уместного употребления соответствующих терминов. Речь пойдет о некоторых основных понятиях общей теории грамматики, относящихся к значениям. Наше изложение существенно связано с теорией морфологии И.А. Мельчука, развернутой в его фундаментальной монографии "Курс общей морфологии" ("Cours de morphologie générale"), том за томом выходящей в Издательстве Монреальского университета (помимо уже изданных томов [Mel'čuk 1993; 1994; 1996], ожидается выход еще одного или двух; русский перевод первого тома – [Мельчук 1996]). Опираясь на данную теорию в целом, мы в то же время полемизируем с ее отдельными положениями[1].

Морфологическая концепция И.А. Мельчука складывалась в течение нескольких десятилетий – начиная с рубежа 50–60-х годов. Первый ее вариант был подготовлен для публикации еще до эмиграции Мельчука в Канаду – в качестве продолжения книги [Мельчук 1974]; этому изданию не суждено было состояться. В начале 80-х годов Мельчук возобновил работу по связному изложению своей теории морфологии на значительно более высоком концептуальном уровне (близком к дедуктивно-аксиоматическому методу точных наук) и на более развернутом и представительном иллюстративном материале; в настоящее время эта работа близка к завершению.

Автор данной статьи активно обсуждал с И.А. Мельчуком текст создаваемой им монографии – сначала в качестве коллеги-читателя в частной переписке, а затем в качестве редактора ее русского перевода (с конца 80-х годов стали уже возможны личные встречи). Отчасти этим объясняется столь существенная опора на [Mel'čuk 1993; 1994] и столь основательное заимствование как иллюстративного языкового материала в разделе III, так и критериев противопоставления словоизменения и словообразования в разделе IV. За долгие годы нашего совместного обсуждения морфологических проблем данный материал был неоднократно "пропущен" через лингвистическое сознание автора этих строк.

I. О КОНЦЕПЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

Концепция грамматического как обязательного является одной из популярнейших в общей теории грамматики. Возможно, она восходит еще к трудам средневековых схоластов, откуда берет свое начало известный афоризм *"Grammatica ars obligatoria"* –

[1] Содержание настоящей работы (логическая независимость понятий "словоизменительное" и "обязательное") отчасти отражено в короткой публикации [Перцов 1991].

"Грамматика есть искусство владения обязательным". В современной лингвистике данная концепция получила широкое признание более тридцати лет назад после известной статьи Р.О. Якобсона [Jakobson 1959].

Суть этой концепции сводится к следующему. Конституирующим признаком грамматических значений признается обязательность их выражения для некоторого класса языковых единиц. Грамматические значения приравниваются тем самым к словоизменительным значениям, причем в сферу словоизменения допускаются только такие формы, которые противопоставлены некоторым другим формам в рамках грамматической категории, обладающей свойством обязательности выражения для форм некоторого класса. Из этого вытекает, что изолированные значения, не входящие ни в какие грамматические категории, не могут иметь словоизменительного статуса; утверждается, что в языке не может быть одного числа, одного рода или одного падежа, что соответствующие значения обнаруживают себя только через противопоставления некоторым положительно выраженным другим значениям[2].

Упомянутая работа Р.О. Якобсона оказалась ключевой в развитии концепции грамматического как обязательного, однако она лишь подвела итог предшествующих исследований. Сам Якобсон отдает пальму первенства Ф. Боасу, что отражено уже в самом названии его статьи. Очерк Ф. Боаса [Boas 1938], в котором отчетливо сформулирована данная концепция, относится к 1938 году, однако и у этого очерка был предшественник: несколькими годами ранее в популярной статье о китайском языке [Maspero 1934] французский китаевед Анри Масперо отказал ему в обладании грамматическими категориями (а также частями речи) именно на том основании, что в этом языке все значения, которые могут претендовать на этот статус, выражаются факультативно и не составляют необходимых элементов языкового мышления для носителей языка[3].

"Мы совершенно неспособны мыслить то или иное существительное или тот или иной глагол во фразе вне какой-либо грамматической категории – числа, времени и т.п.: существительное для нас непременно стоит в единственном или во множественном числе, глагол непременно в настоящем, прошедшем или будущем времени. Китаец же мыслит существительное и глагол вне зависимости от данных понятий: он может добавить их в качестве полезных указаний, однако они не являются необходимыми" [Maspero 1934 : 35]. "Неизменяемость слов, усугубляемая отсутствием грамматических категорий и неразличением существительных и глаголов, оказала значительное влияние на китайское мышление. В самом деле, поскольку отношения между словами во фразе маркируются только порядком слов и никогда не выражаются обязательно с помощью особых слов (при отсутствии особых форм), эти отношения никогда не представляются как необходимые для мышления китайца" [Maspero 1934 : 51].

В [Maspero 1934] идея о том, что для признания грамматичности некоторой категории требуется ее обязательность для языкового мышления, подается как очевидная; французский лингвист не считал нужным формулировать принцип обязательности отдельно и независимо от его утверждений по поводу китайского языка.

Принцип обязательности грамматического значения был фактически повторен в посмертно опубликованной в 1945 г. работе Б. Уорфа [Уорф 1972 : 45]; думается, что он был достаточно популярен в американской лингвистике 40–50-х годов[4].

В отечественной лингвистике начиная с 60-х годов принцип обязательности грам-

---

[2] Ср. парадокс М.В. Панова *"n – (n–1) = 0"*, состоящий в том, что если из совокупности некоторых мыслимых взаимоисключающих значений в количестве *n* изъять все, кроме одного, то оставшееся значение не будет грамматическим, не образует грамматической категории, т.е. число грамматических категорий окажется равным нулю [Панов 1967 : 16–17].

[3] Указание на приоритет А. Масперо автор почерпнул из книги [Коротков 1968 : 34, 296].

[4] Сошлемся, например, на вскользь брошенное замечание Ф. Хаусхолдера в рецензии на книгу П. Форчхаймера (о категории лица): "О наличии категории в языке свидетельствует отнюдь не способность что-либо выражать, но неспособность оставить что-либо невыраженным" – после чего следует весьма неясное добавление: "хотя и существуют подлинные категории, являющиеся факультативными" [Householder 1955 : 94].

матического значения, впервые введенный в отечественный обиход И.А. Мельчуком в монографии четырех авторов [Ахманова и др. 1961 : 34–35][5], все более и более завоевывает место на страницах лингвистической литературы. Именно он положен в основу концепции грамматической категории А.А. Зализняка в книге [Зализняк 1967]. Сходные формулировки этого принципа встречаются в работах [Гухман 1968 : 55; Булыгина 1968 : 202; Общее языкознание 1972 : 209; Кацнельсон 1972 : 76; Ревзина 1973 : 5; Булыгина 1980 : 327]; в 80–90-е годы данная концепция получила поддержку у представителей следующих лингвистических поколений [Поливанова 1983; 1985; Плунгян 1988; 1992; 1994б; Маслова 1994; Сумбатова 1994].

В.А. Плунгян предпринял попытку экспликации понятия обязательности посредством введения двух свойств грамматических оппозиций – "неприватив ности" и "семантической неоднородности", которые он рассматривает как следствия свойства обязательности (формулировка второго свойства основана на статьях [Поливанова 1983; 1985]). Импликация "обязательность → неприватив ность" представляется вполне естественной, вытекающей из самого смысла слова *обязательный*. В самом деле, обязательность некоторого набора значений для определенного класса объектов действительно предполагает неприватив ность соответствующих оппозиций, а именно – наличие у каждого из членов таких оппозиций положительных значений некоторых признаков, т.е. значений, для задания которых допускаются формулировки типа 'указание на свойство *P*', 'указание на *не-P*' и т.п., но не допускаются формулировки типа '*не-указание* на *P*', т.е. 'отсутствие каких-либо указаний относительно *P* или *не-P*' (имеются в виду разные типы оппозиций, указанные Р.О. Якобсоном – [Якобсон 1972 : 102–103]). Возражение вызывает не сама импликация, а собственно категоричный тезис о непременно обязательном (а тем самым и неприватив ном) характере словоизменительных значений как класса.

Что касается тезиса о непременной семантической неоднородности номинативных (семантически наполненных) словоизменительных категорий, то и он выглядит слишком категоричным и радикальным. Говорится о том, что номинативная категория принудительным для говорящего образом членит действительность (или ее фрагмент) и тем самым вынуждает его непременно выражать какое-то значение данной категории и в случаях несущественности или неопределенности выбора: поэтому для такой категории должны существовать не только собственно семантические ядерные правила выбора ее граммем, но и более сложно устроенные правила – учитывающие разнородные семантические факторы или условные, ориентированные на "автоматическое", чисто синтаксическое, употребление граммемы. Пожалуй, можно согласиться с тем, что такая ситуация наиболее типологически вероятна и естественна для номинативной категории, но мы не видим оснований превращать данную "фреквенталию" в "универсалию". Можно представить себе номинативную категорию, устроенную следующим образом: в нее входят некоторые "положительно заданные", четко формулируемые значения $\{'m_i'\}$ и еще одно значение $'m_0'$, которое также имеет положительную семантическую "нагрузку", но выбирается и в случаях несущественности или неопределенности выбора по соответствующему признаку. Правила выбора соответствующих граммем будут иметь довольно простое и ясное устройство, и семантической неоднородности в таком (пока гипотетическом) случае усматривать не хотелось бы. Если же принять во внимание необязательные номинативные словоизменительные значения (о чем см. ниже), то для них условие "семантической неоднородности" тем более не обязано выполняться, ср., например, квазиграммему аудитива в ненецком языке (пример (4) в разделе III ниже), правило выбора которой формулируется предельно четко: "говорящий слышит то, о чем сообщает, и указывает на это".

В статье [Маслова 1994] подвергается пересмотру и уточнению формулировка обязательности значения, данная А.А. Зализняком [Зализняк 1967] (при этом также принимается трактовка словоизменительных значений как строго обязательных). Намеченное Е.С. Масловой различение разных "степеней" обязательности с точки зрения ее "силы" представляется плодотворным: "сильная обязательность" охватывает более широкие классы словоформ и носит более "безусловный" характер, нежели "слабая обязательность" (скажем, число и падеж для русского прилагательного "сильнее" обязательны, чем его род, поскольку последний проявляется только в единственном числе). Однако следует сказать, что уточнения Е.С. Масловой не приводят к логически четкому пониманию обязательности и не всегда отвечают интуитивному представлению об обязательности значений для некоторых классов словоформ. Например, хотим ли мы считать набор значений {'диминутив', 'аугментатив'} обязательным для пар словоформ *домик ~ домище, слоник ~ слонище, лапка ~ лапища* и т.п.? Пожалуй, да. Тогда хотелось бы исключить данный класс из числа тех, к которым применимо свойство обязательности (чтобы не было соблазна счесть указанные

[5] Как станет ясно из дальнейшего, в современном варианте своей теории Мельчук отказался от радикальной формулировки данного принципа.

значения словоизменительными). Маслова предлагает соответствующее ограничение на класс словоформ **K**, относительно которого можно вообще говорить об обязательности: "все словоформы, включающие один из входящих в оппозицию показателей, а также те, которые отличаются от них только отсутствием этих показателей" [Маслова 1994 : 46]. Здесь не ясен статус второй половины ограничения, начинающейся со слов "а также те": о б я з а н ы или м о г у т входить словоформы без таких показателей в класс **K**? По сути дела представляется, что верно второе. Но тогда указанный выше класс русских существительных попадает в число допустимых с точки зрения обязательности классов. (Несмотря на предпринятые усилия, автору настоящей работы не удалось уяснить ряд предложений Е.С. Масловой – возможно, вследствие нечеткости и конспективности изложения, отсутствия необходимых разъяснений в ряде случаев и недостаточности иллюстративного языкового материала.)

Приходится констатировать, что ясная логическая экспликация обязательности в лингвистике еще не достигнута. И.А. Мельчук формулирует – в определении словоизменительной категории [Mel'čuk 1993 : 263] – свойство обязательности не как обязательность д л я класса знаков, а как обязательность п р и знаках определенного класса (стратегия экспликации обязательности Мельчука может быть названа "синтагматической" – в отличие от более распространенной "парадигматической" стратегии, принятой Зализняком и другими лингвистами). Но что означает тот факт, что некоторое значение *'m'* "обязательно выражается при знаке **s**"? По-видимому, это следует интерпретировать так: любое выражение, содержащее знак **s** (в частности, любой языковой знак, содержащий **s**), непременно передает значение *'m'*. Но тогда такие очевидно обязательные словоизменительные значения, как русские падежные граммемы, лишаются этого свойства: ср., например, такие пары, как *грунт – грунтовать, цинк – цинковать* и т.п., второй член которых содержит в качестве исходной основы первый и при этом вовсе не обязан выражать падеж (возможный только в причастиях *грунтующий, цинкованный* и т.п.).

Параллельно указанной линии грамматических исследований многими исследователями давно было замечено, что факты словоизменения ряда языков, в особенности изолирующих и агглютинативных, противоречат принципу обязательности грамматического значения. В отечественной лингвистической литературе такие факты были отмечены начиная с середины 60-х годов (преимущественно в работах по грамматике восточных языков) – см. [Коротков, Панфилов 1965 : 39, 44; Яхонтов 1965 : 95–96] (для китайского языка, в частности, отмечался словоизменительный и при этом не обязательный характер показателя "коллективной множественности" – *мэнь*). В 70–80-е годы убедительные свидетельства против концепции обязательности грамматического значения, почерпнутые из материала тюркских языков, приводились в работах [Гузев, Насилов 1975; 1981; Гузев 1987] (в частности, для ряда тюркских языков указывалась возможность функционирования существительного "вне категории числа, принадлежности, падежа" – при словоизменительном статусе этих категорий, [Гузев, Насилов 1981 : 32]). В программной статье семи авторов [Солнцев и др. 1979 : 9] читаем:

"В современной теоретической лингвистике широко распространено понимание грамматического как обязательного. В то же время многие грамматические категории восточных языков не обладают той строгой обязательностью, которая свойственна большинству грамматических категорий европейских языков".

Возражения против концепции обязательности грамматического значения выдвигались в двух книгах по общей лингвистике В.Б. Касевича [Касевич 1977; 1988]:

"Большой интерес представляет концепция, согласно которой в качестве грамматического выступает значение обязательное – обязательное в том смысле, что оно выражается всякий раз, когда употребляется слово данного класса... Указанная концепция, однако, плохо согласуется с фактами многих восточных языков, в частности языков Китая и Юго-Восточной Азии. В этих языках обычны случаи, когда употребление той или иной морфемы, грамматичность которой не вызывает сомнений, не является обязательным" [Касевич 1977 : 55–56]. "По-видимому, в настоящее время придется ограничиться признанием того, что грамматические значения т я г о т е ю т к обязательному выражению" [Касевич 1988 : 141].

«"Нейтральная" словарная форма выступает как неохарактеризованная с точки зрения данной грамматической категории <...> в определенных условиях, в тех или иных контекстах такая форма способна как бы принимать значение любой из противопоставленных ей "ненейтральных" форм, или, вернее, наличие словарной формы не препятствует основанной на контексте семантической интерпретации высказывания, включающей значения "ненейтральных" форм» [Касевич 1988 : 181].

Представляется, что одних приведенных выше цитат достаточно, чтобы отказаться от принципа обязательности грамматического значения, взятого в чистом виде. Однако, как ни были убедительны упомянутые свидетельства специалистов по языкам, далеко отстоящим от "среднеевропейского стандарта" (Б.Л. Уорф), концепция грамматического как обязательного проявляет удивительную жизнеспособность: лингвисты нередко ссылаются на нее как на общее положение, едва ли не трюизм. Например, в недавно вышедшем учебнике [Шайкевич 1995 : 94–95] свойство обязательности – наряду со свойством регулярности различения грамматических значений – признается конституирующим для грамматической категории. Примечательно, что эта концепция отражена в морфологическом разделе нового учебника по русскому языку для 6-го класса, подготовленного авторским коллективом под редакцией М.В. Панова (находится в печати – осень 1995 г.): "Грамматические значения – это значения, которые обязательно должны быть выражены в предложении"; "Каждая грамматическая форма обязательно противопоставлена по своему значению какой-либо другой форме или нескольким формам"; "Без противопоставления не может быть грамматической формы" [Булатова 1995].

Ниже, в разделе III, мы постараемся показать, что против рассматриваемой концепции свидетельствуют не только данные ряда далеких от "среднеевропейского стандарта" языков, но и некоторые явления хорошо изученных европейских, в том числе и русского. Однако сначала мы рассмотрим противопоставление грамматического и неграмматического в языке в общем виде.

II. ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО И НЕГРАММАТИЧЕСКОГО В ЯЗЫКЕ

При обсуждении противопоставления грамматического и неграмматического в лингвистической литературе нередко высказываются противоречивые в своей основе взгляды. Это проявляется, например, в общепринятом употреблении термина **грамматическая категория,** применяемого для обозначения понятий, относящихся либо к сфере словоизменительных значений, либо к наборам классов слов типа рода или именного класса, называемым "классифицирующими грамматическими категориями" [Зализняк 1967 : 31; Шайкевич 1995 : 93–95, 101]. Тем самым, прилагательное **грамматическая** в составе этого термина приобретает узкую интерпретацию.

В трактовке рассматриваемого противопоставления мы следуем точке зрения, принятой в монографии И.А. Мельчука [Mel'čuk 1993], где грамматическое понимается как охватывающее общие явления и закономерности языка, противопоставляемые его частным, лексическим, фактам, находящим отражение в словаре. Указанное противопоставление в точности параллельно противопоставлению грамматики и лексики, взятому в его общеизвестной традиционной трактовке. Такой взгляд ни в коей мере не оригинален – достаточно сослаться на высказывания О. Есперсена ("Грамматика имеет дело с общими фактами языка, а лексика – с единичными" [Есперсен 1958]) или Ж. Кантино ("... грамматика вбирает в себя то, что в языке организовано, и эта организация покоится на симметричных рядах, каковыми являются серии пропорциональных оппозиций. Напротив, лексика формируется за счет изолированных оппозиций" [Кантино 1972 : 79]). Именно так понимает различие между грамматикой и лексикой Т.В. Булыгина – в главе "Грамматика" из книги [Общее языкознание 1972]. В статье [Булыгина 1980 : 322–323] говорится об узком и широком толковании понятия "грамматическое": первое охватывает только значения морфологических средств языка, а второе – "все то, что не принадлежит только словарю"; в работе указывается, что традиция отдает предпочтение широкому пониманию грамматических значений и категорий, к которому присоединяется и автор.

Мы остановились на проблеме возможных трактовок противопоставления грамматического и неграмматического лишь потому, что в лингвистической практике область грамматического часто неоправданно сужается и сводится к словоизменению. Как уже

было отмечено выше, это наиболее явно отражено в понимании термина **грамматическая категория.** Снова сошлемся на книгу [Шайкевич 1995 : 70, 77, 94], где, с одной стороны, к грамматике относятся "регулярные и общие черты устройства *лингвистических знаков и их поведения*", а к *лексике* – "*конкретные лингвистические* знаки"; с другой стороны, понятия грамматического значения и грамматической категории закрепляются только за словоизменением и "семантизированными именными классами" слов. Из других относительно недавних работ укажем [Плунгян 1992 : 27], где в оправдание принятого терминологического отождествления понятий **"грамматическое и словоизменительное"** (причем возможность широкого понимания термина грамматика специально отмечается) автор ссылается на существование термина **грамматическая категория,** который "неизбежно предполагает другое, более узкое понимание грамматики: то, что относится к обязательно выражаемым значениям". Автор здесь не последователен, предпочитая то, что предполагается одним, пусть и общепринятым, термином, тому, что освящено давней традицией. Впрочем, такая непоследовательность свойственна самим терминам **грамматическая категория** и **граммема,** связанным с обязательными значениями, но по форме соотносящимся с понятием **грамматика,** охватывающим гораздо более широкий круг явлений. Вместо первого термина мы используем – вслед за Мельчуком – термин **словоизменительная категория,** но также не решаемся на кардинальное терминологическое новшество и существенный разрыв с традицией – на замену **граммемы** чем-либо более логичным – например, "флексионемой" (ср. [Mel'čuk 1995 : 264–265]).

Мы видим, что нередко исследователи как будто не замечают того очевидного обстоятельства, что при широком понимании грамматического к нему никоим образом не приложим принцип обязательности выражения грамматических значений. Широкое понимание грамматического охватывает не только факты словоизменения и словообразования, не только морфологическую структуру слова, но и другие явления, подпадающие под ве́дение грамматики – синтаксические конструкции и их значения, явления коммуникативной организации предложения, просодические явления, распространяющиеся на синтаксические группы и предложения (интонационные контуры) и др. [Булыгина 1980 : 323].

III. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ

Мы приведем несколько примеров из разных языков (в пунктах (1) – (8)), свидетельствующих о том, что концепция обязательности словоизменительных значений в ее категоричном варианте должна быть подвергнута сомнению. Большинство приводимых примеров заимствовано из монографии [Mel'čuk 1993; 1994], в которой для отражения возможности необязательного статуса у словоизменительного значения было предложено особое понятие – понятие **квазиграммема,** под которой понимается грамматическое значение, во всем сходное с типичными словоизменительными значениями, за исключением свойства обязательности. Мельчук не решился придать этому понятию и термину столь же прочный теоретический статус, какой имеют такие общепризнанные понятия, как грамматическая категория и граммема; понятие и термин квазиграммема вводятся Мельчуком с рядом оговорок относительно его неясного характера. Нам представляется, что изолированным словоизменительным значениям, не входящим ни в какие обязательные категории, уже давно пора найти достойное место в сознании лингвистов-теоретиков и на страницах лингвистической литературы.

Интересный пример необязательности серии значений из чукотского языка приводится в статье [Муравьева 1994 : 43]. Показатель значения из локативной серии ('в', 'на', 'под' и др.) при существительном может отсутствовать, однако ряд черт чукотских локативных суффиксов – регулярность, широкая сочетаемость с субстантивными основами, семантическая аддитивность – свидетельствуют скорее в пользу их словоизменительного статуса; аргументы против – необязательность, относительно малая связь с

синтаксисом. Прибегая для характеристики подобных локативных значений к "квазисловоизменительным" понятиям Мельчука, автор – на наш взгляд удачно и правомерно – обобщает данный фрагмент его концептуально-терминологической системы, используя понятие **квазиграмматическая категория** (которое все же более логично было бы назвать **квазисловоизменительная категория**). Этот пример демонстрирует возможность естественного расширения понятия категории за счет необязательных наборов языковых значений и расширения сферы словоизменения вообще.

Каждый нумерованный пункт настоящего раздела начинается с названия языка и заключаемого в марровские кавычки имени грамматического значения, которое, с нашей точки зрения, имеет в соответствующем языке словоизменительный статус и при этом является изолированным (необязательным), т.е. является квазиграммемой.

(1) *Болгарский*, 'определенность' [Mel'čuk 1994 : 119]

В болгарском языке определенность существительных маркируется суффиксальным артиклем **-ът/-та/-то/-те** (в зависимости от рода и числа): *магазин ~ магазинът, база ~ базата, блюдо ~ блюдото, очи ~ очите;* если существительное определяется прилагательным, суффикс определенности присоединяется к последнему (хотя характеризует референт существительного): *вкусното блюдо, сините очи* (а не **вкусно блюдото, *сини очите*). Словоформы *блюдо, очи*, взятые отдельно от контекста, не выражают значение 'неопределенность': они вообще нейтральны по отношению к данной семантической оппозиции; контекст наделяет их каким-либо из значений этой последней. Тем самым, нельзя говорить и об обязательности данной оппозиции для болгарского существительного; однако очевидно, что противопоставленные пары словоформ приведенных выше типов содержат элементы одних и тех же лексем. Остается признать, что значение 'определенность' болгарского существительного является словоизменительным и при этом не входит в словоизменительную категорию.

Мы расходимся с И.А. Мельчуком в трактовке указанных болгарских оппозиций: Мельчук усматривает в них противопоставление значений категории определенности – 'не-определенность' ~ 'определенность' (причем проводится различие между 'не-определенностью' ~ non-défini' и 'неопределенностью' – 'indéfini'). В свете проведенного выше семантического анализа первый член этой оппозиции следует трактовать как 'отсутствие указания на определенность (или на не-определенность)'. Нам представляется, что само задание некоего гипотетического значения в виде 'отсутствие указания на X, противопоставленное 'X-у', не вполне корректно: оно как раз и свидетельствует против наличия здесь какого-либо маркированного значения. Иначе почему бы тогда не видеть в составе означаемого словоформы *дом* значение 'отсутствие уменьшительности / увеличительности' – на фоне форм *домик* и *домище*?

(2) *Венгерский*, 'потенциалис' [Mel'čuk 1993 : 302]

Рассмотрим пары венгерских глагольных форм, противопоставленных по отсутствию / наличию суффикса потенциалиса:

olvas+om 'читаю' ~ *olvas+hat+om* 'могу читать'
olvas+ni 'читать' ~ *olvas+hat+ni* 'мочь читать'
lak 'жить'~ *lak+hat* 'мочь жить'

Противопоставления носят абсолютно регулярный характер, значение потенциалиса, передаваемое суффиксами *-hat/-het* (дополнительно распределенными), очевидным образом не является обязательным (не входит в какую-либо категорию).

(3) *Эстонский*, 'цитатив' [Mel'čuk 1994 : 168]

Mägi tööta + b kolhoosis
Мяги работать ИНД.НАСТ.3ЕД колхоз-ИНЭСС
'Мяги работает в колхозе'.

Mägi tööta + vat kolhoosis
ЦИТ.
'Говорят, что Мяги работает в колхозе'.

Суффикс цитатива *-vat* [описание сообщаемого факта с чужих слов] не выводит глагольную форму из состава соответствующей глагольной лексемы, т.е. носит словоизменительный характер; при этом ни о какой обязательности выражения цитатива здесь говорить не приходится.

(4) *Ненецкий*, 'аудитив' [Mel'čuk 1994 : 169]

T'ukoxŏna to + von + doʔ 'Они, я слышу, пришли сюда'.
сюда прийти АУД 3МН
lʔ munoʔ + mon + da 'Вода, я слышу, журчит'.
вода журчать АУД 3ЕД

(5) *Грузинский*, 'эмфаза' [Mel'čuk 1994 : 291]

В грузинском языке в большинстве случаев присоединение к форме существительного элемента *-a* диктуется стилистическими факторами и выражает эмфатическое выделение соответствующей именной группы. В двух типах конструкций такое выделение обязательно:

– после приименного постпозитивного генитива:
dadgenileba gamgeob + is + a 'приказ департамента'
приказ департамент ГЕН ЭМФ
– перед союзом *da* 'и':
amxanag + s + a da megobar + s 'товарищу и другу'
товарищ ДАТ ЭМФ и друг ДАТ

Формы на *-a* принадлежат тем же лексемам, что и лишенные этого элемента словоформы, однако вряд ли целесообразно считать, что эти последние содержат после показателя падежа специальный нулевой суффикс, противопоставляющий их эмфатическим партнерам. Если с этим согласиться, то значение этого суффикса – квазиграммема.

(6) *Абхазский*, 'трансформатив' [Mel'čuk 1994 : 290–291]

Существительные в абхазском языке не имеют падежей, однако существует особая трансформативная форма со значением 'в качестве', 'рассматриваемый как', 'превращающийся в', выражаемым суффиксом *-s*:

xʹəmʒyə 'стыд' ~ *xʹəmʒyə+s* '[полагать / становиться] стыдом'
zcʻaara+kʷa 'вопросы' ~ *zcʻaara+kʷa+s* '[иметь] в качестве вопросов'
ešʹa 'брат' ~ *ešʹa+s* 'в качестве брата'

(7) *Английский*, 'посессив'

Значение, передаваемое формами зависимых существительных в посессивных конструкциях типа *a boy's bycicle, oxen's grass, month's delay* и т.п., нередко трактуется как значение особого падежа – притяжательного (или посессивного). Между тем, как показал И.А. Мельчук [Mel'čuk 1988 : 48–52; 1993: 393–394], противопоставление непосессивных и посессивных форм английского существительного отличается от того, что понимается под категорией падежа в общей теории грамматики, и от обычных падежных противопоставлений в языках – и вообще не составляет обязательной

категории. Сжато суммируем аргументы Мельчука в пользу того, что значение посессива, выражаемое формантом *-'s* (с вариантами */s/, /z/, /iz/*), не противопоставлено никакому другому "положительному" значению (скажем, значению 'непосессив') и не входит в словоизменительную категорию, обязательную для английского существительного. Показатель посессива очень сильно отличается по своему поведению от показателей нормальных английских граммем: 1) он может удаляться от своего непосредственного ориентира, присоединяясь как бы к синтаксической группе в целом – *somebody else's business*[6]; 2) может сочетаться с другим словоизменительным показателем – показателем числа, ср. *oxen's, women's;* 3) не вызывает озвончения предшествующей глухой согласной – *my wife's* [waifs] *friends;* 4) маркирует зависимый член особой синтаксической конструкции. При этом английский посессив по целому ряду свойств отличается от английских дериватем: регулярность, сугубо абстрактное значение, тесная связь с синтаксисом, неподверженность слиянию с лексическим значением, (почти) полная неподверженность фразеологизации, возможность следования после показателя граммемы (числа), невозможность повторного вхождения в словоформу – см. критерии **K1, K3, K5, K7, K8, K9, K10** соответственно в разделе IV ниже; кроме того, показатель посессива может состоять ровно из одной согласной, что совершенно нетипично для показателей английских дериватем. Поэтому его естественно оставить в сфере словоизменения – это показатель квазиграммемы.

(8) *Русский*

Представляется, что квазиграммемы обнаруживают себя и в нашем языке.

А. Значение, передаваемое элементом *-ка (иди-ка, спойте-ка, возьмем-ка, сяду-ка, пошел-ка [ты отсюда])*.

Если применить к данному элементу критерии принадлежности языковой единицы к классу слов, упоминаемые в литературе, то окажется, что он ни по одному из этих критериев не может быть отнесен к словам. Детальная аргументация против лексического статуса элемента *-ка* приведена нами в работе [Перцов 1996], опирающейся на критерии выделения слова, эксплицитно сформулированные в монографии [Mel'čuk 1993] и названные в ней "критерии слабой автономности". Здесь мы ограничимся беглым обзором наших аргументов в пользу аффиксального статуса элемента *-ка*. Этот элемент 1) не может быть отделен от своего "ориентира" – формы, к которой он присоединяется, – никаким другим элементом, имеющим явно независимый – "словесный" – статус; 2) присоединяется к узкому кругу глагольных форм (к ограниченной части глагольной парадигмы); 3) не может быть переставлен относительно ориентира; 4) не может быть перемещен от ориентира к какому-либо другому элементу фразы. (Дополнительные аргументы: 5) не вступает в отдельные синтаксические связи; 6) не присоединяет к себе особых словоизменительных элементов.)

Если согласиться с тем, что *-ка* не есть словоформа, то тогда это аффикс, причем аффикс словоизменительный, поскольку в противном случае – при трактовке его как словообразовательной единицы – для каждой глагольной лексемы пришлось бы усматривать производную – "фамильярную" – лексему. Словоизменительное значение, передаваемое аффиксом *-ка,* не противопоставлено никакому другому словоизмени-

---

[6] На этом основании (способность отделяться от знака-ориентира) элементу *-'s* иногда вообще отказывают в аффиксальном статусе, относя его к словоформам-клитикам [Общее языкознание 1972 : 221; Плунгян 1994а : 52]. Думается, что критерий неотделимости аффикса, отрицательно используемый в данном случае, применяется здесь чересчур ригористично: аффикс может обладать ограниченной отделимостью, ср. немецкие и венгерские отделяемые префиксы; польские личные показатели, которые в случае прошедшего времени глагола и наличия в начале предложения определенных слов способны перемещаться к этим последним; русские элементы *кое-* или *ни-* в выражениях *кое к кому, ни с кем* или даже некоторые префиксы (*не то перекормили, не то недо-* – пример из [Плунгян 1994а : 52]).

тельному значению: означаемое формы *иди-ка* отличается от означаемого формы *иди* добавочным компонентом, привносимым суффиксом (т.е. как раз в рамках приватной оппозиции). Тем самым, это словоизменительное значение не принадлежит никакой словоизменительной категории, т.е. является квазиграммемой.

Б. На статус квазиграммем могли бы претендовать еще следующие грамматические значения русского языка:

– сравнительная степень прилагательного и наречия. Это значение иногда относится к сфере словообразования[7] – в противоречие традиционной точке зрения академических грамматик (тогда получается, что каждая лексема качественного прилагательного имеет производную "компаративную" лексему). Другая возможная (более близкая к традиционной) трактовка, которую мы предпочитаем, предполагает, что формы "положительной степени" – типа *тяжелый* – вообще лишены маркировки по признаку степени качества признака[8], а формы типа *тяжелее* выражают квазиграммему 'компаратив';

– адвербиальная репрезентация прилагательного. Имеются в виду наречия типа *смело, дружески*, противопоставленные соответствующим прилагательным. Если (как иногда предлагается) относить такие наречия к словоизменению, в них также можно усматривать квазиграммему 'адвербиатив';

– "аттенуативное" значение, выражаемое формами типа *поважнее*, противопоставленными формам типа *важнее* ("смягченная" сравнительная степень, ср. [Исаченко 1954 : 275–276]).

IV. ВОЗМОЖНАЯ СТРАТЕГИЯ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЙ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Как уже говорилось выше, различие этих понятий часто связывается со свойством обязательности, которое при этом считается необходимым или крайне существенным для словоизменительных значений. Как мы надеемся, приведенный выше теоретический и иллюстративно-языковой материал свидетельствует против столь жесткого и категоричного подхода. Тогда возникает вопрос: на каком конституирующем свойстве или свойствах может быть основана оппозиция обсуждаемых ключевых понятий теории грамматики?

Здесь мы снова обращаемся к грамматической концепции И.А. Мельчука, к книге [Mel'čuk 1993]. В ней словоизменение также эксплицируется с существенной опорой на понятие обязательности: словоизменительное – это все же почти всегда обязательное, квазиграммемы – это маргинальная, не характеристическая область словоизменения, а словообразовательные значения – дериватемы – отличаются от словоизменительных в общем и целом по признаку обязательности / необязательности. В экспликациях понятий квазиграммемы и дериватемы Мельчук существенно опирается на "квазилогическое" понятие 'сходство', входящее в совокупность базовых для его концептуальной системы понятий, не указывая в данном случае тех критериев, по которым

[7] Такая трактовка компаратива восходит еще к книге [Исаченко 1954 : 26–29], аргументы в которой – наличие случаев супплетивизма, отсутствие рода, числа и падежа, различные морфонологические чередования при образовании компаратива – не представляются убедительными, поскольку аналогичными свойствами могут обладать бесспорные граммемы. Аргументы "от семантики" приводятся в [Пеньковский 1977]. Любопытно, что в словаре [Зализняк 1977 : 6] – при теоретическом отнесении компаратива в сферу словообразования (впрочем, без аргументации) – практически информация о его образовании включена в словарные статьи прилагательных. Отметим также поддержку словообразовательного статуса компаратива в работах [Поливанова 1990 : 54, 59] и [Плунгян 1994б : 153], где убедительных аргументов не обнаруживается.

[8] Признание у формы *тяжелый* значения 'позитив' приводит к противоречию между ним и общим значением компаратива в сочетании *более тяжелый* (справедливости ради следует сказать, что этот аргумент решающей силы не имеет: подобные отношения встречаются в сфере аналитических форм).

устанавливается сходство языковых единиц. Думается, он не вполне последователен при построении данного фрагмента своей системы.

Дав определения трем понятиям – словоизменительное значение, квазиграммема и дериватема, И.А. Мельчук рассматривает далее семь различий, обычно характеризующих словоизменительные и словообразовательные значения [Mel'čuk 1993 : 294–298]. Подобное "многофакторное" представление различий между этими двумя классами грамматических значений проводится также в работах [Dressler 1989] и [Plank 1991]. В работе В. Дресслера предлагается 20 "критериев разграничения словоизменительной морфологии и словообразовательной морфологии", а в работе Ф. Планка – 28 "элементарных различий" словоизменения и словообразования (или "критериев субклассификации морфологических категорий").

Именно эти различия, указываемые в упомянутых работах И.А. Мельчука, В. Дресслера и Ф. Планка, – вместе с некоторыми дополнительными – мы хотели бы положить в общую основу противопоставления словоизменительных и словообразовательных значений (тем самым, совокупность тех свойств языковых значений, которые Мельчук считает как бы следствием его определений граммем, квазиграммем и дериватем, мы считаем целесообразным положить в основание экспликации этих трех понятий). Мы предлагаем шкалировать различия между этими явлениями, располагая их на шкалах между двумя полюсами (разумеется, с включением самих полюсов) – чисто грамматическим (ГП – грамматический полюс) и чисто лексическим (ЛП – лексический полюс):

ГП · ←– · – – – – – – – – – – – – – – – → · ЛП

граммемы	дериватемы	значения служебных слов, "чисто" синтаксических конструкций	значения лексических "наполненных" синтаксических конструкций	"чисто" лексические значения

Противопоставление словоизменения и словообразования тем самым как бы вкладывается в более общую шкалу, отражающую фундаментальную оппозицию естественного языка – оппозицию грамматического и лексического.

Мы отдаем себе отчет в условности изображенной схемы, в том, что она не исчерпывает всего инвентаря типов языковых значений; она носит сугубо иллюстративный характер и лишь намечает различия между значениями. В частности, области указанных здесь типов значений, ограниченные акколадами, могут, вероятно, перекрываться; реальная картина в языке во много крат сложнее. Тем не менее, даже в упрощенном виде данная схема, как мы надеемся, иллюстрирует принцип градуального размещения языковых значений на шкалах "грамматичности – лексичности", соответствующих определенным признакам, которые ниже будут перечислены. Из этой схемы видно, что словоизменительные и словообразовательные значения т я г о т е ю т к чисто грамматическому полюсу, однако вторые дальше от него, нежели первые, по преимуществу находящиеся непосредственно на этом полюсе (по-видимому, и среди граммем могут быть более или менее "грамматичные"; так, множественное число в русском императиве, выражаемое суффиксом *-те*, будучи граммемой, располагается, пожалуй, несколько дальше от полюса чистой грамматичности, чем, например, сама граммема императива). На полюсе чистой лексичности находятся лексические значения, выражаемые полнозначными словами. Что касается синтаксических конструкций, то между ними тоже могут быть усмотрены различия с точки зрения намеченной шкалы. Например, конструкции с согласованием типа "подлежащее + сказуемое", "прилагательное + существительное", относимые к "чисто" синтаксическим, тяготеют скорее к грамматическому полюсу, занимая на шкале позицию левее середины; такие конструкции, как "глагол + обстоятельство", "существительное + предложная группа" (*дом на углу*), естественно поместить на шкале правее первых; справа от последней группы и при этом правее середины шкалы

располагаются такие "лексически нагруженные" конструкции, как аппроксимативно-количественная (*дней пять*) или уступительно-модальная (*Сказать-то он сказал, ...*).

Фактически мы имеем дело не с одной жесткой шкалой, а с целым их набором – в соответствии с признаками языковых значений, релевантными для установления их статуса.

Признаки, или критерии, выделяемые в упомянутых работах И.А. Мельчука, В. Дресслера и Ф. Планка, разумеется, существенно пересекаются. Наиболее объемен и полон набор признаков у Ф. Планка – 28, однако и у него есть упущения, например, в его перечне не учтены критерии **К4** и **К7** из числа перечисляемых ниже ("Объем сочетаемости" и "Совмещение с лексическим значением" соответственно).

Ниже приводятся и комментируются те признаки-критерии противопоставления лексического и грамматического, которые представляются нам наиболее существенными; таковых оказалось 11 (**К1 – К11**). К их числу присоединены еще два дополнительных, имеющих характер метакритериев по отношению к основному перечню (**МК1** и **МК2**). (По ходу изложения приводятся и комментируются некоторые критерии Ф. Планка.) Далее, в целях создания более объемного фона для рассмотрения оппозиций языковых значений, бегло перечисляются те критерии из [Plank 1991] и [Dressler 1989], которые оказались вне нашего основного перечня. Критерии Ф. Планка и В. Дресслера обозначаются буквами "П" и "Д" соответственно с номером критерия, взятого из соответствующей работы.

О т с т у п л е н и е. Подвижность и размытость границ между словоизменением и словообразованием отмечается в книге [Демьянков 1994 : 93], в которой значительный объем текста отведен обзору *современных* (*преимущественно зарубежных*) *морфологических концепций*. В *частности*, *в ней* указываются различные встречающиеся в литературе критерии установления этих границ: на с. 91 – шесть критериев В. Дресслера из [Dressler 1987], а на с. 93–96 (в разделе "Критерии различения") – еще 10 других. Из книги В.З. Демьянкова в настоящей работе заимствуется "метакритерий" Дж. Байби (прим. 13, с. 56) и еще один критерий В. Дресслера (см. ниже с. 57). К сожалению, формулировки автора отличаются лаконизмом, *идущим подчас в ущерб пониманию и эксплицитности*; *непонятно*, *скажем*, *как интерпретировать такой* критерий: "Грамматикализованность: словоизменение более грамматикализованно, чем деривация" (с. 94).

К книге [Демьянков 1994] можно отнести и ряд других критических замечаний и вопросов. Почему вместо удобных терминов *морфологический анализ*, *морфологическая модель*, *морфологический процессор*, принятых в компьютерной лингвистике и освященных уже хорошей традицией, автор обращается к термину *морфологическая интерпретация* (вынесенному даже в заглавие)? (Ссылка на *аналогию* с *интерпретацией* в программистском понимании – с. 145 – нисколько не убеждает.). Само понимание морфологической интерпретации в книге дано нечетко и размыто: на протяжении двух страниц (45–46) оно меняется от того, что естественно называть морфологическим анализом, до мало понятного "двустороннего соотнесения заглавного и реального (текстового) лексических представлений", а на с. 143 оно охватывает "морфологический анализ и синтез" (последнее – в противоречие с обыденным пониманием слова *интерпретация* – 'истолкование', которое, впрочем, в книге тоже упоминается).

Вообще, обращение автора с морфологической терминологией иногда оставляет странное впечатление. Несколько примеров. Понятие "производность" применено не только к словообразовательным дериватам, но и к формам словоизменения (с. 66). Разрывные морфы в семитских языках относятся в разряд супрафиксов (с. 68); супрафиксы – это супрасегментные единицы, о чем говорит сама внутренняя структура термина, а разрывные семитские морфы принято называть трансфиксами; если автору известно другое понимание термина *супрафикс*, уместен хотя бы минимальный комментарий. При изложении концепции, "естественной морфологии" приравниваются нулевая аффиксация и конверсия (с. 71), что для отечественного читателя выглядит в высшей степени необычно; если такое приравнивание свойственно данной концепции (позволительно в этом усомниться), следовало бы и здесь дать необходимый комментарий. Граммемами автор называет как словоизменительные категории, так и их значения (с. 173); в теории грамматики принято второе понимание.

Разработанная автором "экспертная система морфологических знаний" изложена конспективно и неясно; отсутствуют сведения о параметрах ее компьютерной реализации – языке (языках) программирования, компьютерной среде, скорости работы и т.п.

При некоторых признаках основного перечня мы указываем отдельные примеры языковых явлений, нарушающих общие закономерности (граммемы, обладающие

скорее второй – "лексической" – характеристикой по данному признаку, или дериватемы, обладающие скорее первой – "грамматической" – характеристикой). Эти примеры призваны показать относительность шкал, необходимость учета в с е й совокупности разнородных факторов и их относительного "веса" при установлении "суммарного" статуса соответствующего языкового значения. Не утверждается, что предлагаемый перечень признаков исчерпывает все критерии, применяемые для разграничения грамматического и лексического вообще и словоизменения и словообразования в частности. Для нас важен не столько исчерпывающий объем набора признаков, сколько сам принцип многофакторной экспликации лингвистических понятий.

Учитывая поисковый, не вполне определенный и далеко не формальный характер процедур, устанавливающих наличие признаков языковых значений (т.е. расположение языковых значений на шкале соответствующего признака), эти признаки можно назвать так:

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО И ЛЕКСИЧЕСКОГО В ЯЗЫКЕ

1. Основной перечень критериев

К1. Бóльшая / меньшая степень регулярности.

Под данным заголовком объединены фактически три "подкритерия" (в соответствии с составным характером регулярности, отраженным в определении словоизменительной категории в [Mel'čuk 1993 : 263]):

– **(К1а)** Композиционность (или семантическая аддитивность):

значение '*m*' композиционно = результат присоединения '*m*' к значениям-ориентирам может быть "вычислен" по достаточно общим и строгим правилам[9].

– **(К1б)** Стандартность:

значение '*m*' стандратно = для '*m*' имеется достаточно ограниченный набор выражающих его показателей, распределение которых подчиняется достаточно общим правилам.

– **(К1в)** Свобода сочетаемости:

значение '*m*' свободно присоединяется к некоторому классу знаков = значение '*m*' может выражаться (почти) при всех знаках данного класса.

Следует различать свободу сочетаемости, т.е. продуктивность, и объем сочетаемости, см. критерий **К4** ниже. Свобода сочетаемости значения '*m*' предполагает возможность присоединения показателя этого значения к любому представителю того класса знаков **K**, к которому '*m*' в принципе может применяться (при этом сам класс **K** не обязан быть многочисленным).

Контрпримеры.

Относительно нерегулярная граммема: множественное число в хауса, для выражения которого используется несколько десятков различных конкретных знаков – суффиксов, апофоний (значимых чередований) и комбинаций единиц этих типов[10].

Полностью регулярные дериватемы изобилуют в языках; много их и в русском.

---

[9] Подкритерию композиционности **(К1а)** можно дать некоторую общесемиотическую интерпретацию. В работе [Dressler 1995 : 25–26] свойства языковых значений связываются с некоторыми фундаментальными семиотическими параметрами в языке – иконичностью, семиотической прозрачностью, тенденцией к бинарным оппозициям, экономией и др.; отмечается склонность словоизменения "к бóльшей морфосемантической прозрачности по сравнению со словообразовательной морфологией". Под морфосемантической прозрачностью имеется в виду как раз "легкость отождествления семантического вклада каждой из составных частей целого в смысл этого целого".

[10] Так, в словоформе хауса *dȗwàrwátsáj* 'камни' (при *dȗtsè* 'камень') множественное число выражено трижды – апофонией *ȗ* ⇒ *ùwā*, "последующей" редупликацией *ùwā* ⇒ *ùwarwa* и суффиксом *-ai* [Mel'čuk 1993: 267].

Пример: "неполная степень качества" ("аттенуатив") прилагательного, выражаемая суффиксами *-оват/-еват*.

К2. Вхождение / невхождение в состав обязательной категории.

Словоизменительные значения имеют тенденцию объединяться в категории, обязательные для некоторых классов языковых знаков; словообразовательные значения в обязательные категории почти никогда не объединяются (см. ниже **Контрпримеры**).

О трудностях экспликации понятия **обязательная категория** было сказано выше, в разделе I. В данном случае нам приходится опираться исключительно на наше интуитивное представление об обязательности некоторой категории, которое, тем не менее, позволяет различать полярные случаи: явную обязательность и явную необязательность. Тогда наличие первого свойства у языкового значения **склоняет** (но не более того!) в пользу признания его граммемой, а наличие второго – в пользу признания его дериватемой.

Контрпримеры.

Примеры изолированных словоизменительных значений – квазиграммем, не входящих в обязательные категории, – были указаны выше в достаточном количестве (см. разделы I и III).

Думается, обязательность не является исключительной принадлежностью словоизменения. Рассуждая дедуктивно, вполне можно представить себе набор языковых значений, обязательно выражаемый при несамостоятельных основах некоторого ограниченного класса, причем по всем остальным критериям (или по их большинству) эти значения тяготеют к лексическому полюсу соответствующих шкал (или же они – вместе со средствами их выражения – сходны с явными дериватемами соответствующего языка, ср. дополнительный критерий – метакритерий **МК1** ниже). Нам представляется, что нечто похожее наблюдается в случае пород арабского глагола (особенно вследствие некомпозиционности соединения значения корня со значением показателя породы, т.е. нарушения "подкритерия" (**К1а**) выше). Еще одну иллюстрацию предоставлят материалы венгерского и чувашского языков [Mel'čuk 1994: 331–332], в которых имеется ограниченный класс основ, непременно сопровождаемых суффиксом, маркирующим либо "не-каузативность", либо "каузативность" глагольной словоформы; ср. венг. *gur+**ít*** 'катать' ~ *gur+**ul*** 'кататься', *széd+**ít*** 'вызывать головокружение' ~ *széd+**ül*** 'чувствовать головокружение', *szak+**ít*** 'рвать' ~ *szak+**ad*** 'рваться'.

К3. Абстрактность / конкретность.

Словоизменительные значения тяготеют к большей абстрактности, словообразовательные – к большей конкретности.

Контрпримеры.

Граммемы с конкретным значением: "хрестоматийный" пример Э. Сепира из языка нутка – совокупность значений типового отклонения от нормы, обязательная при названии человека [Сепир 1993].

Дериватемы с абстрактным значением. Вполне можно представть себе абстрактное значение множественности, по другим критериям тяготеющее к лексическому полюсу шкал. Из реальных примеров можно указать случаи "синтаксической деривации" (по Е. Кириловичу – [Кирилович 1962]) – отглагольные существительные, отсубстантивные прилагательные и т.п., в которых словообразовательное значение обладает весьма высокой степенью абстрактности.

К4. Относительно широкая / относительно ограниченная сочетаемость.

Показатели словоизменительных значений сочетаются, как правило, с более обширными классами языковых знаков, чем показатели словообразовательных значений.

Контрпримеры.

Граммемы с ограниченной сочетаемостью. Если признать оппозиции форм личных местоимений в английском и французском языках (типа I ~ *me*, *he* ~ *him* и т.п.) падежными (как это нередко делается), то здесь мы имеем граммемы с крайне ограниченной сочетаемостью.

Дериватемы с относительно широкой сочетаемостью обильно представлены в языках, ср. в русском диминутив у существительных, аттенуатив у прилагательных (*бел-оват-ый*, *син-еват-ый* и т.п.), случаи синтаксической деривации – девербативы, деадъективы, десубстантивы и т.п.

К5. Бóльшая / меньшая связь с синтаксисом.

Связь языкового значения с синтаксисом состоит в необходимости упоминания этого значения для формулировки того или иного синтаксического правила. Словоизменительные значения чаще упоминаются в синтаксических правилах, чем словообразовательные. Однако, с одной стороны, вполне можно представить себе семантически нагруженные граммемы, совершенно не упоминаемые ни в одном синтаксическом правиле (например, сугубо семантические граммемы времени глагола в языке, где отсутствуют согласование времен и какие-либо синтаксические ограничения на их употребления – хотя следует признать, что это весьма редкий случай); с другой стороны, дериватемы синтаксической деривации (отглагольные существительные и т.п.) иллюстрируют возможность прямой связи с синтаксисом для словообразовательных значений.

Критерий **К5** охватывает четыре "синтаксических" критерия в [Plank 1991: 5–6]: (П6) реляционность / нереляционность ("Морфологическая категория реляционна, если она служит для соотнесения синтаксических составляющих друг с другом или для соотнесения пропозиционального содержания предложений с речевым актом"); (П7) согласование / отсутствие согласования с другими элементами; (П8) вхождение / невхождение в состав контролера согласования по данной категории; (П9) выбор по управлению / отсутствие выбора по управлению. Заметим, что и в рамках работы [Plank 1991] критерии (П7), (П8), (П9) – не более чем частные случаи критерия (П6), по существу совпадающего с нашим **К5**.

К6. Склонность к сохранению / изменению части речи исходного знака.

Присоединение словоизменительных показателей не меняет, как правило, часть речи исходного знака; присоединение словообразовательных показателей нередко меняет часть речи исходного знака.

Контрпримеры.

Граммемы, меняющие часть речи исходной основы, – 'причастие' и 'деепричастие', принадлежащие к глагольной словоизменительной категории "репрезентация", – производят своего рода мену части речи исходной основы – "глагол" – на "прилагательное" и "наречие", соответственно.

Случаи сохранения части речи при присоединении дериватемы многочисленны: в русском языке – все те же диминутивы существительного, аттенуативы прилагательного, разнообразные значения префиксов и т.п.

В связи с частеречной характеристикой исходного и производного знаков в работе [Plank 1991: 18–19], кроме нашего критерия **К6** (критерий (П22) у Планка), даются еще два: (П23) присоединение к знакам, принадлежащим только к одной / более чем к одной части речи; (П24) принадлежность производных знаков только к одной / более чем к одной части речи.

К7. Меньшая / бóльшая склонность к совмещению с лексическим значением.

Словоизменительные значения редко выражаются кумулятивно с лексическими значениями посредством одного и того же знака; словообразовательные значения чаще выражаются подобным образом.

Имеется в виду возможность супплетивного выражения грамматического значения. Супплетивизм в большей мере характерен для словообразования, чем для словоизменения; ср. *лев* ~ *львенок* **vs.** *собака* ~ *щенок*, *пять* ~ *пятый* **vs.** *один* ~ *первый*, *читать* ~ *читатель* **vs.** *ковать* ~ *кузнец* и т.п.

Контрпримеры.

Случаи супплетивного выражения граммем: супплетивные формы глаголов со значением 'быть' и 'иметь' или формы компаратива прилагательных со значением 'хороший' / 'плохой' в ряде европейских языков, ср. англ. 'быть' *be ~ am, is, are, was, were*; 'плохой' *bad ~ worse*; фр. 'иметь' *avoir ~* [tu] *as*, [ils] *ont, eu*; 'хороший' *bon – mieux*; и т.п.

Вполне обычны дериватемы, никогда не выражаемые супплетивно, например, значения русских префиксов.

K8. Меньшая / бóльшая склонность к фразеологизации.

Сочетания словообразовательных показателей с исходными знаками-ориентирами фразеологизуются чаще[11].

Контрпримеры.

Фразеологизация граммем: случаи типа отсубстантивных наречий *вечером, утром, кувырком*, англ. *glasses* 'очки' [при *glass* – 'стекло; стакан'], существующие наряду с нефразеологизованными формами.

Примеры дериватем, никогда не подверженных фразеологизации, многочисленны (в частности, случаи синтаксической деривации).

K9. Более / менее отдаленное линейное расположение показателей данного значения относительно корня.

Показатели словоизменительных значений тяготеют к более отдаленному линейному расположению относительно корня по сравнению с показателями словообразовательных значений[12].

Данный критерий достаточно успешно работает для европейских и многих других языковых групп, но вряд ли применим естественным образом, скажем, к материалу таких языковых семей, как семитская (с разрывным корнем).

Контрпримеры [Mel'čuk 1993: 296; Dressler 1995: 29]:

нем. *Kind+er+chen* 'дет+ишк+и' [виден обратный порядок следования показателей граммемы и дериватемы в немецкой и эквивалентной русской словоформе];

венг. *kedves+ebb+en* букв. 'приятный+СРАВН+НАР', 'более приятным образом' [показатель словоизменительного значения – компаратива – ближе к корню, чем показатель дериватемы – адвербиальный суффикс];

русск. случаи типа [*Мне*] *работа+ет+ся* [*хорошо*], *как+ой-нибудь*, и т.п.

K10. Невозможность / возможность повторного вхождения значения в состав означаемого словоформы.

Следует проводить логическое различие между случаями неоднократного выражения одного и того же значения посредством нескольких знаков в составе словоформы (см. неоднократное выражение множественности в хауаса – прим. 10) и случаями повторного вхождения некоторого значения в состав означаемого словоформы (составляющими содержание критерия **K10**). По-видимому, признак однократности /

---

[11] Даже в случаях типа *писать ~ писатель* можно усматривать слабую степень фразеологизации: *писатель* – это не просто 'тот, кто пишет', а 'тот, кто пишет по профессии'.

[12] Подобно критерию композиционности (см. прим. 9 выше), критерий **K9** – расположение относительно корня – тоже может быть связан с семиотическими параметрами в языке – с иконичностью и индексальностью (и даже с психолингвистическими факторами), как это предполагается в [Dressler 1995: 28–29]. Согласно этой работе, линейная периферийность словоизменительных аффиксов обусловлена следующими факторами: 1) иерархией по шкале "конкретность / абстрактность", на которой корни наиболее конкретны, словообразовательные аффиксы занимают следующую позицию, а словоизменительные замыкают шкалу (ср. критерий **K3** выше); 2) склонностью словоизменительных аффиксов к выполнению синтаксических функций ("периферийный аффикс легче доступен, чем непериферийный", выступая на конце словоформы; ср. критерий **K5**).

неоднократности выражения не может эффективно использоваться в качестве одного из критериев противопоставления словоизменительных и словообразовательных значений: случаи неоднократного выражения одного и того же значения в составе словоформы крайне редки, и, вероятно, словообразовательные значения едва ли не реже словоизменительных допускают неоднократное выражение. Во всяком случае, примером неоднократности выражения граммемы мы располагаем – это множественное число в хауса, но аналогичный пример для дериватем нам не известен.

Что же касается повторности вхождения значения в состав означаемого словоформы, то для дериватем это вполне допустимо, т.е. вполне возможно присоединение некоего словообразовательного значения к знаку-ориентиру, уже выражающему это значение. Ср., например, значение префикса *пра-*, способного неограниченно повторяться в формах типа *прапра ... прадед*, или "синтаксическое" значение 'субстантив' деадъективного суффикса *-ость*, повторяемое в формах *целостность, злостность, гнилостность*. Другой типологически естественный класс примеров составляют случаи "нанизывания" каузативов (каузативы двойные, тройные и т.д. – [Mel'čuk 1994: 325–326]):

венг. *ég* 'гореть' ~ *ég+et* 'сжигать' ~ *ég+et+tet* 'заставлять сжигать'

тур. *uyu* 'спать' ~ *uyu+t* 'усыплять' ~ *uyu+t+dur* 'заставлять усыплять' ~ *uyu+t+dur+t* 'заставлять заставлять усыплять'

кашмири *cun* 'пить' ~ *caavun* 'поить' ~ *caavinaavun* 'заставлять поить'

В качестве контрпримера повторности для словоизменительного значения можно взять интересный (но типологически необычайно редкий) случай "эскимосских форм с двойным временем", описанный в статье [Вахтин 1994].

Один пример из работы [Вахтин 1994: 30]. Глагольная форма *к'ыпх'а-ма-н'ит-нак'-ун'а* 'к тому времени будет так, что я не работал' содержит два показателя времени: *-ма-* 'прошедшее' и *-нак'-* 'близкое будущее' (*-н'ит-* 'отрицание', *-у-н'а* 'одноличный глагол 1 л. ед. ч.'). Н.Б. Вахтин указывает, что в подобных случаях глагольная форма скрывает два предиката: один "вложенный" ('работать' в нашем примере) и второй "объемлющий" ('будет к некоторому времени'); он приводит примеры разных комбинаций времен, отмечая редкость соответствующих словоформ и трудность их интерпретации и перевода на русский язык у информантов.

От эскимосского типологического раритета отличается случай (тоже типологически весьма экстравагантный) "двух показателей числа в вепсских адъективных словоформах" [Иткин 1994: 38], в которых, как отмечает автор, морфы со значением числа "могут встречаться дважды – один раз как словообразовательные, а другой как словоизменительные". Например, прилагательное *madoj̮khi̮ta* в словосочетании, означающем 'без червивых грибов' (МН-О множ. число основы; АД – адъективатор; МН – множ. число, согласовательное у прилагательного 'червивый' и "смысловое" у существительного 'грибы'; АБЕСС. – абессив ['без']) –

mado	+ *i̮*	+ *khi*	+ *i̮*	+ *ta*	*babuko*	+ *i̮*	+ *ta*	–
червяк	МН–О	АД	МН	АБЕСС	гриб	МН	АБЕСС	

содержит после основы словообразовательный суффикс-плюрализатор *-i̮*, а после адъективатора – другой плюрализатор *-i* – чисто согласовательный словоизменительный суффикс.

К11. Меньшая / бóльшая склонность к выражению посредством сильно автономных языковых знаков.

Под сильно автономным знаком (см. [Mel'čuk 1993: 170]) понимается такой знак, который может составлять отдельное полное высказывание [т.е. речевой отрезок, который естественно ограничен слева и справа отрезками молчания говорящего]. Примеры сильно автономных знаков: словоформы (*Ночь. Улица. Фонарь. Аптека*); словосочетания (*Итальянские каникулы*; *На отдыхе*). (Помимо сильной автономности, в [Mel'čuk 1993: 171] выделяется слабая автономность, характеризующая знаки, не

способные к употреблению в качестве отдельных высказываний, но обладающие известной долей самостоятельности – в отличие от аффиксальных элементов; к слабо автономным знакам относятся, например, предлоги, большинство частиц, всевозможные клитики, и т.п.)

Критерий **К11**, как представляется, не способен эффективно различать словоизменительные и словообразовательные значения, поскольку в их совокупной области случаи сильно автономного выражения крайне редки, а среди этих случаев нам не известны сильно автономные словообразовательные знаки. К сильно автономным словоизменительным знакам можно было бы отнести компоненты глагольных аналитических форм, скажем, русские формы *буду, будет* и т.д.; ср. диалог: *Ты будешь пить чай? – Буду.*

Критерий **К11** введен нами для отграничения целостной совокупности грамматических значений (включающей, в частности, словоизменительные и словообразовательные) от лексических значений. Относительно этих двух фундаментальных классов языковых значений верно, что первые крайне неохотно, а вторые в высшей степени охотно и естественно допускают сильно автономное выражение.

В дополнение к рассмотренным одиннадцати критериям можно привлекать еще два – своего рода метакритерии, когда тестирование значения по основным критериям приводит к состоянию "неустойчивого равновесия". Здесь мы лишь назовем эти дополнительные критерии, не давая им никаких комментариев:

МК1. Сходство с явными словоизменительными / явными словообразовательными значениями.

МК2. Меньшая / бóльшая степень изменения содержания исходного понятия[13].

2. Дополнительный перечень критериев

Представляется целесообразным перечислить те критерии противопоставления словоизменения и словообразования из работ [Plank 1991] и [Dressler 1989], которые были сочтены нами менее существенными, чем отраженные в предложенном выше перечне, и не были в него включены или упомянуты в комментариях. Таких маргинальных критериев оказалось 15. Три критерия В. Дресслера – **(Д4), (Д7)** и **(Д13)** – автор настоящей работы уяснить не смог (возможно, из-за необычайной лаконичности формулировок и отсутствия примеров). Критерии Ф. Планка тестируются в его работе на восьми грамматических значениях английского языка (двух граммемах и шести дериватемах): 3 л. ед. ч. у глагола, множ. число у существительного, инхоатив-каузатив у глагола (*blacken*), совокупность у существительного (*shrubbery*), процесс-результат у существительного (*utterance, appointment*), негатив у прилагательного (*unhappy, impractical*), состояние-положение у прилагательного или наречия (*afire, ahead*), диминутив у существительного (*duckling, booklet*). Планк скрупулезно отмечает все контрпримеры (как это сделано в нашем перечне). В кратких комментариях мы приводим соответствующий языковой материал. Отметим, что, хотя внешне формулировки Планка противопоставляют словоизменение и словообразование жестким и категоричным образом, это не более чем способ изложения ("Поскольку многие из этих противопоставлений скорее градуальны, чем безусловны, использование только двух значений соответствующих признаков является явным упрощением" – с. 22).

(П2), (Д1): исходный и производный знак принадлежат к одной / к разным лексемам.

---

[13] См. [Mel'čuk 1993: 298], где данный метакритерий назван "глубинным семантическим свойством оппозиции "граммема ~ дериватема".

С метакритерием **МК2** соотносится "критерий релевантности, или существенности" для значения основы дополнительного семантического понятия, выражаемого словоизменительным показателем [Bybee 1985: 12] (заимствовано из [Демьянков 1994: 91]).

Думается, применение данного критерия не вполне корректно, поскольку понятие лексемы имеет, по-видимому, более сложный концептуальный статус, нежели понятия словоизменительного и словообразовательного значений: лексема как раз и эксплицируется через словоизменительное значение.

(П5), (Д16): морфологическая категория входит / не входит в более или менее замкнутую парадигматическую систему.

(П10): невозможность / возможность замены производного знака (почти) во всех синтаксических контекстах морфологически более простыми знаками, не характеризуемыми соответствующей морфологической категорией.

Скажем, английские глагольные словоформы *comes*, *saves* и т.п. или существительные во множ. числе – *persons* – обладают крайне низкой степенью заменимости посредством коррелятов *come*, *save* или *person* / *people*; в сфере словообразовательных значений подобные замены допустимы в большей степени, например: *It was unwise / silly to blacken / paint the white wall*; *The duckling / duck hid in the shrubbery / garden*; *The destruction / end of Troy was bloody*; *The oven was afire / hot*.

(П12): имеется / отсутствует алломорфия исходных основ, вызываемая соответствующей морфологической категорией.

(П13): в случае алломорфии исходных основ эта алломорфия относительно регулярна / идиосинкратична.

Возможно, два последних критерия соотносятся с нашим подкритерием стандартности выражения **(К1б).**

К последнему критерию логически примыкает критерий "фонотактической прозрачности" В. Дресслера [Dressler 1987], который приводится здесь в формулировке из книги [Демьянков 1994: 91]:

"Формативы словоизменения обычно подчиняются более строгим фонотактическим условиям, чем формативы деривации".

(П15): невозможность / возможность выражения морфологической категории посредством синонимичных слов, в особенности синонимичных слов с той же основой[14].

Ср. пары (квази)синонимичных дериватов в английском: *moisten ~ moistify*, *readerage ~ readership*, *admission ~ admittance*, *impractical ~ unpractical*, *adangle ~ dangling*, *kitchenette ~ minikitchen*.

(П16): наличие омонимичных форм не препятствует / препятствует образованию производных знаков, выражающих соответствующую морфологическую категорию.

Например, для существования английских форм типа *knows* или *days* совершенно не существенно наличие омофонов *nose* или *daze* – в отличие от гипотетических дериватов *?ratling* 'молодая крыса', *?batling* 'молодая летучая мышь' (из-за *ing*-овых форм глаголов *rattle* и *battle*), **a-mount* (из-за наличия глагола и существительного *amount*), **a-go* (из-за послелога *ago*), **a-rest* (из-за *arrest*).

(П17): возможность / невозможность кумулятивного выражения данной морфологической категории совместно с некоторой другой морфологической категорией.

Данный критерий является как бы зеркальной противоположностью нашего критерия **К7** – совмещение с лексическим значением. В самом деле, словоизменительные значения вполне склонны к кумулятивному выражению в своей среде, но не совместно с лексическими значениями. Что касается словообразовательных значений,

---

[14] Этому критерию Ф. Планка близок (возможно, тождествен?) критерий (**Д5**) в [Dressler 1989: 6]: отсутствие / наличие синонимичных морфем, выражающих данное значение. В. Дресслер приводит пример словообразовательной синонимии двух английских суффиксов – *-ness* и *-ity*.

то примеры их совместного кумулятивного выражения или совместного выражения со словоизменительными значениями крайне редки (если вообще существуют), а случаи их совмещения с лексическими значениями вполне возможны (словообразовательный супплетивизм, см. **К7**).

(П21): отсутствие / наличие производных знаков со связанными основами (т.е. основами, встречающимися только в составе производных знаков).

Ср. редкость и нетипичность в английском случаев соединения суффикса множ. числа со связанными основами (*odds, alms, earnings, antipodes*) и гораздо бóльшую распространенность соединения словообразовательных суффиксов с такими основами: *hasten, episcopate, ambition, unruly, inept, illicit, aware, agog, hamlet.*

(П26): относительное сходство / несходство линейного расположения и сегментной, супрасегментной, слоговой и морфемной структуры показателей морфологической категории с соответствующими чертами показателей категорий, имеющих общие с исходной свойства.

Так, очевидно сходство показателей английских глагольных форм 3 лица ед. числа и форм существительных множ. числа. Что касается показателей английских дериватем, здесь наблюдается большее разнообразие; скажем, инхоатив-каузатив может выражаться префиксами *en-/be-* или суффиксами *-en/-(i)fy/-ize*, негатив – префиксами *un-/in-/non-*... или суффиксом *-less*, диминутив – префиксами *mini-/micro-* или суффиксами *-ling/-(e)rel/-ette/-let*, и т .п.

(П27): несходство / сходство показателей морфологической категории со свободными морфемами по их внутренней структуре.

Некоторые показатели английских дериватем внешне выглядят как настоящие словоформы: *-ize, -(i)fy; -hood, -ship; -(a)tion; in-, un-, non-, dis-; ling-, mini-*.

(П28): относительно частая / относительно редкая встречаемость данной морфологической категории в других языках.

Здесь мы имеем дело с межъязыковым, пожалуй, наиболее уязвимым, критерием. С ним соотносится следующий критерий В. Дресслера:

(Д6): инвентарь категорий словообразовательной морфологии, представленный в естественных языках, гораздо многочисленнее и разнообразнее инвентаря словоизменительной морфологии.

(Д17): значительно бóльшая легкость выравнивания по аналогии у словоизменительных показателей по сравнению со словообразовательными.

Пример из латыни: форма номинатива ед. числа *honos* перешла в *honor* ‘почет, честь’ – в соответствии с остальной частью парадигмы (аккузатив *honorem* и т.п.), тогда как адъективный дериват *honestus* ‘честный’ сохранил */s/*.

(Д18): меньшая / бóльшая вероятность хранения в памяти как единого целого для словоизменительных форм / для дериватов.

Теперь мы можем, наконец, привести формулировки, эксплицирующие содержание интересующих нас понятий в духе избранной стратегии.

Словоизменительное значение – это значение, входящее в состав некоторой словоизменительной категории [обязательной для знаков некоторого класса] или в достаточной степени удовлетворяющее "левым" свойствам, упоминаемым в эвристических критериях противопоставления грамматического и лексического в языке.

Граммема – это словоизменительное значение, входящее в состав некоторой словоизменительной категории.

Квазиграммема – это словоизменительное значение, не входящее в состав никакой словоизменительной категории.

Словообразовательное значение < = дериватема> – это значение, в достаточной степени удовлетворяющее "правым" свойствам, упоминаемым в эвристических критериях противопоставления грамматического и лексического в языке.

Подчеркнем, что мы ни в коей мере не считаем предложенные формулировки полноценными определениями: они призваны лишь прояснять суть нашей стратегии.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируем основное содержание работы в виде двух тезисов.

1. Следующие два свойства языковых значений являются логически независимыми: "быть обязательным [для некоторого класса знаков]" и "быть словоизменительным". Относительно двух оппозиций – "обязательность / необязательность" и "словоизменительное / словообразовательное" – возможны все четыре комбинации свойств, проявляющиеся в знаках тех или иных языков:

- обязательные словоизменительные значения: классические, массовые словоизменительные значения;
- необязательные словоизменительные значения: квазиграммемы (не входящие в обязательные категории словоизменительные значения – типа значения коллективной множественности в китайском или множественного числа в тюркских языках; другие примеры – в разделе II выше);
- обязательные словообразовательные значения: спорный, но, по-видимому, возможный случай, под который можно подвести такие примеры, как арабские породы или связанные основы, непременно сопровождаемые словообразовательным аффиксом (см. комментарии к критерию **K2** в разделе **IV**);
- необязательные словообразовательные значения: классические, массовые словообразовательные значения.

2. Противопоставление словоизменения и словообразования градуально (как большинство оппозиций, релевантных для естественного языка). Экспликация данного противопоставления должна быть многофакторной, что отражено в приведенном в разделе IV наборе эвристических критериев, ни один из которых не характерен только для словоизменительных или только для словообразовательных значений. Все вместе они образуют многоаспектную шкалу с двумя полюсами (или, если угодно, набор шкал), на которой языковые значения располагаются в соответствии с их характеристикой по всем критериям: они могут "прочно" находиться на каком-либо полюсе, могут тяготеть к одному из них, а могут примыкать и к середине шкалы (возможно, так обстоит дело с русским видом). По-видимому, разные критерии имеют разный "концептуальный вес", что также необходимо учитывать при установлении статуса того или иного значения.

Предложенная стратегия отвечает фундаментальному свойству языковых единиц – их градуальности, отсутствию в языке жестких и однозначных границ ("hard and fast lines").

* * *

Автор выражает глубокую благодарность А.Е. Кибрику за очень важные замечания к первоначальному варианту данной работы, способствовавшие ее существенной доработке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ахманова О.С., Мельчук И.А., Падучева Е.В., Фрумкина Р.М. 1961 – О точных методах исследования языка. М., 1961.

Булатова А.Н. 1995 – Основные понятия морфологии // Русский язык (еженедельное приложение к газете "Первое сентября"). 1995. Сентябрь. № 10.

*Булыгина Т.В.*1968 – Грамматические оппозиции // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
Булыгина Т.В. 1980 – Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
Вахтин Н.Б. 1994 – Словоизменительная морфема и грамматическая категория: эскимосские формы с двойным временем // ИАН СЛЯ. 1994. Т. 53. № 3.
Гузев В.Г. 1987 – Очерки по теории тюркского словоизменения: имя (на материале староанатолийско-тюркского языка). Л., 1987.
Гузев В.Г., Насилов Д.М. 1975 – К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках // ВЯ. 1975. № 3.
Гузев В.Г., Насилов Д.М. 1981 – Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие "грамматическая категория" // Советская тюркология. 1981. № 3.
Гухман М.М. 1968 – Грамматическая категория и структура парадигм // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
Демьянков В.З. 1994 – Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование. М., 1994.
Есперсен О. 1958 – Философия грамматики. М., 1958.
Зализняк А.А. 1967 – Русское именное словоизменение. М., 1967.
Зализняк А.А. 1977 – Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
Исаченко А.В. 1954 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Ч. I. Братислава, 1954.
Иткин И.Б. 1994 – Два показателя числа в вепсских адъективных словоформах // ИАН СЛЯ. 1994. Т. 53. № 3.
Кантино Ж.П. 1994 – Сигнификативные оппозиции // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
Касевич В.Б. 1977 – Элементы общей лингвистики. М., 1977.
Касевич В.Б. 1988 – Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
Кацнельсон С.Д. 1972 – Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
Коротков Н.Н. 1968 – Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
Коротков Н.Н., Панфилов В.З. 1965 – О типологии грамматических категорий // ВЯ. 1965. № 1.
Курилович Е. 1962 – Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи // Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962.
Маслова Е.С. 1994 – О критерии обязательности в морфологии // ИАН СЛЯ. 1994. Т. 53. № 3.
Мельчук И.А. 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ⟨=⟩ Текст". Семантика, синтаксис. М., 1974.
Мельчук И.А. 1996 – Курс общей морфологии. Т. 1. Введение и Часть первая: Слово. М., 1996 [перевод с французского; в печати].
Муравьева И.А. 1994 – Локативные серии: словоизменение или словообразование // ИАН СЛЯ. 1994. Т. 53. № 3.
Общее языкознание 1972 – Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
Панов М.В. 1967 – Русская фонетика. М., 1967.
Пеньковский А.Б. 1977 – Об особенностях значения и употребления форм сравнительной степени в русском языке // Семасиология и грамматика. Тамбов, 1977.
Перцов Н.В. 1991 – О грамматическом и обязательном в языке // Типология грамматических категорий. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Л., 1991.
Перцов Н.В. 1996 – Элемент *ка-* в русском языке: словоформа или аффикс? // Русистика. Славистика. Индоевропеистика (К 60-летию А.А. Зализняка). М., 1996.
Плунгян В.А. 1988 – О некоторых свойствах грамматических оппозиций // "Научно-техническая информация". Сер. 2. 1988. № 10.
Плунгян В.А. 1992 – Глагол в агглютинативном языке (на материале *догон*). М., 1992.
Плунгян В.А. 1994а – Грамматичность и отношения между морфемами (к вопросу о "групповой флексии") // ИАН СЛЯ. 1994. Т. 53. № 3.
Плунгян В.А. 1994б – К проблеме морфологического нуля // Знак. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике (памяти А.Н. Журинского). М., 1994.
Поливанова А.К. 1983 – Выбор числовых форм существительных в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983.
Поливанова А.К. 1985 – Выбор видовых форм глагола в русском языке // Russian Linguistics. 1985. V. 9.
Поливанова А.К. 1990 – Опыт построения грамматической классификации русских лексем // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка (Сборник статей к 60-летию профессора В.А. Успенского). М., 1990.
Ревзина О.Г. 1973 – Общая теория грамматических категорий // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973.

Солнцев В.М., Вардуль И.Ф., Алпатов В.М., Бертельс А.Е., Коротков Н.Н., Санжеев Г.Д., Шарбатов Г.Ш. 1979 – О значении изучения восточных языков для развития общего языкознания // ВЯ. 1979. № 1.

Сепир Э. 1993 – Аномальные речевые приемы в нутка // Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Сумбатова Н.Р. 1994 – Грамматикализация глагольного синтаксиса // Автореф. дис... филол. наук. М., 1994.

Уорф Б.Л. 1972 – Грамматические категории // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Шайкевич А.Я. 1995 – Введение в лингвистику: Учебное пособие. М., 1995.

Яхонтов С.Е. 1965 – О морфологической классификации языков // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965.

Boas F. 1938 – Language // General Anthropology. Boston. 1938.

Bybee J.L. 1985 – Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam; Philadelphia, 1985.

Dressler W.U. 1987 – Word-formation (WF) as part of natural morphology // Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam; Philadelphia, 1987.

Dressler W.U. 1989 - Prototypical differences between inflection and derivaion // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. T. 42. № 1.

Dressler W.U. 1995 – Interactions between iconicity and other semiotic parameters in language // R. Simone (ed.). Iconicity in language. V. 110 of the series "Current issues in linguistic theory". Amsterdam/Philadelphia, 1995.

Householder F.W. 1955 – Language. XXXI. 1955. № 1. Pt. 1 – Rec.: P. Forchheimer. The category of person in language.

Jakobson R. 1959 - Boas' views on grammatical meaning // The anthropology of Franz Boas: Essays on the Centennial of his birth (Memoir LXXX). Menasha, 1959.

Maspero H. 1934 – La langue chinoise // Conférence de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris. Année 1933. Paris, 1934.

Mel'čuk I.A. 1988 – Toward a definition of case // Case in slavic. Columbus (Ohio). 1988.

Mel'čuk I.A. 1993 – Cours de morphologie générale. V. 1. Introduction et Première parti: Le mot. Montréal; Paris, 1993.

Mel'čuk I.A. 1994 – Cours de morphologie générale. V. 2. Deuxième partie: Significations morphologiques. Montréal; Paris, 1993.

Mel'čuk I.A. 1996 – Cours de morphologie generale. V. 3. Troisième partie: Moyens morphologiques; Quatrième partie: Syntactiques morphologiques. Montréal; Paris, 1996.

Plank F. 1991 - Inflection and derivation // Eurotyp Working papers. Theme 7: Noun phrase structure. Working Paper. № 10. March 1991.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. П.В. ПЕТРУХИН

НАРРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ВРЕМЕН В РУССКОЙ ЛЕТОПИСИ XVII ВЕКА

1. Поздняя древнерусская летопись представляет собой уникальный культурный и лингвистический феномен. В типичном летописном своде XVII века, где повествование начинается с расселения потомков Ноя и заканчивается царствованием Алексея Михайловича, первые и последние части настолько отличаются друг от друга, что их почти невозможно представить в составе одного и того же текста. Абсолютно меняются структура и язык повествования, цель, которую ставит перед собой пишущий, в конечном итоге, само понимание истории. Однако сам факт существования данного текста несомненно свидетельствует о том, что он мыслится его автором (или составителем – имеется в виду создатель конкретного списка) как единое цельное произведение и, следовательно, эти совершенно непохожие друг на друга фрагменты являются (в его понимании) частями единого целого. Принимая во внимание чрезвычайное своеобразие данного типа текстов, целесообразно, прежде чем приступить к непосредственному изучению его морфологических и синтаксических особенностей, попытаться выделить хотя бы самые основные его отличительные черты.

2. Одной из таких черт является нарративность. Летописный текст – нарративный, поскольку в нем описывается последовательность сменяющих друг друга во времени событий. Это текст, повествующий об истории, основной содержательной доминантой которого является понятие времени. Этим в первую очередь обусловлено его глобальное смысловое единство и связность. Поэтому при лингвистическом изучении летописи в центре внимания оказывается нарративная стратегия автора, то есть: каким образом автор описывает последовательность происходящих событий, как он их трактует, какие грамматические и событийные категории при этом оказываются в тексте ключевыми и т.д.

Поскольку минимальными нарративными единицами текста могут, в частности, считаться глагольные предикаты, ясно, что изучение глагольной системы летописного текста и ее функционирования имеет здесь основополагающее значение. Можно утверждать, что факторы, релевантные для выбора той или иной глагольной формы, в большом ряде случаев релевантны также и для выбора нарративной стратегии в целом. Именно эта взаимосвязь представляет наибольший интерес, и ей должно быть уделено максимальное внимание.

Вторым важнейшим признаком летописного текста является гетерогенность. Летописный текст – гетерогенный, поскольку язык, которым описываются соответствующие исторические события, со временем меняется, но каждый последующий летописец в той или иной мере сохраняет лингвистические характеристики текста, доставшегося ему от его предшественника. Более поздние части летописи в большей или меньшей степени отражают изменения, происшедшие в письменном языке со времени создания первых летописных памятников (подробнее о проблеме гетерогенности см. [Живов 1995]). Проблема гетерогенности и проблема нарративной стратегии взаимосвязаны: само понятие гетерогенности летописи подразумевает, что в разных ее фрагментах

используются разные нарративные стратегии и что соответствующие различия имеются в используемых автором источниках.

Таким образом, летописный текст позволяет сопоставить различные способы изложения событий и понаблюдать изменения, происходившие в этой области со времени создания древнейших летописных сводов. Отсюда возникает следующая проблема: выявить совокупность факторов, определяющих выбор той или иной нарративной стратегии в процессе порождения летописного текста. Как представляется, среди этих факторов можно выделить два наиболее важных – фактор преемственности и коммуникативный фактор.

Так, по мнению В.М. Живова, в поздних русских текстах "употребление простых претеритов целиком обусловлено преемственностью в рамках письменного языка как такового" [*Живов* 1995: 45]. В свою очередь, эта преемственность обеспечивается действием "двух нарративных механизмов: механизма ориентации на образцы и механизма семантической адаптации". Последний предполагает "интерпретацию специфических книжных элементов и конструкций (т.е. элементов и конструкций, не имеющих прямого соответствия в разговорном языке их автора) в тех семантических категориях, которые были автору доступны (прежде всего из его языкового опыта, связанного с разговорным языком)" [Там же: 46]. Действительно, семантическая адаптация книжных форм к живому языку может давать любопытные результаты. Так, например, ниже подробно рассматривается употребление простых претеритов, образованных от бесприставочных глаголов несовершенного вида (НСВ). В ранних восточнославянских текстах эти глаголы, *по-видимому*, употреблялись как недифференцированные в отношении вида (*см.* [Ружичка 1962]). Однако в XVII веке они уже, *безусловно*, включены в видовое противопоставление, и автор при употреблении данных форм учитывает их видовую семантику, что, в свою очередь, способствует переосмыслению форм аориста и имперфекта, их семантической дифференциации, при этом сами окончания аориста и имперфекта могут функционировать как своеобразные дейктические знаки (см. ниже).

Вместе с тем, если посмотреть на проблему с коммуникативной точки зрения, то станет ясно, что такой характер функционирования письменного языка, при котором он усваивается через посредство разговорного, диктует и здесь свои законы. Ведь, поскольку сведения, сообщаемые в новом тексте, представляют интерес для современников его автора, он стремится наиболее адекватно изложить информацию. Адекватность *в данном случае подразумевает* такое изложение событий, которое соответствует характерному для данного времени историческому сознанию, общей для автора и читателя "картине мира". Но для этих целей автору уже может не хватить того ограниченного диапазона формальных и семантических средств, который имеется в образцовых текстах. Иными словами, для того, чтобы текст был более понятен (в широком смысле) читателю, он должен быть более приближен к разговорному языку. В этом состоит одна из важнейших причин, по которой в последних частях поздней русской летописи основной формой нарратива становится л-форма вместо аориста. Так, можно заметить, что первоначально (в "средних" фрагментах летописи) экспансия л-форм происходит в значительной степени за счет глаголов с общефактическими значениями НСВ. Такие глаголы *абсолютно нехарактерны* для старых книжных текстов типа Повести временных лет (ПВЛ) в силу своей семантики: согласно Е.В. Падучевой [Падучева 1986], их употребление связано с "ретроспективной точкой отсчета" (см. ниже), а следовательно, в нашем случае, и с изменением отношения к истории, к прошлому. Ретроспективная же точка отсчета, по Падучевой, характеризует "речевой режим повествования" (в отличии от "нарративного"; см. ниже). Но общефактические глаголы не сразу появляются в л-формах – сначала они "маскируются" под аорист (NB не имперфект!), и лишь потом скидывают "личину".

Таким образом, использование одной лишь формы (а следовательно, и нарративной стратегии в целом) может быть обусловлено целым рядом серьезных факторов,

таких как изменение коммуникативной ситуации ("речевой режим"), изменение подхода автора к описываемым событиям ("ретроспективная точка отсчета"), изменение отношения к прошлому (см. ниже). Все они должны быть учтены при изучении лингвистического устройства летописи. В этом плане целесообразным представляется использование достижений лингвистики текста, поскольку, по словам Т.М. Николаевой, одно из ее направлений "выявляет содержательные компоненты, связанные с обеспечением правильной коммуникации и тем самым – правильного построения текста вообще... Выявляемые при этом смысловые различия относятся как к правилам логического развертывания содержания текста, так и к правилам прагматического характера, определяющим некоторый общий фонд знаний, общую для автора и воспринимающего "картину мира", без единства которой текст будет непонятен. Это относится к т. наз. **пресуппозициям**. Под текстом в данном случае понимается широкое контекстно-конситуативное коммуникативное окружение – существующее, подразумеваемое или создаваемое автором при желании воздействовать на воспринимающего" [Николаева 1990: 267].

Наиболее яркими чертами гетерогенности обладают поздние летописные памятники. В данной работе исследуется один из крупнейших летописных сводов первой трети XVII в. – Пискаревский летописец [ПСРЛ, т. XXXIV].

3. Пискаревский летописец (ПЛ) – памятник начала XVII века. Последняя запись в нем сообщает о воцарении Алексея Михайловича в 1645 году. Примерно этим временем датируется и написание рукописи ПЛ по палеографическим данным [Дианова 1976].

С 1431 по 1534 г. в ПЛ – пропуск: по словам самого летописца, "списать было не с чево, по великой нуже книги подлиной не было". "Прописаны" великое княжение Василия II (кроме начала), Ивана III и Василия III. Этот столетний разрыв в повествовании делит ПЛ на две части – до процитированной приписки писца и после. Первая часть представляет собой, по характеристике А.Н. Насонова, текст общерусского свода: она открывается ПВЛ с примесью известий, почерпнутых из новгородских источников [Насонов 1969: 360]. Что касается второй части, то, по наблюдениям О.А. Яковлевой, обнаружившей летописец, в основу описания событий XVI века положен текст, близкий к Никоновской летописи, а также "выписки, основанные на воспоминаниях некоего москвича", доходящие до 1615 г. [Яковлева 1955: 13].

4. В лингвистическом плане I и II части отчетливо различаются: в I части – преобладание простых претеритов над л-формами, во II – наоборот.

В свою очередь II часть по этому же признаку делится на два фрагмента: если первый представляет собой типичный гибридный текст, где л-формы чередуются с простыми претеритами (в соотношении примерно 3/1), то во втором л-формы становятся абсолютно доминирующей формой (ок. 90%). Его содержание – Смутное время, что, видимо, не случайно, поскольку, например, в Мазуринском летописце повествование о Смуте также отличается заметно меньшим количеством специфически книжных элементов.

Дальнейшая сегментация текста представлена в таблице 1 и будет аргументирована ниже. В таблицу вошли данные текста с л. 226 по л. 623. Весь текст делится на 14 фрагментов (I ч. – 9, II ч. – 5). Последний (четырнадцатый) фрагмент (Смута) не вошел в таблицу, поскольку он требует особого рассмотрения. Таблица состоит из десяти столбцов (не считая крайнего слева, в котором указаны номера фрагментов). В нее включены данные относительно простых претеритов (аорист, имперфект) и л-форм. Для всех форм учитывается характер видовой основы; простые претериты делятся также на образованные от приставочных и от бесприставочных основ. В дальнейшем для удобства столбец, в который включены данные об аористе от приставочной основы совершенного вида (СВ), будет называться первым, и далее по порядку.

В целом вся статья посвящена истолкованию статистических данных, представленных в таблице. В основу сегментации положены два основных принципа: цельность

содержания фрагмента и относительное единообразие его лингвистических характеристик (второе часто связано с первым).

I часть

I – лл. 226–313
II – лл. 314–342 ("Сказание о Мамаевом побоище")
III – лл. 342–355 ("О взятии Московском...")
IV – лл. 355–367
V – лл. 367–386 (Житие Дмитрия Донского)
VI – лл. 386–398
VII – лл. 399–408 ("О приходе Темир-Аксаце")
VIII – лл. 408–412 ("О епископе Стефане Пермском")
IX – лл. 413–480

II часть

X – лл. 486–536
XI – лл. 536–543 ("О пожаре во граде Москве")
XII – лл. 543–606
XIII – лл. 607–623 ("Царьство царя Бориса Федоровича Годунова")
XIV – лл. 624–681 (Смута)

Таблица 1

№ ФР.	ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ								Л-ФОРМЫ	
	ПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				БЕСПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				СВ	НСВ
	СВ		НСВ		СВ		НСВ			
	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.		
Абсолютные цифры										
I часть										
I	647	0	0	10	70	0	47	15	43	5
II	196	0	0	5	31	0	14	20	13	6
III	119	0	0	7	7	0	3	44	1	0
IV	122	0	0	1	17	0	11	5	16	6
V	58	4	3	13	5	0	2	37	1	1
VI	130	0	2	1	16	0	7	2	3	2
VII	46	0	0	0	2	0	3	2	2	0
VIII	27	0	0	1	2	0	1	7	1	1
IX	434	0	6	11	53	0	46	23	37	37
II часть										
X	23	0	1	1	7	0	1	0	165	52
XI	56	0	0	0	4	0	3	0	27	6
XII	35	1	0	0	0	0	5	1	102	15
XIII	60	2	0	1	14	0	10	5	245	61
Проценты										
I часть										
I	76,4%	0%	0%	1,2%	8,3V	0%	5,5%	3,0%	5,0%	0,6%
II	68,8%	0%	0%	1,8%	10,9%	0%	4,9%	7,0%	4,6%	2,1%
III	65,7%	0%	0%	3,9%	3,9%	0%	1,7%	24,3%	0,6%	0%
IV	68,5%	0%	0%	0,6%	9,6%	0%	6,2%	2,8%	9,0%	3,3%
V	46,8%	3,2%	2,4%	10,5%	4,0%	0%	1,6%	29,8%	0,8%	0,8%
VI	79,8%	0%	1,2%	0,6%	9,8%	0%	4,3%	1,2%	1,8%	1,2%
VII	83,6%	0%	0%	0%	3,6%	0%	5,5%	3,6%	3,6%	0%
VIII	67,5%	0%	0%	2,5%	5,0%	0%	2,5%	17,5%	2,5%	2,5%
IX	67,0%	0%	0,9%	1,7%	8,2%	0%	7,0%	3,5%	5,7%	5,9%

Таблица 1 (окончание)

№ ФР.	ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ								Л-ФОРМЫ	
	ПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				БЕСПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				СВ	НСВ
	СВ		НСВ		СВ		НСВ			
	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.		
II часть										
X	9,2%	0%	0,4%	0,4%	2,8%	0%	0,4%	0%	66,0%	20,8%
XI	58,3%	0%	0%	0%	4,2%	0%	3,1%	0%	28,1%	6,3%
XII	22,0%	0,6%	0%	0%	0%	0%	3,1%	0,6%	64,2%	9,4%
XIII	15,0%	0,5%	0%	0,3%	3,5%	0%	2,5%	1,3%	61,6%	15,3%
Всего в I и II частях										
	Абсолютные цифры									
I часть	1779	4	11	49	203	0	134	165	117	59
II часть	174	3	1	2	25	0	19	6	539	134
	Проценты									
I часть	70,6%	0,2%	0,4%	1,9%	8,0%	0%	5,3%	6,5%	4,6%	2,3%
II часть	19,3%	0,3%	0,1%	0,2%	2,8%	0%	2,1%	0,7%	59,7%	14,8%

5. Как видно из таблицы, из всех представленных в ней форм прошедшего времени в I части ПЛ наиболее "нагруженными" являются четыре: аорист от приставочных основ СВ, аорист от бесприставочных основ СВ, аорист и имперфект от бесприставочных основ НСВ.

5.1. Бесприставочные простые претериты, составляющие в I части более 20% всех форм прошедшего времени, имеют наибольшую функциональную нагрузку: сюда относятся глаголы и СВ, и НСВ, и аорист, и имперфект. В свою очередь, НСВ оказывается здесь "весомее", чем СВ: от основ НСВ образуются как имперфект, так и аорист, тогда как от основ СВ – практически только аорист (если не считать особых случаев, о которых ниже). Визуально это можно представить следующим образом (Таблица 2):

Таблица 2

Прист. основы / Бесприст.	СВ	НСВ
аорист		
имперфект		

Примечательно, что функциональное соотношение основ с указанными характеристиками обратно пропорционально количественному соотношению образованных от них форм (т.е. приставочных глаголов в 4 раза больше, чем бесприставочных, а глаголов от основы СВ в 6 раз больше, чем от основы НСВ).

6. Эта ситуация в основном совпадает с тем, что обнаружил Р. Ружичка в ПВЛ: "Многие глаголы, которые в современном русском, украинском и белорусском языках прочно закреплены за каким-либо видом, в языке ПВЛ могли употребляться то в одном, то в другом виде" [Ружичка 1962: 309]. После перечисления пяти групп таких

глаголов Ружичка замечает: "В общем, здесь идет речь о бесприставочных глаголах". Исследователь объясняет "двойственное" употребление приведенных им глаголов тем, что "как в старославянском языке, так и в раннем древнерусском эти глаголы еще не были охвачены категорией вида, что они должны быть охарактеризованы для этой эпохи как немаркированные в отношении вида" [Ружичка 1962: 312–313][1]. Это предложение не противоречит теории Ю.С. Маслова о происхождении славянского вида [Маслов 1961]. Однако исходное состояние глагольной системы, отраженное в ПВЛ, очевидно, отличалось от того, которое имеет место в XVII в., когда писался ПЛ: "двойственное" употребление уже не могло опираться на живой язык, поскольку в нем бесприставочные глаголы уже были включены в видовое противопоставление. Поэтому в рассматриваемое время формы, образованные от основ глаголов этого типа, чтобы сохраниться в письменном языке, должны были подвергнуться определенному переосмыслению, а именно: их употребление, в свою очередь, могло быть семантически дифференцированным в отношении вида.

7. Наиболее показательны в этом отношении формы аориста и имперфекта, образованные от бесприставочных основ НСВ. Рассмотрим подробнее данную оппозицию (см. таблицу 3, повторяющую 7-ой и 8-ой столбцы таблицы 1):

Таблица 3

Бесприставочные основы	
НСВ	
аорист	имперфект

Этот раздел глагольной системы очень важен, поскольку сюда относятся, во-первых, почти все встречающиеся в тексте имперфекты, а во-вторых, относительно широко представленный, но довольно загадочный аорист от бесприставочных основ НСВ.

Относящиеся сюда лексемы делятся на три группы: а) встречающиеся только в аористе; б) только в имперфекте; в) и в аористе и в имперфекте. Наибольший интерес представляет, конечно, третья группа (в), но надо заметить, что, по-видимому, любой бесприставочный глагол НСВ, в принципе, может употребляться и в аористе, и в имперфекте, и если этого не происходит, то либо из-за отсутствия соответствующего контекста, либо в связи с трудной совместимостью лексического значения глагола и значения аориста или имперфекта. Ниже приводится список бесприставочных глаголов НСВ, встретившихся в тексте:

(а)	(б)	(в)
видети	*болети*	*бежати*
волочити	*боятися*	*бити*
вредити	*бранити*	*велети*
гнати	*бывати*	*вести*
гонити	*владети*	*воевати*
горети	*водити*	*глаголати*
двигатися	*возити*	*держати*
делити	*высокомышляти*	*ездити*
ехати	*имети*	*жаловатися*
имати	*искати*	*ждати*

[1] Поскольку существование вполне сформировавшейся категории вида в период написания ПЛ не подлежит сомнению, то перед нами, очевидно, один из самых ярких примеров действия "механизма преемственности" [Живов 1995: 47].

(а)	(б)	(в)
ковати	*кидати*	*жити*
кончати	*кипети*	*звати*
лежати	*лазити*	*идти*
нести	*лити*	*любити*
пети	*молитися*	*мочи*
пребывати	*негодовати*	*мучити*
пророчествовати	*нуждати*	*плакати*
свещати	*ожидати*	*пускати*
сидети	*падати*	*служити*
слышати	*помогати*	*стояти*
смотрети	*помышляти*	*творити*
царьствовати	*просити*	*ходити*
целовати	*прощати*	*хотети*
	рыдати	
	сечи	
	скорбити	
	скрежетати	
	страшитися	
	стреляти	
	трепетати	
	трястися	
	тужнети	
	учити	
	шататися	
	шибати	
	хракати	
	хоронити	
	являтися	

Всего в группе (а) – 23 лексемы (27,4%), (б) – 38 (45,2%), (в) – 23 (27,4%). Глаголов, которые могут употребляться в аористе (группы (а) и (б)) больше, чем глаголов, встречающихся т о л ь к о в имперфекте.

Что объединяет группы (а) и (в), включающие глаголы, которые м о г у т употребляться в аористе? Можно отметить наличие в них глаголов, указывающих на положение или размещение субъекта в пространстве: стояти, лежати, сидети, бежати, ходити, идти, ездити, ехати. Видимо, употребление этих глаголов в аористе объясняется тем, что, в силу своего лексического значения, в определенных контекстах они могут и обычно д о л ж н ы обозначать процессы и состояния, л о к а л и з о в а н н ы е в о в р е м е н и. Если при таком глаголе стоит обстоятельство времени, задающее границы протекания действия, то, как правило, он употребляется в аористе. Вот примеры двух глаголов из группы (а) (*лежати* и *сидети*):

л. 281 "Бысть чюдо на Москве у гроба чюдотворца Петра: некая жена *лежа два года* без ног, и принесоша ю к целебному гробу святителя Христова Петра, и вскоре исцеление получи".

л. 531 "лета 7052-го преставися князь Дмитрий Андреевич углецкой... шестидесяти лет, а *сиде* в железех в тыну *54 лета*".

По-видимому, то, что эти два глагола не встретились в имперфекте, объясняется тем, что они всегда употребляются с обстоятельством времени[2].

Однако данное распределение касается лишь немногих перечисленных выше

[2] То же самое можно сказать и о следующей паре слов: л. 78 "...*При том пророчествоваша* Иеремия и Варух, Ахаз *царьствова лет 80 и месяц*". Царствование Ахаза точно локализовано во времени: в свою очередь, Иеремия и Варух пророчествовали во время его царствования.

глаголов движения и состояния. В большинстве случаев такой закономерности не наблюдается. Об этом свидетельствует большинство глаголов из группы (в). Ниже приведены примеры их употребления в тексте. В каждом примере один и тот же глагол стоит в аористе и в имперфекте.

1. ***Стояти***. В статье, озаглавленной "О втором походе Ольгердове к Москве" (л. 301), автор так описывает обстоятельства осады: "А князь велики затворися во граде, а Олексей митрополит в то время бе в Нижнем, а князь Володимер собрався с силою *стояше* в Перемышле". В конце же статьи летописец подытоживает: "А *стоя* (Ольгерд. – *П.П.*) у Москвы 8 дней". Ср. статью "Смоленское побоище" (л. 364), где также описываются обстоятельства осады, но не как констатация факта, а в момент, предшествующий разворачиванию главных событий: "И *стояху* смоляне под городом Мстиславлем 11 дней, не успеша ничто же"[3].

2. ***Плакати***. (л. 266) "И приехав посланнии поведаше, яко князь Михаил избиен бысть, и *плакахуся* много неутешно".

(л. 394) "И тако тогда велики князь, любве раде иже к нему на погребение его, зжалився по нем, прослезися и тако плака на много час".

3. ***Мучити***. (л. 264) "Поидоша ратью к городу Мстиславлю... и идуще *воеваху* землю Литовскую, а кого где изымавше, нещадно *мучаху* различными казнми..." ("Смоленское побоище").

(л. 276) "Тое же зимы выде изо Орды митрополит Феофрост, *мучиша* бо его во Орде, а рекущи: "Давай дань полетную". Он же не вдасть, и посули посула 600 рублев".

4. ***Воевати***. Имперфект см. в предыдущем примере.

(л. 308) "Того же лета князь Андрей Ольгердович полотский *воева* Ховрачь да Родень. А князь Володимер взя Ржеву".

5. ***Бежати***. (л. 345) "И бывши распре межу ими велице: [овии] с рухлядью вметающеся во град, а друзии из града *бежаху* ограблении суще" ("О взятии московском...").

(л. 299) "Того же лета князь велики Дмитрей собра воя много и посла на князя Михаила Тверскаго. Он же *бежа* в Литву...".

6. ***Ждати***. (л. 309) "А князь Михаило того дня не бьяше челом великому князю, *ждаше* бо себе помочи от литвы..." ("О походе ко Твери").

(л. 304) "Князь Михаил и послаша послов к новгородцем: "Выдайте ми тех, кто моих побил". И *жда* от них мира долго" (= не дождался).

7. ***Идти***. (л. 294) "В лето 6871 князь великий Дмитрей Ивановичь *иде* с Москвы в Володимер з братьею".

(л. 311) "В лето 6884 в Новограде в Великом река Волхов [идяше] 7 дней навспять, по третье лето уже так *идяше*".

(л. 467) "Того же лета снег паде на землю, *иде* три дни и 3 нощи, и паде его на 4 пяди, и потаял".

В ряде примеров (3, 4, 5, 6) можно отметить следующую закономерность: если глагол включен в нарративную цепочку последовательно сменяющих друг друга во времени действий, он стоит в аористе, длительное же действие, одновременное с другими действиями, передается имперфектом[4] . Тем не менее, очевидно, что это распределение проводится не последовательно (ср. примеры 1, 2). Отсюда возникает необходимость в поиске каких-то других факторов, влияющих на выбор формы. Так,

---

[3] Пример с тем же глаголом в нарративной цепочке действий: л. 357 "И стоя церковь и образ на том месте седмь лет, и згоре та церковь от свещи... и поставиша иную церковь".

[4] Данной проблемы коснулась в упомянутой выше статье Э. Кленин, отметившая, что "prefixed verbs of motion...occur in the aorist, but not in the imperfect. Unprefixed verbs of motion occur in the aorist and in the imperfect, but in different contexts: whereas the aorist marks a single completed event involving undirectional motion, the imperfect determined verb is durative and refers to action in progress" [Klenin 1995: 82].

Э. Кленин пишет: "Aorist/imperfect preference may also be controlled by the distributive character of the activity: the icon heals one supplicant in the aorist, but heals many sick people over many years in the imperfect, and bishop weeps in the aorist, but all the peole of the household weep in the imperfect" [Klenin 1995: 83]. Действительно, как показывают некоторые примеры из ПЛ, Ольгерд "стоя у Москвы", а смоляне "стояху... под городом"; люди "плакахуся много неутешно", а князь "плака на много час". Однако критерии оценки в данном случае еще более условны, чем при разграничении законченного и длительного действия. Тем более не приходится говорить ни о каких четких правилах.

Видимо, для того, чтобы не попасть в порочный круг, необходимо понять принципиальный характер этой условности: одно и то же действие, в одной и той же ситуации (контексте) трактуется как более длительное, "массовое", если оно передается имперфектом, и как более "компактное", более четко локализованное во времени, если оно передается аористом. Форма имперфекта как бы "усиливает" значение глагола, подчеркивает продолжительность и важность обозначаемого им действия. Иными словами, сама по себе форма аориста и имперфекта может использоваться в качестве своеобразного м о д и ф и к а т о р а глагола. При этом автор текста выступает в роли и н т е р п р е т а т о р а, имеющего возможность по-разному представлять (трактовать) одно и то же действие и использующего с этой целью соответствующие традиционные книжные формы.

8. Указанные особенности функционирования простых претеритов определенно указывают на то, что в употреблении форм аориста и имперфекта могла иметь место семантическая дифференциация. Кроме того, функционирование этих форм в качестве глагольного модификатора указывает на важное отличие древнерусской литературной нормы от современной. Ведь если само окончание аориста или имперфекта могло служить модификатором соответствующего глагола, значит, в этом случае другие, обычные модификаторы, такие как наречие или обстоятельственный оборот, становились избыточными. Отсюда в летописном тексте многочисленные примеры, где глагольные предикаты употребляются без каких-либо обстоятельств или средств синтаксической связи (так сказать, автономно), в то время как современная литературная норма в подобном контексте требует их присутствия. Так, в следующих примерах имперфект, образованный от бесприставочной основы НСВ, неожиданно, на первый взгляд, появляется в нарративной цепочке, состоящей из аористов СВ:

(л. 412) "Того же лета князь Олег рязанский приде ратью к городу Любутьску, граждане же *затворишася и бьяхуся* с ними из города".

(л. 265) "И взяша князя Михаила и удариша им сильно и повергоша на землю и *бьяху* нещадно".

Ср. также в Мазуринском летописце сообщение о посольстве за 7124 г.: "Послы же *стояху и поидоша* от Смоленска, и посольство их не сталось" (ПСРЛ, т. XXXI, л. 269).

Такие конструкции воспринимаются сейчас как аномальные, так как без обстоятельств времени и/или каких-либо других синтаксических или лексических средств, указывающих на логическую последовательность действий (типа "*долгое время* стояли, а *потом* пошли", "затворились, и *начали* биться"), они содержат в себе, с точки зрения нынешнего читателя, противоречие и могут быть истолкованы как: "продолжая стоять, пошли", "затворились и одновременно бились из города". То, что составитель летописи не только не видел в этом недоразумения, но, возможно, наоборот, употреблял данные конструкции как специфически книжные, вероятно, было связано с особым статусом (особой семантикой) рассматриваемой группы имперфектов от непредельных глаголов: будучи как бы имперфективами в квадрате (НСВ, непосредственно обусловленный лексической семантикой глагола, плюс имперфект, усиливающий эту семантику, дающий ей формально-книжное выражение), эти формы выражают подчеркнуто-длительное непрерывное действие и в силу этого как бы з а м к н у т ы н а с а м и х с е б е.

Наличие аналогичной особенности демонстрирует и аорист от бесприставочной основы НСВ в следующем примере:

л. 390 "И в некое время царь поеде на утеху и видяше ерея блуд творяше со женою, и бияще его нещадно. И как пребываше царь на одре своем, *виде* ту икону на престоле, перстом указывая ему и претяще ему...".

Здесь также следовало бы ожидать перед глаголом "пребываше" или вместо него какой-нибудь глагол СВ, обозначающий переход к новому "положению вещей": царь "на утехе" ⇒ царь "на одре своем". Но, в отличие от предыдущих примеров, форма "пребываше" здесь не замкнута на себе и слабо связана с предыдущим контекстом: она, по выражению Э. Кленин, "look forward", т.е. служит фоном для следующей глагольной формы "виде". Именно этот последний глагол является событийным центром высказывания, его смысловой "вершиной".

9. Итак, употребление форм аориста и имперфекта могло быть семантически дифференцированным. Пишущий использовал эти формы для обозначения своей трактовки описываемых событий. Иными словами, в ы б о р ф о р м ы и м е л с о д е р ж а т е л ь н у ю н а п р а в л е н н о с т ь. Неслучайно поэтому, что преимущественное употребление одной из форм могло быть связано с определенными т и п а м и н а р р а т и в а, т.е. с текстами, имеющими традиционную содержательную и языковую специфику. Так, по данным таблицы, наибольший процент имперфектов в I части ПЛ встречается в трех группах текстов: 1) описания различных бедствий, моров и т.д.; 2) описания войны, особенно осады города (ср. воинскую повесть); 3) жития святых. В I фрагменте, например, большинство приставочных имперфектов НСВ связано с описанием "мора" (ср.: "хракаху людие кровию", "умираху", "не успеваху бо живыи мертвых опрятывати"). Рекордное количество имперфектов всех видов находим в V фрагменте – житии Дмитрия Донского: приставочный аорист СВ составляет здесь всего 46,8% (процент бесприставочного аориста СВ также в два раза ниже среднего в I части – 4%), бесприставочные и приставочные имперфекты НСВ составляют здесь соответственно 29,8% и 10,5%. Несмотря на относительную величину последней цифры (в 10 раз выше среднего в I части), еще раз подтверждается незаменимая роль именно бесприставочного имперфекта НСВ в рассматриваемом типе текстов. Кроме того, только здесь обнаруживается приставочный имперфект СВ – 4 формы[5] и приставочный аорист НСВ (в плане общей экспансии НСВ в этом фрагменте) – 3 формы. Имперфект, естественно, передает здесь семантику многократного повторяющегося действия: Дмитрий "князя руския области своей крепляше, вельможам своим тихоуветлив в наряде бываше, никого же не оскорбляше, в младых словесы наказаше и всем вдоволь подоваше, к требующим руце простираше".

Следующие по количеству имперфектов – III, VIII и II фрагменты: соответственно, повесть "О взятии московском...", житие Стефана Пермского и "Сказание о Мамаевом побоище". Пример из повести "О взятии московском...": "Егда бо татарове приступаху близ стен градных, тогда граждане стрегущии града и супротивящиися им овии стрелами стреляху со заборол, ови камением шибаху на нь, друзии же тюфяки пущаше на них, а инии самострелы напинающе пущаху, и пороки пущаху, и инии великии пушки пущаху".

Ясно, что преимущественное или частое употребление имперфектов в перечисленных выше трех типах контекстов объясняется потребностью передать длительность и многократную повторяемость действий, о которых идет речь; иногда летописец придает многократный характер даже тем действиям, которые по сути не могут быть таковыми, например, Данило Феофанович "служаше государю... и *голову свою складаше* по чюжим странам, по незнаемым местом, по неведомым местом...".

Из общего числа имперфектов в I части ПЛ более половины принадлежит фрагментам II, III, V и VIII, где батальные и агиографические сюжеты занимают значительное место.

---

[5] Формы следующие: *потечаше, помиловаше, наказаше, востаяше.*

10. Фрагментами со стандртным содержанием могут быть признаны, например, I, IV и VI. Процентное соотношение глагольных форм в них примерно одинаковое. Процент бесприставочных имперфектов НСВ – в 2 и более раз ниже, чем средний в I части. Остальные цифры приблизительно соответствуют средним по I части, кроме – л-форм СВ в IV фрагменте. Их здесь в два раза больше среднего (9%). Это связано с тем, что в данном фрагменте, особенно в тексте, озаглавленном "Како ходи князь велики к Новугороду к Великому", встречается множество клишированных выражений, связанных с официальным (дипломатическим) языком: через них-то в основном и проникают в текст л-формы, например:

л. 362 "Тогда же предиреченные послы новгородцкие, ехав на Понеделье, *добили челом* великому князю Дмитрею Ивановичу за Великий Новгород и *мир взяли по старине*. А за винные люди *докончали* за воложан и кто в путь с ними ходил, и тех, за кем *князьчина залегла*, 8000 рублев и черной бор князю великому с них взяти"[6].

11. Заканчивая разбор I части ПЛ, необходимо особо отметить IX фрагмент, так как он по ряду очень существенных показателей отличается от предшествующего текста и представляет собой в определенном смысле как бы переходное звено между I и II частями ПЛ.

Характерна сама структура этого фрагмента: в основном он состоит из коротких отрывочных сообщений, не связанных друг с другом по содержанию, например: "Тое же зимы царь Шадибек убил царя Тахтамыша в Сибирской земли". Многие сообщения строятся по следующей модели: краткий заголовок (выделенный киноварью) плюс краткое сообщение. Это напоминает принцип подачи новостей в телепрограммах. Вот перечень заголовков некоторых сообщений, следующих друг за другом: "О Вознесении" (т.е. о церкви Вознесения), "О Одуеве", "О великой княгине преставлении", "О Пскове", "О великих князей брани", "О рязанских князех", "О пожаре ростовском", "О Швитригайле, о князех литовских", "О тверских князех" и т.п. Вероятно, они служат не столько заголовками, сколько границами между разными сообщениями.

Бросается в глаза различная география "новостей". Очевидно, это обусловлено тем, что у составителя летописи появилась возможность доступа к большому числу источников, и притом из самых разных мест. Но повествование в таком виде просто теряет смысл, становится аморфным. Несомненно, тут возникает необходимость в поиске новых принципов построения текста и подбора материала для повествования, т.е. новой нарративной стратегии. Если же учесть, что хронологически этот фрагмент

---

[6] Вобще, особенности функционирования л-форм и простых претеритов – отдельная тема. Так, вопреки распространенному мнению о том, что оппозиция "простые претериты/л-формы" соответствует оппозиции "высокое/низкое", их употребление во II части ПЛ, где л-формы преобладают, позволяет предположить, что в данном тексте использование простых претеритов связано с моральной оценкой в о о б щ е, и в особенности с н е г а т и в н о й оценкой, с осуждением. На это указывают многочисленные примеры, где действия "злодеев", преступников передаются аористом, а государя – л-формами. Возможно также, что л-формы как бы выделяют действие самого великого князя среди прочих, являются его своеобразной "привилегией". Например, роль "лихих людей" в истории отношений Ивана Грозного и Елены Глинской с Андреем Старицким летописец характеризует так:

л. 500 "И к тому приставша лихие люди и навадиша на князя Андрея великому князю, а князю Андрею сказаша на великого князя, что хочет его князь велики поимати". – Далее описываются действия Грозного и Елены, их встреча с Андреем Старицким, – все в л-формах, – и снова козни "лихих людей": (л. 500) "И к тому *приставша лихие люди и начаша сказывати* на князя Андрея великому князю, что князь Андрей *хочет бежати*".

Еще пример: л. 531 "Тоя же зимы декаврия в 29 день князь велики Иван Васильевич всеа Русии, не мога терпети, что бояре безчиние и самовольства чинят без великого князя веления своим советом единомышленных своих советников, многие убийства сотвориша и многие неправды земле учиниша в государевре младости, и великий государь велел поимати первово советника их князя Андрея Шуйского и веле его предати псарем. И псари взяша и убиша его...".

С подобными же контекстами связаны и многие "аористные островки", например, небольшой текст "О опришнине" с ее явным осуждением (снова виноваты "лихие люди"). Ср. еще замечание летописца после записи крестного целования бояр Василию Шуйскому:

л. 655 "Во всем том солгаша и крестное целование преступиша и наипаче записи солгаша: постригли и с царицею в Литву королю в холопи отдаша лета 7118 июля 17 день".

относится к концу XIV – началу XV в., т.е. ко времени создания первых общерусских летописных сводов, то можно предположить, что данный тип текста представляет собой один из первых ("экспериментальных") подходов к созданию общерусского свода, в условиях, когда фактический материал более или менее доступен, но нет единой идеологической доктрины, способной его упорядочить.

Лингвистические параметры IX фрагмента приводятся ниже в сопоставлении с соответствующими данными по предыдущему тексту (см. таблицу 4):

Таблица 4

№ ФР.	ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ								Л-ФОРМЫ	
	ПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				БЕСПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				СВ	НСВ
	СВ		НСВ		СВ		НСВ			
	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.		
I–VIII	71,8%	0,2%	0,3%	2,0%	8,0%	0%	4,7%	7,6%	4,3%	1,1%
IX	67,0%	0%	0,9%	1,7%	8,2%	0%	7,0%	3,5%	5,7%	5,9%

Самое существенное отличие IX фрагмента – увеличение л-форм почти до 12%. Но и другие (в определенной мере связанные с предыдущим) показатели заслуживают не меньшего внимания. Это: 1) уменьшение количества приставочных аористов СВ; 2) увеличение количества приставочных аористов НСВ; 3) увеличение количества бесприставочных аористов НСВ и – что самое интересное – 4) разительное уменьшение количества бесприставочных имперфектов НСВ и, соответственно (как на качелях), 5) увеличение количества л-форм в 6 раз! Последние два пункта особенно интересны, поскольку аналогичное явление отмечено В.М. Живовым в Мазуринском летописце, а именно: "л-формы вытесняют имперфект в несколько большей степени, чем аорист" [Живов 1995: 61]. Следовательно, явление, о котором идет речь, – не случайность.

Но для того, чтобы разобраться в этом, нужно сначала отдельно рассмотреть ситуацию с простыми претеритами в ПЛ. В нижеследующей таблице (см. таблицу 5) указано их процентное соотношение в I–XIII фр. (сначала идут абсолютные цифры, затем проценты, указывающих на долю каждого класса в общем числе простых претеритов):

Таблица 5

№ ФР.	ПРОСТЫЕ ПРЕТЕРИТЫ							
	ПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ				БЕСПРИСТАВОЧНЫЕ ОСНОВЫ			
	СВ		НСВ		СВ		НСВ	
	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.	АОР.	ИМП.
I–VIII	1345	4	5	38	150	0	88	142
IX	434	0	6	11	53	0	46	23
X–XIII	174	3	1	2	25	0	19	6
I–VIII	80,4%	0,2%	0,3%	2,3%	9,0%	0%	5,3%	8,5%
IX	75,7%	0%	1,0%	1,9%	9,2%	0%	8,0%	4,0%
X–XIII	75,7%	1,3%	0,4%	0,9%	10,9%	0%	8,3%	2,6%

Как видно, данные IX фрагмента иногда соответствуют аналогичным изменениям во II части и даже как бы "предвосхищают" их, но иногда расходятся с ними и

отличаются любопытным своеобразием, поскольку во II части серьезные коррективы в распределение простых претеритов вносит обильное присутствие л-форм (ок. 75%).

Итак, приведенная выше таблица 5 демонстрирует следующие особенности функционирования простых претеритов в ПЛ.

1) Количество форм, принадлежащих к самому многочисленному первому столбцу таблицы 5, уменьшается почти на 5% в IX—XIII фрагментах.

2) В X—XII фрагментах резко увеличивается количество приставочных имперфектов СВ, которые в I части встречаются лишь в житии Дмитрия Донского. Это говорит об увеличении ошибок.

3) В IX фрагменте вдруг заявляет о себе третий столбец таблицы 5: его показатель достигает 1%. Все 6 относящихся сюда форм образованы от основ НСВ с общефактическим значением, причем все эти глаголы, по терминологии Е.В. Падучевой [Падучева 1986], двунаправленные: 5 из них — *приходи(ша)*, 1 — *приступа*. Своеобразие этих форм заключается в том, что их можно в определенной мере считать "переходными": они практически не встречаются в "старых" летописных памятниках типа ПВЛ (I—VIII фрагменты ПЛ), поскольку этот тип текста в принципе исключает появление форм прошедшего несовершенного с общефактическим значением; в текстах же типа II части ПЛ общефактические глаголы, напротив, становятся едва ли не одной из основных форм прошедшего времени, но здесь указанные формы сменяются л-формами. Таким образом, "расцвет" форм типа *приходи(ша)* можно приблизительно отнести к XV веку, т.е. ко времени создания первых общерусских летописных сводов в Северо-Восточной Руси, о чем свидетельствует не только IX фрагмент ПЛ, но и такой памятник, например, как Софийская I летопись по списку Царского (ПСРЛ, т. XXXIX).

Тот факт, что аорист НСВ используется для передачи "аористического" (по А.В. Бондарко) частного значения прошедшего НС, еще раз говорит о том, что древнерусский автор осмысленно употреблял глагольные формы.

Кроме того, появление форм типа *приходи(ша)* — это очень важный сигнал о радикальном изменении характера повествования не только с формальной стороны, но и в плане прагматики, на чем я постараюсь подробнее остановиться ниже.

4) Все фрагменты объединяет одна общая тенденция: количество имперфектов от основ НСВ, как приставочных, так и бесприставочных, резко падает (приставочные: 2,3% ⇒ 1,9% ⇒ 0,9%; бесприставочные: 8,5% ⇒ 4,0% ⇒ 2,6%). Выше уже говорилось, с чем это связано. Однако примечательно то, что в IX фрагменте количество имперфектов от бесприставочных основ НСВ по сравнению с I—VIII фрагментами падает более, чем в 2 раза, тогда как количество имперфектов от приставочных основ НСВ остается практически на том же уровне. Можно даже сказать, что на фоне общего уменьшения количества имперфектов роль и место приставочных НСВ в глагольной системе IX фрагмента становятся более "видными" в прямом и переносном смысле. Автор IX фрагмента свободно образует имперфекты от приставочных основ НСВ, т.е. от *предельных* глаголов. Видовая характеристика глагола является для него важнейшим фактором в выборе формы претерита, а все прочие факторы, в том числе фактор традиции, ограничивавшей, как говорилось выше, употребление имперфектов определенными типами нарратива и предписавшей образовывать их преимущественно от непредельных глаголов (бесприставочных), отходят на второй план.

Вообще, IX фрагмент отличается на фоне прочих фрагментов исключительной правильностью в образовании и функционировании глагольных форм. Так, например, здесь не встретилось ни одной (ошибочной) формы имперфекта от приставочной основы СВ (в X—XIII фрагментах — 1,3). Третий столбец таблицы лишь подтверждает это наблюдение, так как представленные в нем формы, в силу своей явной осмысленности и регулярности, не могут быть признаны случайными, т.е. ошибочными. В целом, IX фрагмент наиболее близок к идеальной модели гибридного текста, в

котором формы аориста и имперфекта являются производными, соответственно, от основ СВ и НСВ (см. [Живов 1995]).

Поскольку в ПЛ почти весь текст за XV век отсутствует (IX фрагмент — лишь его начало, а дальше сразу идет царствование Ивана Грозного, где текст принципиально иной), интересно было бы исследовать те летописи, где текст за XV век сохранился полностью, причем в наиболее адекватном виде, например, недавно изданную Софийскую I летопись по списку Царского.

12. Как уже отмечалось выше, одна из основных особенностей IX фрагмента — использование форм прошедшего НС с общефактическим значением при пересказе событий прошлого. Чем объясняется такое изменение в нарративной технике? Для того, чтобы понять это, необходим небольшой экскурс в современную лингвистику текста.

Как известно, современная теория времен, основоположником которой является Х. Рейхенбах, оперирует тремя понятиями: событие, момент речи и момент референции, соотнесения, т.е. позиция ("точка отсчета", "точка зрения"), с которой наблюдатель рассматривает событие. "Последний, — по словам Ю.С. Маслова [ЛЭС: 89], — может совпадать с моментом события (например, в простом прошедшем времени английского языка, в будущем времени), или с моментом речи (в английском языке Present Perfect), или с тем и другим моментом сразу (в настоящем времени) или не совпадать ни с тем, ни с другим (например, в плюсквамперфекте, в котором все три момента выстраиваются в последовательность E—R—S (Event—Reference—Speech. — *П.П.*))".

Эта концепция активно используется в настоящее время в лингвистике текста. Так, Ю.С. Маслов в статье под названием "Время" [ЛЭС: 89] отмечает: «Перспективно рассмотрение категории В. с позиции лингвистики текста, основанное на отграничении эпического повествования от других видов сообщений. Предшественником этого подхода был А. Белич, выделивший сферу "синтаксического индикатива", в котором употребление всех форм В. соотнесено с реальным моментом речи, и сферу "синтаксического релятива", в которой прошлое как бы полностью отрешено от реального настоящего и изображается само по себе. Э. Бенвенист разграничил "план речи", использующий во французском языке все времена, кроме "аориста" (passe simple), и все три грамматические лица, и "план истории", использующий только "повествовательные" времена (во французском языке — аорист, имперфект, плюсквамперфект, конструкцию "J'allait partir", но не сложный перфект) и — в чистом случае — только 3 лицо ед. и мн. ч.[7] Х. Вайнрих на материале ряда романских и германских языков разработал концепцию, соответственно противопоставляющую времена "обсуждаемого" и времена "повествуемого" мира (besprochene und erzählte Welt)».

Е.В. Падучева ввела понятие "режим интерпретации", в котором различаются "речевой режим" и "нарративный". "Режим интерпретации" непосредственно связан с моментом реферации, или, по терминологии Падучевой, "точкой отсчета". В статье "Семантика вида и точка отсчета (В поисках инварианта видового значения)" исследовательница пишет: «Фраза "На стене справа висела картина" допускает два понимания: одно с синхронной точки зрения (картина находится перед глазами наблюдателя в описываемый момент в прошлом), актуально-длительное, а другое — с ретро-

---

[7] Исторический план сообщения, в настоящее время закрепленный за письменным языком, характеризует повествование о событиях прошлого. Следует также подчеркнуть эти три термина — "повествование", "событие", "прошлое". Речь при этом идет о передаче фактов, происшедших в определенный момент времени, без какого-либо вмешательства в повествование со стороны говорящего. Чтобы быть зафиксированными как уже происшедшее, эти факты должны принадлежать прошлому. Лучше было бы сказать, по-видимому, так: с того момента, как факты зарегистрированы и переданы в историческом плане сообщения, они тем самым характеризуются как прошлое. Историческая целевая установка составляет одну из важнейших функций языка; эта функция сообщает языку особые временные характеристики...» [Бенвенист 1974: 271—272].

спективной (говорящий понимает, что *когда-то* висела картина, но в описываемый момент не висит), общефактическое» [Падучева 1986: 415]. Вежбицка называет актуально-длительное значение НСВ (в противоположность общефактическому) синхронным (the contemporaneous meaning). Об этом последнем Е.В. Падучева пишет: «В предложении (1) "На стене справа висела картина" с синхронной точкой отсчета при прошедшем времени глагола категория времени имеет вторичную функцию. В самом деле, нормально ситуация с глаголом в прошедшем времени предшествует моменту речи, а если точка отсчета совпадает с моментом речи, то и точке отсчета. Синхронная точка отсчета в (1) возникает в силу того, что можно назвать *нарративным режимом* повествования. Нарративный режим (эпический стиль) характеризуется тем, что отношение текста к речевой ситуации, а следовательно, и к моменту речи для него не существует... Прошедшее время в нарративном режиме выполняет чисто дейктическую функцию "отстранения" времени персонажей от реального времени автора» [Там же: 416].

Под ретроспективными значениями НСВ подразумеваются общефактические частные значения НСВ: "Все так называемые общефактические значения НСВ — это значения, возникающие в контексте ретроспекции" (по Падучевой, эти значения: непредельное, двунаправленное и нерезультативное). "При СВ точка отсчета всегда ретроспективна по отношению к ситуации, обозначаемой глаголом" [Падучева 1986: 415].

Итак, в нарративном режиме прошедшее время НСВ не означает предшествования. Если же мы вновь обратимся к ПЛ, то увидим, что явная экспансия форм прошедшего НС в IX—XIV фрагментах обусловлена увеличением количества глаголов НСВ с ретроспективными (т.е. общефактическими, а не синхронными) значениями (на данную связь указал В.М. Живов [Живов 1995: 74]). Причем это касается всех форм, образованных от основы НСВ, — как простых претеритов, так и л-форм.

Отсюда следует важный вывод: не только проникновение в текст л-форм обуславливает экспансию НСВ (как справедливо отмечает В.М. Живов [Живов 1995: 69]), но есть и обратное влияние: употребление л-форм обусловлено потребностью выразить новые, необычные для традиционного книжного текста смысловые категории. Имеющие место изменения связаны не столько с формальной стороной функционирования глагольной системы, сколько с переменой "точки зрения" автора. Свои предположения о том, чем, в свою очередь, обусловлена эта перемена "точки отсчета", и какие историко-культурологические выводы отсюда можно сделать, я постараюсь изложить ниже.

13. В IX фрагменте общефактическое значение имеют: 1) все аористы от приставочных основ НСВ (как уже говорилось, все 6 глаголов — двунаправленные); 2) более половины аористов от бесприставочных основ НСВ (наиболее частые: *ходи(ша), езди(ша), еха(ша)*; 3) все без исключения л-формы НСВ [наиболее частые лексемы: *ездити, приезжати, посылати, ходити, приходити, видети, целовати (крест)*].

Все аористы НСВ, естественно, образуются от соответствующих л-форм простым отбрасыванием конечной *л*. При этом семантика остается неизменной. Значительная часть аористов СВ (особенно приставочных) образуется таким же способом, ср. формы: *отъеха, приеха, убежа, продаша* и т.п. Они также "наследуют" семантику л-форм — перфективную. Так, после рассказа о чудесном рождении Василия III летописец замечает: (л. 460) "Мне же о сем Стефан диакон сказа, а о прежнем пророчении старца Дементей печатник, а ему сказаша, поведа великая княгиня Мария". Семантические различия между простыми претеритами и л-формами стираются: они функционируют как варианты.

Имперфекты в IX фрагменте в основном имеют синхронное значение[8].

---

[8] Есть лишь редкие исключения, например: (л. 427) "*Знамение*. В лета 6910 месяца марта *являшеся* на западе в вечернюю зорю звезда немала копейным образом...". Выбор имперфекта, видимо, обусловлен здесь многократностью действия, так как ниже летописец отмечает: "юже (звезду. — *П.П.*) видехом (1 л!) по 12 дний и тако восходящу и сияющу" (при ретроспекции, по Падучевой, противопоставление по кратности нейтрализуется).

Все перечисленные особенности IX фрагмента очевидным образом связаны с тем, что он весь, как говорилось выше, состоит из коротких отрывочных сообщений. В рамках данной нарративной стратегии требуется как можно короче излагать информацию. С этой точки зрения очень удобны двунаправленные глаголы. Ведь один такой глагол содержит как бы краткий текст, "историю", например, *приходи(л)* значит "N пришел, был некоторое время в L и ушел обратно". Один интересный пример как бы сталкивает два способа изложения событий — традиционный и тот, что мы находим в IX фрагменте:

л. 478 "В лета 6937 *приходиша* татарове к Галичу, града не взяша, а волости повоеваша. На крещении же *приидоша* изгоном на Кострому и попленивши *отъидоша* на низ Волгою".

Глагол "приходиша" как будто снабжается толкованием на манер Вежбицкой или Мельчука; "приидоша ⇒ отъидоша". Семантическая "компактность" двунаправленных глаголов умело используется летописцем; к той информации, которая в них заложена, обычно прибавляется лишь краткий "комментарий" (ср. структуру теле- и газетных новостей). Примеры:

л. 442 "*Князь Констянтин Дмитреевичь ходи псковичем на помощь* (киноварью. — *П.П.*). Тое же зимы псковичи приходиша к великому князю просити помощи на немцы, и посла к ним брата своего Констянтина Дмитриеевича, и пребысть там мало не весь год в Пскове".

л. 417 "*Княгини великая Софья была у отца Витофта* (киноварью). Тое же зимы княгиня великая Софья Васильевна Дмитреевича ездила в Смоленск к отцу своему к великому князю Витофту и к матери своей и з детьми своими и з бояры многими. И пребысть тамо две недели и отпущена бысть честно и со многими дары".

Итак, имеющие место в IX фрагменте ПЛ изменения в нарративной стратегии позволяют рассматривать его как своеобразное переходное звено между теми типами текстов, которые мы находим в ПЛ до него и после (именно поэтому ему уделено особенно пристальное внимание). Эти изменения проявляются как в употреблении определенных грамматических форм, так и в общей структуре текста, причем они непосредственно обусловлены "макроструктурными" изменениями в тексте: переменой "точки зрения" автора на описываемые события и соответствующей переменой "плана сообщения" (Бенвенист), или "режима повествования" (Падучева). В частности, на уровне глагольных предикатов эти изменения требуют введения в текст нового класса глаголов НСВ — общефактических глаголов. А поскольку глаголы этого класса, как правило, отсутствовали в текстах, служивших для пишущего образцом, именно они чаще всего попадают в разряд л-форм в тексте с преобладанием простых претеритов (типа того, который находим в IX фр.). Тем больший интерес представляют собой формы типа *приходи(ша)*: во-первых, то, что к глаголу НСВ с общефактическим значением (т.е. со значением законченного действия) пишущий "присоединяет" окончание а о р и с т а, — еще один аргумент в пользу гипотезы о наличии семантической дифференциации в употреблении простых претеритов; во-вторых, эти формы можно рассматривать как "переходные" в ряду: *приде* ⇒ *приходи* ⇒ *приходил*, где первая форма — наиболее характерная для предшествующих девятому фрагментов, а последняя — для последующих.

14. Таким образом, если в IX фр. формы типа *приходи/приходил* функционируют как равнодопустимые варианты (ср.: л. 475 "*Ходи Витофт на Псков. О Опочках* (киноварью). Того же лета князь великий литовский Витофт ходил на Псков со многими силами..."), то во II части ПЛ выбор уже окончательно сделан в пользу второго варианта. Перехожу к ее рассмотрению.

Во второй части различаются: 1) X—XIII фрагменты, где простые претериты составляют более четверти всех форм прошедшего времени и 2) XIV фрагмент (Смута) — менее 10% простых претеритов.

В X—XIII фрагментах практически на равных функционируют три формы прошед-

шего времени: л-форма, аорист и настоящее историческое. Так, в рассказе "Поход царя и великого князя к Казани" (л. 556—565) л-формы составляют 65%, аорист — 24,5%, настоящее историческое — 10,5% (!), имперфект — лишь 1% (2 формы от бесприставочной основы НСВ). В указанной статье Е.В. Падучева отмечает: "Парным к нарративному прошедшему является настоящее историческое, которое тоже не выражает отношения совпадения с моментом речи" [Падучева 1986: 416], т.е. функционирует в "нарративном режиме". Из основ НСВ (их здесь 23,4%) половина принадлежит л-формам, половина — настоящему историческому; они могут иметь как актуально-длительное, так и общефактическое значение. Их функции в тексте (the discourse function) совпадают, т.е. фактически они функционируют как варианты. Красноречивы следующие два примера:

л. 559 "И князь велики по вся ночи ездил по полком: *назирает*".

л. 564 "И как *выезжает* к Москве, и тут его *встречают* народы без числа, кричаху: "Многа лета царю благочестивому!...".

Эти примеры демонстрируют функциональное тождество и взаимозаменимость трех форм НСВ: имперфекта, л-формы и настоящего исторического.

Тем не менее, можно выделить некоторые характерные для настоящего исторического контексты. Так, по-видимому, оно может употребляться в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть важность какого-то события. Например, родословный список русских князей предваряется эпизодом призвания варягов:

л. 598 "Лета 6369-го некий воевода Новагорода Великого именем Гостосмысл скончавает (!) житие свое, и в та лета нача во граде быти межусобица и кровь проливатися. И созывает наугородцов и рече им...".

Вообще, арсенал выразительных средств становится более разнообразным, например, встречается синтаксический эллипсис:

л. 556 "В большом полку князь Иван Мстиславской да князь Михайло Воротынской и по иным полком воеводы".

Ср. описание "боевого порядка" русских полков при осаде Казани: (л. 557) "А на Арском стати большому полку да передовому, а правой руке за Казанию, а сторожевому полку на усть Булака, а левой руке выше его". Временами текст совсем близок к разговорному языку: (л. 557) "И тут ис Казани выласка, и стали стреляти по полком".

Своеобразно оживлять повествование может и настоящее совершенное в потенциальном значении (по А.В. Бондарко):

л. 658 "И как де свет *пойдет* к верху, ино де *осветит* верх весь и всю церковь, а как де свет *пойдет* книзу, ино де *осветит* помост весь церковной".

15. Изучая языковую специфику летописи, закономерности в изменении нарративной стратегии, нельзя обойти стороной вопросы, касающиеся прагматики текста. Так, в частности, во II части ПЛ заметны существенные изменения в структуре речевых актов, передающих последовательность действий.

Как указывает Тойн А. Ван Дейк, "по-видимому, есть основания считать, что действия и последовательности действий имеют иерархическую структуру (курсив ван Дейка. — *П.П.*). То, что на одном уровне — цели, интерпретации или описания — представляет собой последовательность действий, на другом уровне может считаться одним более общим действием, включающим целую систему условий и возможностей" [van Dijk 1974: 290]. Действительно, способ представления действия или последовательности действий во II части ПЛ явно отличается от того, который находим в первых фрагментах летописи. Однако в нашем случае, видимо, можно утверждать, что способ представления действия органически связан с представлением о времени как таковом, характерным для пишущего как представителя определенной культуры и мировоззрения, и в силу этого является существенной частью его "картины мира" (поскольку ясно, что в летописи, ввиду ее гетерогенности, могут быть представлены разные "картины мира").

А.Я. Гуревич дает такие характеристики раннесредневековому представлению о

времени: «скачкообразность... протекания, нечеткое понимание последовательности временных моментов, вещественное осознание времени, сопряженное с отсутствием абстракции "время"» [Гуревич 1984: 152] (эти черты характерны, по Гуревичу, и для "примитивного" искусства). К подобному заключению пришел и И.Г. Еремин после изучения ПВЛ. Мышление ("путь") летописца он описывает так: "От одного единичного факта к другому, от фрагмента к фрагменту; время — единственная активная категория его исторического сознания — исключало для него возможность прагматического синтеза" [Ерёмин 1966: 75].

Такую же картину мы в основном находим и в I части ПЛ. Но уже в IX фрагменте "прагматический синтез" вполне возможен. Как уже говорилось, несколько действий, составляющих одно событие, например роспись церкви или пожар, может "раскладываться на составляющие":

л. 432 "О *благовещеньи* (киноварью). Тое же весны *начаша* подписывати церковь Благовещенье на великого князя на дворе первую, не ту, иже ныне стоит, да и *скончаша*".

л. 470 "Того же лета Москва город погоре месяца августа во 18 день, в *полночь загорелося*, а на завтра о полудни преста гореть".

Во II части количество подобных примеров еще более увеличивается:

л. 495 "Воеводы же королевы от Готья *пошли* к Стародубу, а *пришли* к Стародубу месяца июля со всем королевым нарядом...". В больших количествах появляются фазовые, особенно начинательные, глаголы. Так, в рассказе о создании ополчения в Нижнем Новгороде во время польской интервенции глагол *почати* составляет ровно половину от всех форм прошедшего времени (15 из 30-ти). Доминирующая конструкция здесь — *почати* + инфинитив. В зависимости от способа действия глагола в инфинитиве и от выбора автора могут реализовываться различные варианты:

1) в случае с непредельным глаголом, как правило, отмечается начало состояния: "почал голод быти великой";

2) с предельным глаголом: а) указывается только начальная фаза действия, а достижение результата как бы подразумевается, например: "И почал (Минин) в Новгороде казну избирати з гостей и с торговых людей" ⇒ (собрал) ⇒ "и почал давати ту казну бедным людем";

б) особо указываются и начало действия, и достижение результата: "И почали всем градом выбирати к тем людем воеводу. И выбрали... князя Дмитрея Михайловича Пожарского".

16. Каждое значительное событие излагается здесь подробно и а н а л и з и р у е т с я. Но анализирование обязательно требует хотя бы скрытого (за кадром) присутствия того, кто анализирует. Следовательно, еще одна отличительная черта II части — это принципиально новое представление об авторстве. В отличие от повествования, относящегося, по Бенвенисту, к плану истории[9]; в данном тексте явно ощущается присутствие внешнего наблюдателя, рассказчика, очевидца описываемых событий.

17. По мнению Т.А. ван Дейка, "важную прагматическую функцию выполняет не только внутренняя структура отдельного предложения, но и структура всей последовательности связного текста в целом" [van Dijk 1975: 315]. Исследователь полагает,

---

[9] По сути дела, в историческом повествовании нет больше и самого рассказчика. События изложены так, как они происходили по мере появления на исторической арене. Никто ни о чем не говорит, кажется, что события рассказывают о себе сами" [Бенвенист 1974: 276].

Между прочим, в этом смысле два "плана сообщения", или два "режима повествования" очень напоминают обратную и линейную перспективы в живописи: в первом случае художник находится как бы внутри картины, или, лучше сказать, он вообще отсутствует как наблюдатель, имеющий собственную "точку зрения"; во втором же случае живописец и зритель отделены от изображаемого, "точкой отсчета" для живописца становится он сам, его собственный взгляд, соответственно, изображение строится исходя из его индивидуального видения.

что то или иное отображение в текст некоторого порядка следования фактов "среди прочего, определяется факторами, связанными с тем, что попадает в фокус в процессе формироания высказывания" [Там же: 308]. Для монологической речи выделяются следующие три фактора:

A. порядок следования фактов

B. порядок следования процессов наблюдения/восприятия/понимания

C. порядок следования знания/передачи информации.

По ван Дейку, "факторы A и B имеют семантическую природу, фактор C — прагматико-семантическую или контекстно-семантическую... Фактор A касается отношений между фактами, а также порядка их следования друг за другом в некотором возможном мире. При отображении этого порядка в текст образцом служит некоторый *нормальный порядок* (курсив ван Дейка. — *П.П.*)" [van Dijk 1975: 308]. Отсюда "нормальным" считается "отображение, сохраняющее порядок следования фактов".

"Фактор B... вовлекает в рассмотрение эпистемологический аспект восприятия и понимания. Дело в том, что структура наших познавательных процессов, по-видимому, не может полностью определяться порядком следования фактов как таковым: важно то, каким их порядок представляется нам..." [Там же: 309]. В силу этого, "порядок наших наблюдений и/или нашей интерпретации отношений между фактами в свою очередь тоже может находиться в факусе нашего сообщения..." [Там же: 309]. Этот порядок ван Дейк называет "эпистемическим"; "в противном случае (т.е. когда порядок восприятия нерелевантен) эпистемический порядок совпадает с действительным (который считается нормальным)" [Там же: 309—310].

Представляется, что приведенные выше наблюдения могут оказаться очень полезными при лингвистическом изучении древнерусских письменных памятников вообще, и летописных в частности. Так, Э. Кленин считает, что для древнерусского нарративного текста нормальным было совпадение порядка следования фактов и порядка наблюдения, отсюда строго линейная последовательность высказываний; при этом основное время нарратива — аорист (ср. концепцию Бенвениста [Бенвенист 1974]). Соответственно случаи употребления перфекта связываются с разного рода нарушениями этого нарративного принципа. Таким образом, система глагольных форм прошедшего времени и ее функционирование связываются с разными типами последовательности предложений, отсюда же выводятся значения аориста и перфекта для соответствующего периода, ср.: «resultative and non actual perfects, in spite of their evident differences, share a discourse function that distinguishes them from the aorist: whereas the aorist is the OR narrative tense par excellence, linking chains of events into a single, uniform sequence, the perfect resists such inclusion in the narrative chain, but rather presents events in, roughly, a "summary" form, inviting the hearer to review events either already stored in memory or, if new, then immediately available for achronological processing». Ниже Э. Кленин отмечает, что перфект "has... a tendency to present events not as they occurred in time but as they are reviewed in memory, in an apparently non linear mode of mental processing" [Klenin 1993: 333—334].

Если в Лаврентьевской летописи, которой посвящено исследование Э. Кленин, случаи нарушения "нарративного" порядка следования фактов единичны, то в последних частях ПЛ, напротив, именно такие "нарушения" ставятся нормой, то есть порядок изложения фактов определяется (по ван Дейку) факторами B и C. Выше, в IX фрагменте, мы уже сталкивались с одним из проявлений этого, наблюдая, как активно автор использует в повествовании общефактические (особенно двунаправленные) глаголы. Как уже отмечалось, эти глаголы позволяют излагать события более "компактно", а это возможно потому, что они как бы "забегают вперед", заранее сообщая исход того события, о котором подробнее идет речь впереди.

Другие случаи употребления л-форм в IX фр. также, как правило, встречаются в тех последовательностях предложений, где порядок наблюдения не совпадает с порядком следования фактов, например:

л. 431 *"О архиепископе Иванне* (киноварью). Того же лета Киприян митрополит

отпусти в Новгород Ивана архиепископа, а был на Москве в поимании 3 лета и месяць 6, а сидел в монастыре у Николы у Старово. Того же лета июля во 8 день Киприян митрополит поеха в Литву к Витофту да и на Киев."

л. 445 "*Царь Шадибек в Смоленске* (киноварью)... Князь же Юрьи сослался з горожаны, а они не можаху терпети насильства от поганых ляхов и предашася князю Юрью, отвориша ему город, а в граде сидел тогда от Витофта князь Роман Михайловичь дбрянский, и наместницы Витофтовы поимаша, князя жь Романа убиша и бояр побиша дбрянских и смоленских, которые князя Романа не хотели, а княгиню Романову и дети отпустиша."

В приведенных примерах очевидно значение "фактора В". Однако в процессе формирования данных высказывании не меньшую роль играет и "фактор С", тоже подразумевающий, по ван Дейку, «некоторый "нормальный" порядок, однако на этот раз он должен основываться не на порядке самих фактов или порядке их интерпретации говорящим, но на его представлениях о содержании системы знаний слушающего, а именно: первым говорится то, что слушающему уже известно» [van Dijk 1975: 310—311].

В поздних частях летописи влияние фактора С обнаруживается на нескольких уровнях.

Во-первых, в большинстве случаев, где перфект встречается в нарративном ряду аористов, "нарушая" этот ряд, начиная с древнейших текстов (см. [Klenin 1993, примеры 1—9]) и кончая такими поздними как ПЛ, перфект, как правило, стоит в придаточном предложении, а по ван Дейку "сам факт появления некоторой информации в придаточном предложении указывает на то, что эта информация является пресуппозицией" [van Dijk 1975: 311] (прагматической, т.е. известна как говорящему, так и слушающему). Так, в последнем примере пресуппозицией придаточного "которые князя Романа не хотели" является суждение о том, что существовали бояре, враждебно настроенные к князю Роману.

Во-вторых, как уже отмечалось при разборе IX фрагмента, в нем активно используются выделенные киноварью заголовки. Но ведь эти заголовки тоже являются не чем иным, как средством указания на те знания, которые уже имеются у читателя и которые он должен извлечь из своей памяти, прежде чем читать соответствующий отрывок. Так, заголовок "О архиепископе Иванне" предполагает, что читателю известно, кто такой архиепископ Иван. Таким образом, система знаний читателя входит как бы составной частью в структуру самого текста, определяет эту структуру, и это, безусловно, крайне важный момент.

Наконец, в-третьих, можно констатировать, что летописец идет в этом направлении еще дальше, так как расширенное употребление общефактических глаголов, их претензии в некоторых случаях стать полноправными нарративными формами наравне с глаголами СВ обнаруживает у автора тенденцию представлять все излагаемые события как уже известные читателю. Дело в том, что, согласно А. Вежбицкой, на глубинном уровне семантики СВ связан с определенным артиклем, а НСВ — с неопределенным [Wierzbicka 1967]. При этом, как утверждает Х. Вайнрих, "функция определенного артикля состоит в направлении внимания на пред-информацию, а неопределенного — на пост-информацию" [Weinrich 1971: 386]. "В тексте не может быть слишком много показателей нового, поэтому число определенных артиклей намного превышает число неопределенных" [Николаева 1978: 24—25]. Между тем, если отнести сказанное к глаголам НСВ, то станет ясно, что в ПЛ начиная с IX фрагмента "слишком много показателей нового". Вывод состоит, по-видимому, в следующем: по замыслу автора, отсутствие внутритекстовой пред-информации компенсируется у того, кому предназначен текст (у читателя), наличием внетекстовой пред-информации, т.е. некоторой актуальной для данного периода времени суммы знаний о мире.

Итак, в последнем (IX) фрагменте I части и во II части ПЛ нарративная стратегия претерпевает следующие принципиальные изменения: во-первых, изменение "точки

отсчета" (по Падучевой) с "синхронной" на "ретроспективную" (ср. фактор В по ван Дейку); во-вторых, радикально меняются прагматико-семантические характеристики текста: в отличие от "исторического плана сообщения" (по Бенвенисту), где нет ни говорящего, ни слушающего, структура и содержание данного типа текста определяется с учетом общей для пишущего и читающего суммы знаний: как правило, сначала идет отсылка к уже известной информации, затем добавляется новая (ср. фактор С по ван Дейку).

18. Вместе с тем, очевидно, что указанные серьезные изменения в нарративной стратегии должны иметь и более глубокие историко-культурологические причины.

Рассмотрим пример, в котором говорится о подкопе, примененном литовцами при осаде города Стародуба. Летописец объясняет неудачу защитников города так:

л. 496 "А того лукавства подкапывания не познали, что (= потому что) наперед того в наших странах не бывало подкапывания".

Это простое на первый взгляд замечание необычайно интересно. Ведь фактически здесь летописец (рассказчик) как бы "от первого лица" обращается к своим современникам. Он словно говорит им: для нас с вами сейчас "подкапывание" — обычная вещь, нормальный военный прием, применяющийся при осаде города, но в те времена, в начале XVI века, подкопы не были еще широко известны, и потому могли застать осажденных врасплох.

Такого рода примеры, а их можно найти во II части ПЛ сколько угодно, демонстрируют принципиально иное отношение к истории, к прошлому, нежели то, которое известно из "старых" летописей типа ПВЛ. Вместо прежнего фрагментарного анналистического принципа изложения, имевшего лишь условную начальную "точку отсчета" — сотворение мира, — летописец обретает реальную, "фиксированную" точку отсчета (без кавычек), исходя из которой он может рассматривать исторический материал, и этой точкой отсчета является его же, летописца, настоящее, его сегодняшний день. Прошлое для него интересно прежде всего тем, чем оно отличается от настоящего и чем настоящее ему обязано. Он выделяет в нем те моменты, которые знаменуют начало нового (современного летописцу) порядка вещей и конец старого. Отсюда часто встречающиеся глаголы с суффиксом *-ива-/-ыва-*, образованные от основы НСВ и обозначающие действие, закончившееся до некоторого момента в прошлом ("давнопрошедшее"), например:

л. 513 "И начаша з бояры говорити: "И наперед того за грехи наши попущал Бог бусурменсво на християнство, цари под городом Москвою *стаивали*, а великие князи в городе не *сиживали*".

л. 619 "А прежде сего московские цари и великие князи в такие дальние земли рати не *посылывали*, ни казны своей на подмогу не *давывали*" ("О посольстве в Грузинскую землю").

То же значение может иметь и обычный глагол НСВ:

л. 487 "Тое же зимы маия 20 повелением великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и его матери великой княгини Елены зделан бысть на Москве град земляной по тому месту, где ж *мыслил* отец его князь велики Василей ставить Китай".

л. 577 "А жил Семион на Взрубе за Встретинием, где Розстрига *жил*".

Иногда эту же функцию может выполнять и "русский плюсквамперфект" (с некоторым оттенком конечной несостоятельности действия, о котором идет речь):

л. 657 "Да при том же царе и великом князе Василье Ивановиче Шуйском 114 году поставлен Гермоген, патриарх московский и всеа Русии, на место Игнатия патриарха гречина, которово *был поставил* Розстрига Гришка Отрепьев в 113 году".

Времена "Розстриги" для автора этого отрывка — уже прошлое, поэтому "русский плюсквамперфект" совпадает здесь по значению с древнерусским плюсквамперфектом. Но чаще он имеет другое значение: действие, которое кто-то намеревался совершить, но не совершил.

Например: л. 611 "*О Святая святых* (киноварью) Того же году царь и великий

князь Борис Федорович *замыслил был* делать "Святая святых" в Большом городе Кремле на площади за Иваном Великим. И камень, и известь, — все было готово, и образец был древяной зделан по подлиннику, как составляетца "Святая святых", и вскоре его смерть застигла".

Но и в таком случае употребление этой формы связано с ретроспективной точкой зрения, поскольку повествователю заранее известен результат предпринятых усилий.

"Русский плюсквамперфект" занимает более заметное место в глагольной системе II части ПЛ, чем в глагольной системе I части: в XIV фрагменте, например, он составляет более 1% от всех форм прошедшего времени.

Все перечисленные глагольные формы — итеративные, обычные НСВ и "русский плюсквамперфект" — объединяет одно: все они обязательно подразумевают наличие внешнего наблюдателя, который рассматривает события прошлого из своего сегодня, т.е. (во всех смыслах) с точки зрения своего "сегодня".

Примечателен такой случай. Фразу: "А кровь льетца и до нынешнего дни 121-го, а вперед Бог весть" (л. 651) составитель ПЛ счищает (как отмечают издатели) и пишет: "А кровь лилася после того до сто двадесят первого году", — чье-то настоящее стало прошлым, точка отсчета сместилась.

Такая картина в принципе отлична от того, что мы находим, например, в ПВЛ: ее автор в силу своего мировоззрения не мог излагать события так, будто ему заранее известен результат каждого из них. По мнению И.П. Ерёмина, автор ПВЛ прежде всего решал вопрос о происхождении добра и зла [Ерёмин 1966]. Но борьба добра со злом происходила в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Время не может остановиться. Одна из наиболее распространенных метафор времени в средневековье — река, поток. "В этой реке или потоке человеческого рода, — пишет Августин, — две вещи идут вместе: зло, проистекающее от праотца [Адама], и добро, установленное Творцом" (цит. по [Гуревич 1984: 126]). Настоящее вообще не имеет для средневекового человека большого значения. А.Я. Гуревич характеризует отношение к нему так: «По сравнению с "первоначальным временем" — временем Библии, непреходящим, вечно длящимся Временем, — земное, текущее время бренно. Это "время явлений", а не "сущностное время", и потому оно не самостоятельно"; "истина не подвластна времени, не становится полнее в ходе его» [Гуревич 1984: 131]. Потому и летописец не может выступать в роли судьи, не может свысока смотреть на прошлое.

Совершенно иную картину мы видим в позднем русском летописании. Настоящее — серьезно, значительно и незыблемо. Именно оно делит бесконечную прямую времени на два "луча" — прошлое и будущее; оно — твердая почва под ногами у летописца. Аналогичную ситуацию в Византии С.С. Аверинцев характеризует словами "настоящее остановлено". «Перед нами, — пишет исследователь, — официальная идеология "благоверной государственности", принимающая сама себя вполне всерьез"; "имперфект" человеческой истории, — пишет он далее, — да и библейской "священной истории", не столько "прошедшее", сколько проходящее время, заменяется снятым и готовым "перфектом" извечного божьего решения, заменяется стоящим настоящим литургии, но также имперской идеологии, которая готова отнести апокалиптические пророчества о тысячелетнем царстве мира к сбывшейся, осуществившейся еще при Константине христианской государственности"; "эсхатологическое будущее подменено политическим настоящим» [Аверинцев 1977: 98—99].

В России подобные идеологические тенденции воплотились в концепции "Москва — третий Рим", ставившей превыше всего власть царя и государство. Государство стремилось подчинить себе и историю, и само время. В книге "Россия времени Ивана Грозного" А.А. Зимин и А.П. Хорошкевич пишут: «Общероссое летописание полностью стало государственным делом. Его вели теперь в государеве дворце, под руководством близких к царю Алексея Адашева и Ивана Висковатого. Сам царь участвовал в этом, "переписывая" историю в связи с новыми политическими катаклиз-

мами. Летопись становилась хроникой придворных событий, войн и дипломатических приемов, основанной на материалах государственного архива, превращаясь в свод выдержек из посольских и разрядных книг» [Зимин, Хорошкевич 1986: 161]. Никоновский свод те же авторы характеризуют так: "Созданный по непосредственному распоряжению царя, свод содержал историю человечества от библейских времен до его царствования, он увековечивал и прославлял власть русских самодержцев, незыблемую до конца мироздания" [Там же: 169].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверинцев С.С. 1977 — Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.

Бенвенист Э. 1974 — Общая лингвистика (перев. с франц.). М., 1974.

Гуревич А.Я. 1984 — Категории средневековой культуры. М., 1984.

Дианова Т.В. 1976 — К вопросу о времени создания рукописи Пискаревского летописца // Летописи и хроники. М.Н. Тихомиров и летописеведение. М., 1976.

Ерёмин И.П. 1966 — Повесть временных лет как памятник литературы // Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М., 1966.

Живов В.М. 1995 — Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // RLing. 1995. № 19.

Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. 1982 — Россия времени Ивана Грозного. М., 1982.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Маслов Ю.С. 1961 — Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961.

Насонов А.Н. 1969 — История русского летописания XI — начала XVIII века. М., 1969.

Николаева Т.М. 1978 — Лингвистика текста. — Современное состояние и перспективы (Вступит. статья) // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.

Николаева Т.М. 1990 — Лингвистика текста // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Падучева Е.В. 1986 — Семантика вида и точка отсчета // ИАН СЛЯ. 1986. № 5.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I—XXXIX. СПб.; М., 1841—1994.

Ружичка Р. 1962 — Глагольный вид в "Повести временных лет" // Вопросы глагольного вида. М., 1962.

Яковлева О.А. 1955 — Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР. Т. II: Документы по истории XV—XVII вв. М., 1955.

van Dijk T.A. 1975 — Issues in the pragmatics of discourse. University of Amsterdam, 1975 (цит. по: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978).

Klenin E. 1993 — The perfect tense in the Laurentian Manuscript of 1377 // American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists. Bratislava, August — September 1993. Literature. Linguistics. Poetics. Columbus; Ohio.

Klenin E. 1995 — The verbal system of a seventeenth-century icon legend: morphology and discourse function // RLing. 1995. № 19.

Weinrich H. 1971 — The textual function of the French article // Literary style / Ed. by S. Chatman. N.Y.; Oxford, 1971 (цит. по: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978).

Wierzbicka A. 1967 — On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his 70-th birthday. V. 3 The Hague; P., 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. Е.М. БРЕЙДО

ИНТЕРВАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РУССКОЙ МЕТРИКИ

В данной статье дается систематическое формальное описание стиховой метрики, пригодное для компьютерного анализа текста. Главное требование предлагаемого подхода – системность, понимаемая в данном случае как полное описание метрической структуры в рамках одного набора параметров (о принципах полноты и универсальности в лингвистике см., например [Звегинцев 1977]). В этом отношении компьютерная модель, сделанная исходя из логики стиховедческой науки, а не с инженерной точки зрения, – редкая возможность строгого и точного описания языковой системы. В соответствии с поставленной задачей мы должны выделить параметры, характеризующие метрическую систему, и формализовать их.

Русскому языку свойственны три системы стихосложения – силлабическая, силлабо-тоническая и тоническая. Остановимся на двух последних, вернее, на процессе перехода стихотворных форм от силлабо-тоники к чистой тонике[1].

Напомним, что системы стихосложения различаются в зависимости от признаков, по которым сравниваются стихотворные строки. В силлабике строки сопоставляются по числу слогов, в тонике – по числу ударений, в силлабо-тонике – по числу стоп.

Стопа – повторяющееся сочетание сильного и слабых мест. Стопа в силлабо-тонике может быть двусложной (одно сильное место и одно слабое) и трехсложной (одно сильное место и два слабых). Число слогов в стопе постоянно.

В дольнике и тактовике тот же принцип (чередование сильных и слабых) был применен к стиху другой структуры (см. об этом [Гаспаров 1974]). Оказалось, что принцип работает, только вместо постоянной стопы мы получили переменные, хотя и регулярно повторяющиеся, группы сильных и слабых мест (доли, такты), вместо одного типа интервала между сильными местами (единица для двусложников и двойка для трехсложников) – несколько (два для дольника и три для тактовика).

Слоговой объем междуиктового интервала будем называть типом интервала. Как только что было сказано, дольник имеет два типа интервала – как правило, один и два слога, а тактовик три типа – чаще всего, один, два и три слога. Пользоваться термином "тип интервала" удобнее, чем словами "объем интервала", так как объемы интервалов внутри одной формы стиха могут меняться, а количество типов всегда постоянно. Так, дольник всегда содержит два типа междуиктового интервала, хотя сами интервалы бывают не только 1 и 2, но 2 и 3 слога, и даже 0 и 2, хотя и очень редко. Более того, если бы вдруг начали писать стихом с интервалами, например, 1 и 4 слога, он также был бы сочтен дольниками по родовому признаку – двум типам интервалов. Таким образом, термин тип интервала позволяет фиксировать универсальные, отличительные признаки стихотворной формы.

Такое понимание метрической формы несколько отличается от общепринятого, поскольку традиционно дольником принято считать просто стих с междуиктовыми

[1] Рассмотренная ниже модель и основанные на ней алгоритмы анализа текста не затрагивают силлабику, поэтому анализируемый текст прежде всего проверяется на силлабичность – подсчитывается число слогов в каждой строке и при подозрении на равносложность пользователю выдается запрос о принадлежности текста к силлабической системе. При положительном ответе дальнейший анализ прекращается.

интервалами 1 и 2 слога, а тактовиком стих с интервалами 1, 2 и 3 слога. Мы формализуем понятие интервала, выделяя из него два параметра: количество разных интервальных типов в тексте и собственно тип интервала. Первое служит для определения метрической формы в целом, второе – для уточнения этого определения, например, тактовик (1, 2, 3) или тактовик (0, 1, 2). Благодаря такой формализации параметра в нашей классификации определяются как равноправные маргинальные формы, например, такие как мандельштамовский логаэд "Сегодня дурной день" [дольник (2, 0)].

Используя силлабо-тонический подход для акцентного стиха, получим классификацию, построенную по одному принципу, от силлабо-тоники до чистой тоники (т.е. до границы с прозой). Также можно получить общий метод выделения разных групп стиха для систем стихосложения, основанных на чередовании сильных и слабых мест.

ДВЕ ГРУППЫ АКЦЕНТНОГО СТИХА

Следуя данному принципу, мы предположили, что в акцентном стихе существуют группы с разным количеством интервальных типов в тексте. Исследование проводилось на акцентном стихе В. Маяковского. В результате было выделено две группы, названные строгим и многоинтервальным акцентным стихом (см. [Брейдо 1996]). Одна группа – строгий акцентный стих – 71 стихотворение, 3420 строк, другая – многоинтервальный стих – 59 стихотворений, 2829 строк. Термин "строгий акцентный стих" заимствован у Дж. Бейли (по-английски strict accentual verse [Bailey 1976], но Дж. Бейли называл так тактовик, а мы, чтобы не вводить новых терминов, используем его для обозначения следующей промежуточной формы стиха). Покажем на примере, о чем идет речь[2].

По Красному морю плывут ***каторжане*** (Амф4) (В. Маяковский. Гимн судье.)

По Красному морю плывут ***разбойники.*** (Дк4)

По Красному морю плывут ***американцы.*** (Тк4)

По Красному морю плывут ***пуэрториканцы.*** [Акц(С)]

Мы переделывали строчку В. Маяковского, последовательно конструируя разные типы стиха. Первые три – известные метрические группы соответственно с одним (Амф), двумя (Дк), тремя (Тк) типами интервалов. (В нашем условном примере каждый раз добавляется новый тип интервала). В последней строчке появляется четырехсложный интервал – признак нового типа стиха.Строгим акцентным стихом мы называем стих с четырьмя типами интервалов (как правило, 1, 2, 3, 4), например:

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,
бухгалтер или бухгалтерова помощница,
Акц(С) ты, чье лицо от дел и тощищи
помятое и зеленое, как трешница.

(В. Маяковский. Теплое слово кое-каким порокам)

---

[2] Поясним принятые нами обозначения: Я – ямб, Х – хорей, Ан – анапест, Амф – амфибрахий, Д – дактиль, Дк – дольник, Тк – тактовик, Акц(С) – строгий акцентный стих, Акц(М) – многоинтервальный акцентный стих; стихотворные строки, укладывающиеся в определенные метрические формы и размеры, обозначаются так: Я4 – четырехстопный ямб, Амф4 – четырехстопный амфибрахий, Дк4 – четырехиктный дольник, Тк4 – четырехиктный тактовик и так далее. Ритмические элементы строки, важные для демонстрации какого-либо приема или явления, выделяются полужирным шрифтом. В ритмических схемах примеров используются следующие обозначения: . (точка) – ударный слог, цифра – число безударных слогов, например: 1.1.3.1.1 Здесь первая единица обозначает безударный слог перед ударением (в данном случае ямбическая анакруса), 4 точки – 4 ударных слога, последняя единица – безударный слог после последнего ударения (клаузула), остальные цифры обозначают число безударных слогов между ударениями. Приведенной схеме соответствует, например, такая строчка: *Мне снилась осень в полусвете стекол* (Б. Пастернак, Сон).

Ритмическая схема:
.1.1.4.1.1
1.4.4.2
.2.1.2.1
1.4.3.2

(В четверостишии есть междуударные интервалы четырех типов – 1, 2, 3, 4, но за пределы четырех слогов междуударный интервал нигде не выходит).

Многоинтервальный акцентный стих – стих с пятью и более типами интервалов:

Акц(М)

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище –
фигура знаменитого ученого.

(В. Маяковский. Гимн ученому)

Ритмическая схема:
1.4.4.1.
.6.3.1.2
2.7.2.2
1.3.3.2

(Диапазон междуударных интервалов здесь больше четырех, во второй и третьей строке появляются итервалы 6 и 7, причем вторая строка четырехударная, что позволяет считать ее полноударной формой, поскольку речь идет об акцентном стихе В. Маяковского (см. [Брейдо 1996]).

Дольник и тактовик достаточно хорошо описаны (см., например, ставшую уже классической монографию М.Л. Гаспарова [Гаспаров 1974]), поэтому не будем останавливаться на них подробно. Представим данные о формах стиха в виде следующей таблицы:

Таблица

	Силлабо-тоника		Промежуточные формы			Многоинтервальный акцентный стих
	Двусложник	Трехсложник	Дольник	Тактовик	Строгий акцентный стих	
Типы интервалов	1	2	0,1,2	0,1,2,3	0,1,2,3,4	0,1,2,3,4,5...
Количество типов интервалов в тексте	1	1	2	3	4	5 и более

Многоинтервальный акцентный стих здесь соответствует чисто тоническому или чистому акцентному стиху. Слово многоинтервальный подчеркивает, что мы рассматриваем его с точки зрения интервальной структуры, а не только количества ударений. Название промежуточные формы, может быть, не очень точно отражает суть дела. Дольник, тактовик и строгий акцентный стих – это формы т о н и ч е с к о г о с т и х а, метрически урегулированные и ощутимо отличные от прозы. Многоинтервальный стих выделен в отдельную группу, так как он расположен непосредственно на границе с прозой. Здесь кончается собственно стиховая ритмика и начинается общеязыковая.

ОПЕРАЦИИ РЕДУКЦИИ И НАРАЩЕНИЯ

Рассмотрим один из подходов к внутреннему устройству перечисленных форм стиха. Для этого нам понадобятся две логические операции, описанные ниже. Проведем мысленно простой эксперимент. Предположим, что у нас есть стихотворение, написанное амфибрахием. Как сделать из него дольник? Ответ прост: амфибрахий – трехсложный метр, т.е. стих с постоянным междуиктовым интервалом, равным двум, чтобы получить из него дольник, нужно редуцировать одно слабое место в междуиктовом интервале, и тем сделать его переменным – равным единице или двойке. Считается, что достаточно редуцировать примерно четверть строк стихотворения. Например, редукция может выглядеть так (фрагмент взят из стихотворения В. Маяковского "Эй!"):

Помчим поезда к берегам, **ну а** берег
Амф Забудем, качая тела в пароходах,
Наоткрываем десятки Америк, (Д)
В неведомых полюсах вынежим отдых.

(В этом четверостишии третья строка – дактиль, остальные – амфибрахий).

Ритмическая схема:
1.2.2.2.1
1.2.2.2.1
3.2.2.1
1.2.2.2.1

Помчим поезда к берегам, **а** берег
Дк Забудем, качая тела в пароходах,
Наоткрываем десятки Америк,
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Ритмическая схема:
1.2.2.1.1
1.2.2.2.1
3.2.2.1
1.2.2.2.1

Убрав один лишний безударный слог (слабое место) в первой строчке, мы сделаем ее дольниковой. (В действительности была сделана противоположная операция, так как исходный текст – дольник, но для нашего примера это несущественно). Назовем эту операцию **редукцией слабого места – R(∪)**. Трехсложная строка отличается от дольниковой (для дольника типа (1,2)) на одно слабое место (или, для русского языка, на один обычно безударный слог), а междуиктовый интервал такого дольника описывается двумя формулами: обычный междуиктовый интервал трехсложника и тот же интервал, уменьшенный на единицу. Получить из трехсложника тактовик можно противоположной операцией – добавлением одного слабого места (безударного слога) к двусложному междуиктовому интервалу, например:

Ан 3: *Полюбил, и не дал **бы со**вета.*

Ритмическая схема: 2.2.2.1

Тк 3: *Полюбил, и не спрашивал **со**вета.*
(С. Федорченко. Из цикла "Буковинские песни")

Ритмическая схема: 2.2.3.1

Назовем эту операцию **наращением слабого места – A(∪)**. Можно тем же способом получить тактовик, например, из дольника (В. Маяковский. Кофта фата):

Дк 4: *Я цветами нашью **их на** кофту фата.*

Ритмическая схема: 2.2.2.1.1

Тк 4: *Я цветами нашью **их Вам на** кофту фата.*

Ритмическая схема: 2.2.3.1.1

Аналогично получается и акцентный стих, например, из тактовика (для всех примеров, приведенных, ниже, использовались строчки Маяковского):

Тк 4: *А жен**щина со**ринки бросает – окурки.* операция

Ритмическая схема: 1.3.2.2.1 **A**(∪)

Акц(С): *А жен**щина поце**луи бросает – окурки.*

Ритмическая схема: 1.4.2.2.1

Тк 4: *Бросьте города, **ра**зумные люди.* операция

Ритмическая схема: .3.1.2.1 **R**(∪)

Акц(М): *Бросьте города, глупые люди.*

Ритмическая схема: .3..2.1

Или из дольника:

Дк 4: *На "Известиях" лежа, коте**нок** греется.* операция

Ритмическая схема: 2.2.2.1.2 **R**(∪)

Акц(М): *На "Известиях" лежа, щенок греется.*

Ритмическая схема: 2.2.2..2

Таким образом, очевидно, что с помощью операций редукции и наращения можно переходить от одной стихотворной формы к другой. Это означает, что зная интервальные формулы силлабо-тонических метров (с учетом возможных пропусков метрических ударений), можно легко написать такие формулы для несиллабо-тонических форм стиха. Решение этой задачи завершает построение интервальной модели русской метрики. Перейдем к ней.

МЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

Как следует из сказанного выше, задача распадается на две части: 1. Определение структуры междуударного интервала для силлабо-тонических метров; 2. Написание на их основе интервальных формул для несиллабо-тонической метрики.

Начнем с первой. Рассмотрим сначала двусложные силлабо-тонические метры – ямб и хорей. Метрический интервал для двусложников равен единице. Легко видно, что при пропуске метрического ударения безударными оказываются 3 слога: обычный междуударный интервал плюс двусложная стопа с пропущенным ударением. При следующем пропуске ударения добавляются еще 2 безударных слога и так далее. Отсюда легко возникает формула для расчета интервала: $i = 2n + 1$, где i – объем интервала (в слогах), 2 – величина стопы (2 слога), n – число пропущенных ударений, 1 – величина метрического интервала. Приведем пример (все примеры для демонстрации силлабо-тонических формул взяты из "Начальной поры" Б. Пастернака):

1) Я4: *Февраль! Достать чернил и плакать...* Ритмическая схема: 1.1.1.1.1 (Полноударная строка.)

2) Я4: *Писать о феврале навзрыд...* Ритмическая схема: 1.3.1. (Строка с пропуском ударения на второй стопе.)

3) Я4: *Венеция венецианкой...* Ритмическая схема: 1.5.1 (Строка с пропусками ударений на второй и третьей стопе.)

Полученные междуударные интервалы соответственно 1,3 и 5. Если подставить значения в формулу, получим:

1) $n = 0$ (полноударная строка), $i \Rightarrow 2 \times 0 + 1 = 1$.

2) $n = 1$ (строка с пропуском одного ударения), $i \Rightarrow 2 \times 1 + 1 = 3$.

3) $n = 2$ (строка с пропуском двух ударений подряд), $i \Rightarrow 2 \times 2 + 1 = 5$.

Видно, что объем междуударного интервала действительно изменяется по формуле арифметической прогрессии, записанной выше.

Для трехсложных метров – дактиля, амфибрахия и анапеста, задача решается аналогично. Разница только в том, что метрический интервал в этом случае равен двум, а стопа состоит из трех слогов. Поэтому формула для трехсложников выглядит так: $i = 3n + 2$. Покажем это на примере:

Ан3: *Прижимаюсь щекою к воронке...* Ритмическая схема: 2.2.2.1

Ан3: *За стаканчиками купороса...* Ритмическая схема: 2.5.1

Подставив значения в формулу, получим:

1) $n = 0$ (полноударная строка) $i \Rightarrow 3 \times 0 + 2 = 2$.

2) $n = 1$ (строка с пропуском ударения) $i \Rightarrow 3 \times 1 + 2 = 5$.

Видно, что междуударные интервалы в трехсложнике подчиняются заданной арифметической прогрессии.

Специального внимания заслуживают сверхсхемные ударения. Можно выделить 2 типа ритмических ситуаций, связанных с ними:

1) В строке появляется "лишнее", дополнительное ударение,

2) Число ударений в строке остается прежним, потому что "отягчение", т.е. ударение на слабом месте, компенсируется пропуском метрического ударения на сильном – происходит так называемый сдвиг ударения. Например, пушкинская ямбическая строка: *Нет, не покинул я тебя.* (За пример автор благодарен М.Л. Гаспарову). Здесь на первой стопе метрическое ударение пропущено, зато есть сверхсхемное. Такая ситуация – довольно большая редкость, и встречается преимущественно в двусложниках.

В первом случае для нейтрализации сверхсхемных ударений используется следующая простая процедура. При нарушении обычного двусложного интервала в строке количество ударений в ней сравнивается с соседними. Если их больше, значит, это строка со сверхсхемным ударением (обычно при этом возникает ситуация ..1 – нулевой интервал и затем односложный), и она отмечается соответствующим образом.

Во втором случае, при повторном просмотре текста программой, основанной на интервальной модели (см. [Брейдо 1992]), (он не так очевиден, и при первом просмотре строка "выпадает" из метра, т.е. будет отнесена к "шуму"), когда метр уже известен (благодаря другим, "невыпадающим" строкам), "шумовые" строки сравниваются с полноударной метрической схемой. Если обнаруживается ударение на слабом месте, оно квалифицируется как сверхсхемное, и строка восстанавливается в метрических правах. При этом учитывается также запрет переакцентуации в двусложниках. Это произойдет с процитированной выше строкой Пушкина, если пропустить текст через наш алгоритм.

Запишем формулу в общем виде: $i = fn + c$, где f – величина стопы (2 или 3 слога); c – объем метрического интервала (1 или 2 слога). Отдельные метры отличаются друг от друга величиной анакрусы (от нуля до двух слогов). Точное определение каждого метра рассматривается нами там, где идет речь об алгоритмах анализа (см. [Брейдо 1995]). Для целей, преследуемых в этой статье, достаточно различения двусложников и трехсложников.

Теперь, когда структура междуударного интервала в силлабо-тонике известна, воспользуемся операциями редукции и наращения. Запишем междуударные интервалы для дольника. Начнем с самого распространенного дольника – (1,2) с преобладанием двусложных интервалов. Поскольку дольник – стих с двумя типами интервалов, то естественно предложить 2 формулы – для вычисления интервалов каждого типа[3]. Одна формула у нас есть – формула трехсложника – $3n + 2$. Редуцируем трехсложный интервал (в соответствии с тем, что было написано выше) – получим формулу:

[3] Речь идет не столько об определении междуиктовых интервалов разных типов, сколько о правильном распознавании стихотворной формы в случае пропусков ударений при сочетании разных интервалов.

$3n + 1$. Таким образом, междуиктовые интервалы в дольнике описываются двумя формулами:

$$3n + 2$$
$$3n + 1$$

Приведем пример (В. Маяковский. Гимн судье):

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

Ритмическая схема:
1.1.1.2.1 (Дк)
1.2.2. (Амф)
1.4.2.1 (Дк)
3.1 [Я (или Дк)]

В первой строчке 2 первых интервала рассчитываются по формуле $3n + 1$ при $n = 0$, третий по формуле $3n + 2$ при $n = 0$. Вторая строчка силлабо-тоническая – это трехстопный амфибрахий (описывается формулой $3n + 2$ при $n = 0$), в третьей строчке первый интервал рассчитывается по формуле $3n + 1$:

$$4 = 3 \times 1 + 1 \quad (n = 1).$$

Значение n говорит, что здесь пропущено одно схемное ударение. Следующий интервал обслуживается формулой $3n + 2$ при $n = 0$, последняя четвертая строчка – трехстопный ямб с пропуском ударения на первой стопе или дольник. Формула для ее расчета – $3n + 1$ при $n = 0$. Здесь только один интервал – он и считается по вышеприведенной формуле или, если мы сочтем это формой дольника, – два интервала с односложной анакрусой. (Вообще, определение метрической структуры строки с одним интервалом всегда вызывает сомнения – она может уложиться в любую форму – в данном случае в ямб, дольник, тактовик или в акцентный стих. Можно относить такие строчки к наиболее урегулированным из возможных для них форм – в данном случае это ямб. Можно считать, что они принадлежат к господствующей в данном тексте форме, т.е., если стихотворение "Гимн судье" написано дольником, то и разбираемая строка – дольниковая. Любая логика кажется достаточно естественной, тем более что для правильного распознавания метрической формы текста это чаще всего безразлично.) Все четверостишие укладывается в дольник.

Последняя строчка может вызвать некоторые опасения: интервал в 3 слога не определяется по приведенным формулам, поэтому если бы пропуск ударения пришелся не на первую стопу, а на середину строки, возникли бы некоторые сложности. Надо сказать, что дольник, в котором возможны трехсложные интервалы, встречается чрезвычайно редко. Но тем не менее встречается, поэтому перейдем к его рассмотрению. Дольник можно получить не только редукцией трехсложника, но и наращением двусложника. Отсюда возникают 2 другие формулы для расчета дольниковых интервалов: $2n + 1$ и $2n + 2$.

Рассмотрим пример (текст взят из книги [Гаспаров 1993: 136]):

Отрывались от солнца лебеди,
розовым золотом сверкающие лебеди,
плавно плыли в отуманенную
лаской сумеречной даль,
пели медленный тихий реквием
дню, багряно умирающему,
небо трепетно окутывая
в огнецветную вуаль.
(Г. Шенгели. Закатные лебеди)

Ритмическая схема:

2.2.1.2 (Дк)
.2.3.3.2 (Дк)
.1.3.3 (Х)
.1.3. (Х)
.1.2.1.2 (Дк)
.1.3.3 (Х)
.1.3.3 (Х)
.1.3.3 (Х)
2.3. (Х)

В первой строчке первый интервал вычисляется по формуле $2n + 2$, а второй – $2n + 1$ ($n = 0$ в обоих случаях). Строчка дольниковая. Во второй строчке первый интервал рассчитываеся по формуле $2n + 2$ при $n = 0$, а два других по формуле $2n + 1$ при $n = 1$. Можно интерпретировать ее двояко. Тройка – тактовиковый интервал, но часто встречается и в двусложниках из-за пропусков метрических ударений. Эту строчку нельзя счесть двусложником из-за первого интервала (интервал 2 не встречается в двусложных метрах), но можно – дольником, так сказать, получившимся из двусложника и потому несущим характерные "двусложные" пропуски ударений. Строка двойственная, и выбрать тот или иной вариант можно только исходя из окружающих строк. Третья строка описывается формулой $2n + 1$, в первом интервале $n = 0$, во втором $n = 1$. Она хореическая, так же как и следующая – четвертая. Пятая строчка дольниковая (последовательно применяются формулы $2n + 1$, $2n + 2$ и $2n + 1$, во всех случаях $n = 0$). Следующие 3 строки – хореи с пропусками на третьей стопе (в шестой и седьмой строках также и на пятой, а в восьмой – на первой). Все они рассчитываются по формуле $2n + 1$ (n принимает значения 0 и 1). Получается, что из восьми строк 5 хореев, 2 дольника, и одна строка двойственная. По характеру окружения кажется естественным отнести ее к дольникам. Следовательно, весь отрывок укладывается в дольник.

Мы разобрали на примерах 2 типа дольника, относящихся к классу (1,2), в первом случае с преобладанием двусложника, а во втором – односложных интервалов, показав как получаются и работают интервальные формулы. К перечисленным интервалам следует добавить также нулевой (когда между ударными нет безударных слогов). Он также может быть задан формулой и обоснован, например, как редукция двусложника, но писать формулу ради одного числа кажется бессмысленным, поэтому пусть этот интервал называется просто нулевым. Он есть как в дольнике, так и во всех последующих метрических формах, но употребителен только в многоинтервальном акцентном стихе.

Существуют еще 2 типа дольника, не разобранных нами – (1,0) и (2,0). Они определяются по приведенным выше формулам с учетом нулевого интервала. Поэтому не будем на них отдельно останавливаться, тем более, что реально употребителен только дольник (1,2) с преобладанием двусложных интервалов. Обобщенный набор формул, обслуживающий все виды дольника, выглядит так:

$$0$$
$$2n + 1$$
$$3n + 2$$
$$3n + 1$$

Но обычно используются только 2 последние формулы. Получим теперь аналогичный набор интервальных формул для тактовика. Тактовику свойственны 3 типа интервала. Формулы для двух у нас уже есть – это дольниковые формулы $3n + 1$ и $3n + 2$. Собственно тактовиковый, трехсложный интервал может быть получен наращением трехсложника или дольника. Выполним операцию наращения. Получим арифметическую прогрессию $3n + 3$. Посмотрим, как работают полученные формулы, на примере:

Среди тонконогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!
(В. Маяковский. Гимн здоровью)

Ритмическая схема:
1.2.1.1.1 (Дк)
1.2.3.1.1 (Тк)
1.1.1.3.1 (Тк)
1.1.2.1.1 (Дк)

В четверостишии нет пропусков ударений, поэтому для всех интервалов $n = 0$. В первой строчке первый интервал считается по формуле $3n + 2$, а два других по формуле $3n + 1$. Строчка дольниковая. Во второй строчке есть все 3 вида интервалов. Первый определяется по формуле $3n + 2$, второй – $3n + 3$, а третий – $3n + 1$. В третьей строке первые два интервала рассчитываются по формуле $3n + 1$, а третий – $3n + 3$. Обе строчки, естественно, тактовиковые. В последней, четвертой строке первому и третьему итервалу соответствует формула $3n + 1$, а второму – $3n + 2$. Строка дольниковая. Все четверостишие укладывается в тактовик. Таким образом, формулы тактовика:

$$3n + 1$$
$$3n + 2$$
$$3n + 3$$

Не будем здесь записывать формулы для другого вида тактовика. По образцу дольника сделать это очень легко. В то же время стих такого типа настолько редок, что вряд ли заслуживает отдельного рассмотрения в рамках данной работы.

Аналогично получаются формулы для строгого акцентного стиха. Выполнив логическую операцию наращения тактовика, будем иметь 4 формулы для четырех типов интервалов акцентного стиха:

$$3n + 1$$
$$3n + 2$$
$$3n + 3$$
$$3n + 4$$

Приведем пример использования этих формул[4]:

Эти
потоки
слюнявого
яда
часто
сейчас
по улице льются...
Знайте, граждане!
И в 29-м
длится
и ширится
Октябрьская революция.
(В. Маяковский. Перекопский энтузизм)

[4] Сейчас, когда основной набор интервальных формул записан, можно сказать, что существенны не столько сами формулы, сколько принцип их построения. Хотя синтезированные формулы кажутся оптимальными (строгое доказательство должно проводится методами многокритериальной оптимизации, что вряд ли имеет смысл в данном случае), возможно тем же методом получить другие формулы, и они также будут работать. Гораздо важнее метод построения интервальных формул (он, в отличие от них самих, единственный), пользуясь которым, можно синтезировать нужный набор для любой метрической формы.

Ритмическая схема:

.2.2.2.1 (Д)
.2.1.2.1 (Дк)
.1.3.2.1 (Тк)
.2.3.4.2 (Акц(С))

Рассчитав интервалы по приведенным выше формулам, получим, что первая строчка – дактиль, вторая – дольник, третья – тактовик и четвертая – строгий акцентный стих. Все четверостишие укладывается в строгий акцентный стих.

За четырехинтервальным акцентным стихом идет многоинтервальный. Это преимущественно пятиинтервальный стих (добавляется нулевой интервал) с небольшим вкраплением интервалов больше четырех слогов. По ритмическим характеристикам этот стих непосредственно граничит с прозой. Принцип построения интервальных формул для него понятен, число их увеличивается в соответствии с увеличением диапазона интервалов.

Так выглядит русская метрика, если посмотреть на нее с "интервальной" точки зрения. Формальная модель позволяет "открывать метр в самом тексте", по выражению С.И. Гиндина (см. [Гиндин 1970]), и распознавать, с помощью алгоритмов компьютерного анализа, различные метрические формы. Это способствует процессу перевода книжной культуры в электронный вид – одной из существенных тенденций времени. Следствием "интервального" подхода стало деление акцентного стиха (на примере В. Маяковского) на два класса – появление строгого и многоинтервального акцентного стиха. Другое следствие – разработка основанных на интервальной модели алгоритмов компьютерного анализа метрики. И, наконец, последнее. Деление стихотворных текстов на классы по числу интервалов позволяет предположить, что так устроены не только поэтические, но любые тексты. То есть тем же способом можно классифицировать и прозу – предварительные подсчеты показывают, что у автора[5] обычно есть тенденция к сохранению одного набора ведущих интервалов, а разные авторы отличаются частотой употребления различных междуударных интервалов. Конечно, предстоит разработать методику разметки, существующую на данный момент только для стиха, и провести серьезное обследование, прежде чем делать какие-либо выводы, но уже сейчас кажется разумным поставить вопрос об учете ритмического уровня при анализе текста, так же как учитывается фонетический, морфологический, синтаксический и т.д. Изучение ритмики языка открывает новые исследовательские просторы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Bailey J. 1976 – The development of strict accentual verse in Russian literary poetry // Russian literature. 1976. № 9.

Брейдо Е.М. 1992 – Компьютерный анализ поэтического текста (система Риметр-1) // Бюллетень Машинного фонда русского языка. Вып. 2. М., 1992.

Брейдо Е.М. 1995 – Алгоритмическое представление метрики // Русистика сегодня. 1995. № 4.

Брейдо Е.М. 1996 – Акцентный стих Маяковского // Сборник в честь академика М.Л. Гаспарова (к 60-летию со дня рождения). М., 1996 (в печати).

Гаспаров М.Л. 1974 – Современный русский стих. М., 1974.

Гаспаров М.Л. 1993 – Русский стих 1890-х–1925-го годов в комментариях. М., 1993.

Гиндин С.И. 1970 – К основаниям дескриптивной метрики // Материалы 5-го Всесоюзного симпозиума по кибернетике. Тбилиси, 25-29/10 1970 г.

Звегинцев В.А. 1977 – Структурализм в лингвистике // ИАН СЛЯ. 1977. № 3.

[5] Прикидочные подсчеты проводились на текстах Л. Толстого, С. Довлатова и прозе В. Маяковского.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

© 1996 г. А.В. СИДЕЛЬЦЕВ

ОСОБЕННОСТИ ДЕРИВАЦИИ В ПАРАХ СЛОВ "ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – СУБСТАНТИВИРОВАННОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" В ХЕТТО-ЛУВИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Сравнительно-историческое исследование лексики хетто-лувийских языков испытывает в последнее время несомненный подъем: увеличивается с каждым годом число статей и монографий, появились начальные выпуски двух этимологических словарей хеттского языка [Tischler 1983; Puhvel 1984, 1991], материалы к историко-этимологическому словарю хетто-лувийских языков [Айхенвальд и др. 1985, 1987а, 1987б], а также диссертация Л.С. Баюн [Баюн 1990а], где предпринимается попытка реконструировать лексическую систему хетто-лувийского праязыка, важные исследования по хеттским и лувийским именным основам [Weitenberg 1984; Starke 1990] и др. Основы этого прогресса были заложены более чем семидесятилетней традицией изучения (особенно следует отметить такие основополагающие труды, как [Gusmani 1968; Иванов 1955, 1961]). К сожалению, ряд методологически важных проблем полностью выпал из поля зрения исследователей. Одним из наиболее значительных белых пятен является неразработанность методики реконструкции развития значений пар слов "прилагательное – субстантивированное прилагательное" (последний термин употребляется в данной работе в значении "существительное, основа и частично падежные показатели которого совпадают с основой и падежными показателями родственного прилагательного").

2. Прежде всего необходимо отметить, что основным вопросом данной проблематики является поиск способов определения производных / производящих основ. Это определяется спецификой словообразовательных отношений между членами данных пар слов, а именно формальной невыраженностью процесса словообразования.

2.1. В настоящее время можно выделить два подхода к решению данного вопроса. Первый, наиболее характерный для анатолистики, демонстрирует использование только внутренней реконструкции (во внимание принимается только данная пара слов) и заключается в том, что субстантивированные прилагательные (далее – СП) рассматриваются как производные от прилагательных (далее – П): значение *ukturi*-СП "место сожжения" определяется и производится от *ukturi*-П "вечный" [Kronasser 1962–1966 : 226], причем дальнейшие связи этой пары слов Х. Кронассеру известны не были. То же относится и к *šuppa* "ритуально чистое мясо" и "ритуально чистый" [Čop 1971].

Однако такая методика кажется достаточно ущербной прежде всего из-за антиисторического подхода: она подразумевает единственность словообразовательной деривации П > СП, тем самым механистически перенося на предысторию хетто-лувийских языков закономерности, характерные для ряда индоевропейских языков новой ступени (например, русского, немецкого). Между тем реальное положение дел было существенно сложнее: в хетто-лувийских языках, как и в остальных индоевропейских языках древней ступени, кроме описанного направления деривации реально засвидетельствовано и прямо противоположное: "существительное > П". Так, тох. А *täṅki*, В *taṅki* "плотный, полный, густой" благодаря своему вхождению в словообразовательный ряд тох. В *leki* "ложе", *reki* "речь", *telki* "жертвоприношение"

признаются по своему происхождению существительными [Van Windekens 1974]. Более того, на раннем этапе развития индоевропейских языков, который частично отражен и в исторически засвидетельствованных языках, ввиду невыделенности П и существительных как отдельных частей речи, пары слов подобного типа были единым словом, которое могло синкретично употребляться как в синтаксической позиции С, так и П, при этом как будущее П значение было предметнее, так и будущее С значение было качественнее (см. подробнее [Жирмунский 1946; Климов 1977 : 107–108, 184–1983; 1992]). При этом необходимо помнить, что большая часть основообразующих суффиксов однозначно не указывает на принадлежность слова к С или П[1].

Второй подход, также ограничиваясь материалом данных пар слов, отличается тем, что считает возможной разнонаправленную деривацию (как С > П, так и П > СП). Так, Вейтенберг пишет о том, что СП – не обязательно более поздние образования [Weitenberg 1984 : 153] (однако при анализе конкретного материала он фактически придерживается первого подхода). В связи с признанием разнонаправленной деривации, естественно, острее встает проблема определения направления словообразования. В анатолистике были предложены некоторые критерии определения производности, однако надежность большинства из них вызывает сомнения. Так, разбирая с этимологической точки зрения анатолийские обозначения "собрания", Вяч. Вс. Иванов пишет, что *panku*-"собрание" не может иметь точных этимологических соответствий в других индоевропейских языках, т.к. оно вторично образовано от *panku*-"весь, целый" [Иванов 1980]. В подтверждение этого мнения приводится лишь частое (но отнюдь не обязательное) склонение *panku*-С по типу П – с полной ступенью основообразующего гласного в ряде падежей. По этому поводу необходимо отметить, что данная особенность – чисто хеттская инновация [Баюн 1990а : 116] и, следовательно, отражает отношения, характерные именно для хеттского языка (когда СП рассматривались как связанные с П (вероятно, эта связь мыслилась как производность П > СП), ничего не говоря о более раннем периоде их развития. Принципиально сходна и попытка Я. Пухвела объявить употребление нулевой ступени основообразующего гласного – как правило, характерной для существительных – достаточным критерием производности прилагательного на примере хет. *ḫallu*-"глубокий" [Puhvel 1979; 1991 : 47–49]. С этим невозможно согласиться, т.к. нулевая ступень встречается и в адъективных *i*-основах типа хет. *ḫantezzi*, род п. *ḫantezziyaš* "первый" и в других прилагательных на *-zzi*, в адъективном происхождении никто никогда не сомневался. Более того, адъективные *ui*-основы регулярно с фонетической точки зрения демонстрируют "нулевую" ступень огласовки (например, *dankuya* множ. ч. от *dankui*-"темный"), которая на самом деле является полной ступенью *i*-основ (*dankuya* < **dankuyaya*) – согласно альтернативному объяснению мы имеем здесь дело с морфологическим чередованием *i*/*a*-основ[2]. В данном случае последнее решение представляется более вероятным в свете существования пал. *ḫalluiš* "глубокий" [Starke 1990 : 75, 78]. В равной степени недиагностично и постпозитивное употребление П, якобы свидетельствующее о его субстантивном происхождении, которое является, в частности, еще одним основанием заключения Я. Пухвела о производности *ḫallu(ya)*-П от *ḫallu(ua)*-СП "углубление". Из-за широкого употребления шумерограмм, нормально требовавших

---

[1] Не следует, однако, полагать, что и при подобном синкретизме не было случаев безаффиксного словообразования: в гуарани, языке типологически близком праиндоевропейскому, где значения П выражают стативные глаголы (подобная система признается универсальной ступенью в становлении П как особой части речи: ее следы есть и в исторических индоевропейских языках) случаи типа *yiki* "соль" – "быть соленым", *aivu* "шум" – "быть шумным, громким" представляют собой типичное словообразование в отличие от атрибутивного употребления С (например, *kwati.a* "бумага" – *kwati.a pepo* "бумажное крыло"), где нет перехода в другую часть речи.

[2] Т.е. в этом, как и в следующем, случае "возмущающий фактор" находится в самой анализируемой системе.

постпозитивного употребления П, а также чаще употреблявшихся постпозитивно местоимений различное положение определения по отношению к С не несет никакой диахронической информации: ср. *ḫattanza* LUGAL-*uš* "мудрый царь", *aran ḫaddandan* "мудрому другу", где *ḫattant*-причастие по происхождению[3].

Немногим более убедительны и критерии, разрабатывавшиеся в рамках других дисциплин (в особенности, англистики) и оставшиеся неизвестными анатолистам (которые, однако, использовали сходные методы независимо – без какого-либо специального обоснования). Большинство их предлагалось для синхронного анализа, однако уже в работе Соболевой [Соболева 1959] делались попытки применить данные критерии и к диахронии. Сюда относится, во-первых, опосредованный характер связи значений анализируемого слова через одно или несколько значений другого слова, соотносящегося с ним, который якобы говорит о производности анализируемого слова [Соболева 1959 : 23]. Применение его, в частности, к хет. *ḫarki*-"белый" – "белок (глаза)" и "серебро" (последнее значение со значительной степенью вероятности установлено Х. Хофнером) означало бы в одинаковой степени вторичное происхождение обоих значений СП. Между тем уже привлечение лув. *ḫarraia* "серебро" [Starke 1990 : 424 и прим. 1533] делает по меньшей мере равновероятным предположение, согласно которому хет. СП в значении "серебро" древнее, чем хет. СП в значении "белок" и восходит к праанатол. языку, на материале которого его производность не доказуема (см. ниже). То, что направление деривации было П > СП становится ясным лишь при привлечении однокоренных лат. *argentum* "серебро", др.-инд. *rajatam* тж, авест. *ərəzatəm*, арм. *arcat'*, ирл. *argat*, греч. ἄργυρος, производных от соответствующего прилагательного (восходящего к и.-е. **Harg*-"белый") в свете данных о достаточно позднем знакомстве индоевропейцев с металлами. Более глубоким основанием неприемлемости данного критерия П.А. Соболевой является тот факт, что семантическая связь между П и СП всегда сохранялась (нам неизвестны пары П – СП, по крайней мере в хеттском языке, которые представляли бы собой лексико-синтаксические омонимы), что и позволяло модифицировать – расширять или перестраивать – значение СП по П. Точка зрения П.А. Соболевой по отношению к диахронии представляется статической, упрощающей реальные тенденции развития.

Нет нужды указывать, что этот критерий, как и ряд следующих является чисто семантическим. Их особая распространенность объясняется формальной невыраженностью процесса словообразования. Так, основой другого критерия является положение о том, что слова, имеющие более ограниченное употребление (окказиональные, стилистически окрашенные, с переносными значениями), являются мотивированными [Улуханов 1977 : 22; Marchand 1964 : 13–14]. То же относится к критерию большей расчлененности значения слова (более широкой референции), который служит показателем первичности [Marchand 1964 : 14]. Принципиально сходен и другой критерий, выдвинутый А.И. Смирницким [Соболева 1959 : 91–92]: если рассматривать синонимический ряд, в который входит данное слово, то по структурной простоте или производности синонимов можно судить о внутренней простоте или производности анализируемого слова. Данный критерий совершенно независимо применяется и в хетто-лувистике. Так, Б. Чоп определяет отношения (в том числе и диахронические) между лув. *kummai*-"чистый", лик. *kuma*-тж и пал. *aškumaṷaga* "ритуально чистое мясо" через хет. *šuppi*-"ритуально чистый, священный" – *šuppa* "ритуально чистое мясо" [Čop 1971]. Ф. Штарке, в свою очередь, выделяет тенденцию к обозначению СП металлов

---

[3] Несмотря на всю кажущуюся очевидность, не признается надежным показателем и употребление словообразовательного форманта, содержащегося в П и в СП, для образования исключительно С/П, например *-ul*, обычно образующий С от глаголов, в хет. *takšul* "мирный, дружественный, дружелюбный" – "мир, дружба, мирный договор", "друг" от *takš*-"устраивать, приспосабливать". В таких случаях часто видят не инновации (субстантивацию/адъективацию), а архаизмы – свидетельства древнего синкретизма (см. по поводу *takšul* [Bader 1977 : 375; Van Brock 1962 : 190]).

при помощи П-названий цветов [Starke 1990 : 424; Hoffner 1967]. Данные методы недиагностичны по отношению к диахронии. Основанием этому служит именно сущность синхронии, описывающей/представляющей собой систему, тождественную самой себе, в которой изменениями можно пренебречь и диахронии, описывающей ряд сменяющих друг друга систем [Кубрякова 1968]. Синхронные отношения одной из этих систем могут кардинально отличаться от синхронных отношений другой. В наших случаях это очень распространенное сужение значений, приобретение архаизмами стилистической окрашенности. Что же касается последнего критерия, то слова, входящие в один синонимический ряд, могли образоваться в разных системах по разным моделям: так, например, хет.-лув. **hargi-*относится к иному хронологическому по сравнению с другими названиями металлов уровню. Установление между П и СП в *ḫarki-* отношений мотивации П > СП (которые могли и не совпасть с историческим направлением производности) уже в эпоху раздельного существования анат. языков и послужило основанием для деривации П > СП в лув. *dankul-*"темный" > "олово", хет. *parkui-*"блестящий" > "бронза" (?) и т.п. Еще менее убедителен этот метод для разных языков: см. хет. *ḫuelpi-*[2] (см. 2.2) и праслав. **junę* "теленок", **junica* "телка, девушка", **junьcь* "молодой бычок" – производные от **junъ* "молодой, юный, юноша" < и.-е. **ieuH-no-* от **jeuH-* "мешать, месить, мять" [ЭССЯ 1981]. Единственный критерий, полностью сохраняющий свою силу и для синхронии, и для диахронии, – это окказиональность употребления СП: фактически мы имеем дело с незавершившимся процессом словообразования, строго говоря полностью находящимся в компетенции синхронного описания языка. Показателем окказиональности, в частности, является спорадическое употребление СП при том, что соответствующее П выражает значение СП, регулярно сочетаясь с неродственными С: так, хет. *ḫuišu-* "сырой" употребляется почти исключительно с $^{(UZU)}$*šuppa* "мясо" и весьма редко как СП "сырое мясо" и просто "мясо"; хет. *šalli-* "большой" устойчиво употребляется с хет. *ašeššar* "собрание" и менее часто как СП "большое собрание" [Ардзинба 1982 : 58]. Более того, подобные процессы являются наиболее объективными указателями на направление мотивации в той или иной синхронной системе [Улуханов 1977 : 34]. Важно отметить, что в исторически засвидетельствованных хетто-лувийских языках окказиональные процессы имеют вид только П > СП (см. выше).

Наибольшее распространение имеет критерий соответствия определенной словообразовательной модели [Соболева 1959 : 94–95; Marchand 1964 : 15], либо наличие категориального признака, характерного для другой части речи, что признается показателем производности [Улуханов 1977 : 22–23; Кубрякова 1978 : 52]. Однако уже сам И.С. Улуханов отмечал, что в близких по значениям парах слов может быть разная словообразовательная модель [Улуханов 1977 : 33]. К этому следует добавить, что слова, строящиеся в одном языке по одной словообразовательной модели, в другом соответствуют образованиям по другой модели: ср. следующие пары хеттских слов и их русские переводы: *irmaniya-* "болеть" < *irma(n)-* "болезнь", *šiššuriya-* "орошать" < *šeššur* "орошение". Где гарантия, что исследователь, чьим родным языком является русский, не перенесет на хеттский материал при невыраженности в нем направления мотивации русские модели, тем более что внутреннюю форму слов мертвого языка определить достаточно трудно? Пожалуй, даже большее значение имеет тот факт, что в одном и том же языке могут сосуществовать разнонаправленные модели. Возьмем одну из моделей П.А. Соболевой, например, "предмет" > "его назначение" – против нее свидетельствует не только реальная диахроническая производность англ. *dress* "одевать(ся)" > *dress* "одежда", но и случаи, где возможен контроль со стороны формы: русск. *одеть* > *одежда*, хет. *ɣaš-* тж > *ɣašpa* "одежда", англ. *clothe* > *clothing*. Ср. особенно хеттские обозначения "смешивать" – "смесь": *ḫurtalliya-* Г < *ḫurtalli* С, но *immiya-* Г > *immiul* С.

Что же касается категориальных признаков, характерных для какой-либо части речи (например, признаковость для П, предметность для С), то, безусловно, при

четком частеречном разграничении С и П он весьма показателен, как, например, в современном русском языке. Если же такое разграничение менее выражено, они также ничего нам не дают: признаковость в С может формироваться совершенно независимо от П (см. индоевропейские названия горы, приводимые у О.Н. Трубачева [Трубачев 1980 : 14]) и, естественно, существовать не выделяясь как компонент значения (так в русск. *гора*), с другой стороны, признаковость может выделяться на основании ходячих (наивных) понятийных представлений о внеязыковых особенностях реалий и сама по себе служить для образования П (так англ. *mountain* "гора" > англ. *mountainous* "очень большой, высокий")[4] – при том, что известны и случаи, когда П "высокий" мотивировало С "гора": авест. *bərəzant-* "высокий" > авест. *barəzah-*"гора". Таким образом, данный критерий в свете таких надежных данных, как диахроническая производность и синхронная мотивация при контроле со стороны формы выглядит исключительно ненадежно как для синхронии, так и для диахронии. Если применение синхронной мотивации как средства контроля ничего нового не представляет, то применение диахронической производности для определения реальности словообразовательной модели, естественно, с соответствующими поправками (см. выше) в синхронии встречается очень редко, в основном в работах М.М. Маковского и О.Н. Трубачева [Маковский 1971; Трубачев 1976, 1980] при изучении семантики. Подобный способ корректировки диахроническими методами, давшими убедительные и строго лингвистические критерии описания и изучения языкового материала, исключительно перспективен. Само различие между синхронным и диахроническим описаниями словообразовательного процесса представляется нам основывающимся на разном количестве материала при воспроизводстве и образовании словообразовательных процессов – выход из языка одних единиц, появление других и т.п.– что и приводит к столь часто подчеркиваемым несовпадениям синхронной мотивации и диахронической производности (см., например [Улуханов 1992]). Однако эти различия носят частный характер. Их глубокое сходство, обходимое обычно стороной, сходство, которое проявляется не просто в совпадении в некотором количестве слов мотивации и производности, а в качественной идентичности процесса словообразования и в синхронии, и в диахронии говорит о том, что само понятие словообразования не принадлежит ни к специфическим синхронным, ни к диахроническим категориям, а является общим для них процессом: восприятие слова как мотивированного выражается в фактическом воспроизводстве диахронического (в общем смысле) процесса в синхронии и в его реальном воспроизводстве при образовании новых слов. В то же время необоснованными выглядят попытки О.Н. Трубачева [Трубачев 1976] представить синхронию как объясняемую исключительно диахроническими исследованиями – подменить корректировку и взаимосвязь, глубокое единство при наличии значительных отличий механической субституцией одного другим.

Таким образом оказывается, что большая часть существующих критериев, и в особенности критерии семантические, не могут быть сочтены надежными.

2.2. Между тем, как представляется, в хетто-лувийском языкознании накоплен ряд конкретных решений, которые могут послужить основой для выделения более удачных критериев. Тем более, что до сих пор в этом отношении данный эмпирический материал использован не был. Рассмотрим, например, практически общепризнанную этимологию хет. *ḫuelpi-* "молодой, новый, свежий, незрелый" – СП "молодое живот-

[4] Именно таким было развитие значений и.-е. **kreuH-/kruH-* "мясо" (др.-греч. κρέας "мясо") > "сырое мясо" (др.-инд. *kravih*, авест. *xrū* "кусок кровавого сырого мяса", ст.-слав. кръвъ "сырое мясо") (> "кровь") > "сырой" (др.-сев. *hrar* "сырой, несваренный", др.-в.-нем. *hro* т.ж. < прагерм. **hrawa-z*), "кровавый" (др.-инд. *krūra-*, авест. *xrūra-* "кровавый, страшный"). Подобный вывод базируется на том, что омонимичное и.-е. **(s)kreu(H)-* "резать" (лат. *scrūtor* "исследую", др.-в.-нем. *scrotan* "рубить" [Pokorny 1959 : 622–623]; **kreu-, *krou-s; *(s)keru- *(s)kreu-* [Pokorny 1959 : 947]) одновременно представляет собой и универсальную мотивировку обозначения мяса как "куска" (см. авестийское слово). Ср. полностью аналогичное развитие др.-ирл. *fuil, feoil* "кровь, сырое мясо" и др.-ирл. *flann* "кровавый, кроваво-красный" из и.-е. **uel-* "рвать, раздирать".

ное", которая базируется на примате внешней реконструкции над внутренней, – модели, в наиболее последовательных алгоритмических концепциях не принимаемой. Наиболее вероятными соответствиями этому слову признаются слова, обычно возводимые к и.-е. *$g^{u}elbh$- [Pokorny 1959 : 473]: др.-инд. *gárbha-* "матка, плод, новорожденный, отпрыск", авест. *gərəbuš* "детеныш животного", греч. δελφύς "мать-роженица", δέλφαξ "поросенок", δελφίς "дельфин" [Герценберг 1981; Гамкрелидзе, Иванов 1984 : 816–817; Puhvel 1991 : 331–332] – с объяснением фонетической "аномалии". Семантическое развитие, реконструируемое на их основе, – "мать" > "матка" > "плод, зародыш" > "молодое животное, детеныш животного" (с дальнейшей специализацией, демонстрируемой греческим) – однонаправлено. Оно несомненно свидетельствует о том, что в данном случае П производно от СП и представляет собой анатолийскую инновацию. Однако, строго говоря, в существующем виде данная этимология не вполне отражает реальное положение дел. Прежде всего сомнения вызывает само определение значения СП как "молодое животное": как известно, в хеттских текстах *ḫuelpi-* СП употребляется в качестве описания того, что приносилось в жертву богам (например, в KUB XIII 4 IV 3–4). Между тем в самих хеттских текстах *ḫuelpi-*П употребляется не столько с названиями животных[5], сколько с хлебом, различными видами фруктов и овощей. В то же время есть сведения, что обычный состав жертвоприношений был практически тождествен объектам, определяемым *ḫuelpi-* П [ЭССЯ 1992 : 90]. Поэтому более обоснованным является определение значения СП как "первинка(и)": первое зерно, первоиспеченный хлеб, перворожденный ягненок или другое животное [Ардзинба 1982 : 66][6]. Таким образом, принять традиционную этимологию можно лишь при допущении вторичной перестройки значения СП по значению П. Видимо, в данном случае это допущение оправдано: при отказе от данной вполне реалистической этимологии (так, например, Я. Тышлер на других основаниях [Tischler 1983 : 259]) *ḫuelpi-* становится совершенно неясным образованием.

2.2.1. На основании этой этимологии возможным представляется высказать предположение о том, что выводы о направлении мотивации в данных парах слов можно делать при принятии во внимание не столько значений самой пары слов, сколько производящей основы для одного из членов пары. Естественно, поиск этой производящей основы может и должен вестись при привлечении обоих членов пары.

Таким образом, при предлагаемом анализе мы фактически рассматриваем данную пару слов как одно слово с различными значениями. Этот тип анализа выступает как прием, который путем "перешагивания" через первую словообразовательную ступень анализа и обращения сразу ко второй – словообразовательной или корневой в зависимости от материала – ступени реконструкции, основывается именно на лексическом значении слова, понимаемом нерасчлененно, а не на предварительном вычленении словообразовательного значения, проводимом в большинстве приводимых выше методов. Такой характер данного метода на первый взгляд противопоставляет его ряду алгоритмических моделей, описывающих аффиксальное словообразование (например, модели Ю.В. Откупщикова), т.к. в нашей модели используется прямо противоположный порядок анализа. По мысли Ю.В. Откупщикова, он должен привести к некорректным выводам из-за произвольного вычленения корневой части – основы дальнейшего анализа. Более того, семантический анализ как отправная точка реконструкции признается малонадежным: семантическое развитие, как правило, разнонаправлено и вариантно [Откупщиков 1967 : 198–204; 1969]. Следует, однако, отметить, что первое из приведенных требований выдвигалось без учета безаффиксальных средств словообразования и его неприменимость очевидна: при рассмотрении одного из членов пары (а, фактически, обоих) мы пользуемся методами, предложенными Ю.В. Откуп-

[5] И в этом случае оно чаще относится к только что убитым животным (хотя обозначает и перворожденных) [Hoffner 1974 : 16–18].

[6] Ср. более точно [Hoffner 1974 : 16–18]: также значение "свежая зелень, трава".

щиковым. Определенную произвольность можно усмотреть в выборе того или иного члена пары, а также в явном преобладании внешней эволюции над внутренней (с опасностью увлечения контаминациями) – однако учет обоих членов пары и внешняя реконструкция корректируют друг друга: так, непоказательность семантического анализа, на которую по отношению только к членам пар слов указывал и Вейтенберг [Weitenberg 1984 : 152–153], существенно уменьшается привлечением данных внешнего сравнения.

Наконец, следует определить тот материал, на котором рационально применять данный метод – это те пары слов, каждый из членов которых по данным семантической типологии может мотивироваться иначе, чем другой член[7]. Естественно, что как случаи поздней синтаксической деривации [Куриłович 1962; Кубрякова 1978 : 70–75], так и примеры древнего синкретизма в рамках данного метода не анализируемы.

2.2.2. Продемонстрируем эти положения на примере хет. *ukturi-*. При принятии во внимание значений только этой пары слов возможна двоякая реконструкция: "вечный огонь" > "вечный" (> "прочный, постоянный, устойчивый"), либо "вечный" (или > "прочный, крепкий", или < "прочный, крепкий") > "вечный огонь". Поэтому мы переходим непосредственно к поиску производящей основы для *ukturi-*, не делая заключений о первичности/вторичности СП/П. Сопоставление с хет. *galgal-turi* "бубен": *galgal-inai-* "петь, оплакивать" позволяет вычленить суф. *-turi* и корень *uk-*. Производящей основой для данного корня является, возможно, и.-е. **yeĝ-* "быть бодрым, проворным, сильным" (лат. *vigeō* "быть полным сил, крепким, свежим, процветать", прагерм. **wak-ai-* "бодрствовать, не спать": гот. *wakaiþ*, др.-англ. *wacian*, др.-сев. *vaka* и т.п.), подробно описанный К. Уоткинсом [Watkins 1973]. С чисто типологической точки зрения из его значений выводимы как значение "вечный", так и значение "вечный огонь" (ср. русск. *вечный* – литов. *viekas* "сила, жизнь", др.-сев. *veig* "сила"), второе развитие засвидетельствовано в однокоренном образовании с синонимичным суффиксом – лат. *vigil* "бодрствующий, не спящий, неусыпный; горящий всю ночь, негаснущий, неугасимый, вечно горящий[8] (огонь)". В таком случае необходимо еще раз вернуться к семантике хеттских слов. При отсутствии каких-либо промежуточных звеньев развития от значения Г "быть бодрым" к "вечный огонь" типа "бодрствующий, не спящий" > "горящий всю ночь" ясно представлено развитие ("сильный") > "прочный, крепкий" > "постоянный, устойчивый" (при том, что значение "сильный", представленное, кажется, исключительно в словаре Э. Стёртеванта [Sturtevant 1936], не поддерживается реальным словоупотреблением и в более современной литературе не приводится). В таком случае очевидно и направление деривации: П > СП посредством субстантивации из-за ясного направления семантического развития: "быть сильным" > "крепкий, прочный, вечный" > "вечный предмет" > "вечный огонь".

---

[7] Т.е. формирование значения на основе признаковых/предметных частеречных характеристик слова, которые в данном случае более тесно переплетены с собственно семантическими , чем обычно.

[8] Разумеется, П "вечно горящий" и т.п. – это контекстно обусловленное значение, что само по себе не может еще служить препятствием сравнению его с хеттским словом. Хорошо известны случаи, когда контекстно обусловленное значение развивалось в основное [Трубачев 1988]. Однако привлечение контекстно обусловленных значений значительно менее убедительно, чем привлечение основных, т.к. первые могут и не развиться во вторые, в то время как основные значения уже даны. Еще один аспект данной проблемы – вполне реальное влияние этимологии слова на определение основного и контекстно обусловленного значений, при невозможности применения статистических методов из-за фрагментарного характера памятников – как в случае с хеттским языком. Так, типологически значения "вечный, постоянный" могут являться как основными по отношению к "крепкий, прочный" (ср. русск. диал. *веко-вечный*, которое значит "крепкий" употребляясь исключительно с названиями ткани, одежды; этот факт заставляет видеть в данном случае не факт сохранения древней семантики слова – см. выше, а инновацию), так и контекстно обусловленными (англ. *firm* "твердый, крепкий" в сочетании с С, означающими явления/предметы, изменяющиеся во времени, значит "неизменный, постоянный"). Для *ukturi-* именно этимология заставляет принять второе решение.

2.2.2.1. Следующим нашим примером является хет. *šuppi* "ритуально чистый, святой" – *šuppa* "ритуально чистое мясо". Для СП также часто постулируется значение "мясо" (так, например [Neu 1983]). Для этого, по нашему мнению, нет достаточных оснований: *šuppa*, как правило, употребляется в ритуальных контекстах, где более естественно значение "ритуально чистое мясо", тем более, что ему соответствует шумерограмма – $^{UZU}GIG^{HI.A}$(GIG "табу"). По крайней мере, нет контекстов, где сколько-нибудь предпочтительным являлся бы перевод "мясо" (см. 2.2.4).

После исключительно удачного сравнения К. Уоткинсом хеттского слова с умбр. *supa* мн. ч. ср. р., ж. р. ед. ч. "viscera" с реконструкцией еще одного итало-анатолийского соответствия в области ритуальной лексики (но никак не общеиндоевропейской лексемы) **seup-i/o-* [Watkins 1975] устаревшим представляется старое (восходящее к А. Гётце [Goetze 1954: 404]) возведение *šuppi/a* к и.-е. **kĕu-* (др.-инд. *çubh-* "сиять, сверкать, выглядеть красивым", *çubha-* "хороший, прекрасный, счастливый, благоприятный, настоящий", *çudh-* "очищать, очищаться", арм. *surb* "чистый, святой", русск. *святой*, литов. *šveñtas*, авест. *spənta-* т.ж., др.-инд. *çvāntáḥ* "процветающий ", др.-инд. *çubhra-* "блестящий, сверкающий, светлый, белый"), т.к. оно имело исключительно корневой характер.

Между тем сопоставление К. Уоткинса этимологией в полном смысле этого слова не является, т.к. никак не объясняет происхождение этой диалектной индоевропейской лексемы. Мы предлагаем сравнение **seup-* с рефлексами и.-е. корня **(s)ųep-* "бросать, кидать": болг. *сипвам* "сыплю, лью", серб.-хорв. *сипати* "сыпать, лить", др.-русск. *сути, съпу* "сыпать", цслав. *съпъ* "куча", др.-прусск. *suppis* "насыпь на мельничной запруде", лтш. *supata* "очески шерсти, хлам", лат. *supō* "бросать", др.-инд. *vapati* "бросает, сеет", др.-сев. *svāf* "копье, дротик", др.-англ. *geswōpe* "мусор, отбросы", др.-сев. *sōfl* "метла", а также русск. диал. *сыпануть* "ударить сильно, внезапно", *сопаться* "драться", *соповать* "окучивать (картофель)", др.-инд. *vap-* "резать, стричь, брить" (с производными: *vapā* "сетчатая оболочка", *vapuṣ-* "удивительный, красивый, чудесный; внешность, фигура, форма, красота, тело"). Параллелью развитию значений русского и древнеиндийского слов может служить русск. *бросать* – русск.-цслав. *бръснѫти* "скрести, брить", русск. *метать* – русск. диал. "бить".

С формальной точки зрения различия между анализируемым словом и данным индоевропейским корнем представляют собой ничто иное, как две ступени одного и того же корня по Э. Бенвенисту: **sų-ép-* – **séu-p-*. В др.-инд. *s-* было переосмыслено как *s*-mobile. В семантическом плане производящая для **seupi/o-* основа имела значение, близкое к др.-инд. "резать", которая и дала значение "чистый" (ср. русск. *чистый* < и.-е. **kei-d-to-s* – корень **kei-* "резать" [Откупщиков 1967 : 173]), ср. др.-инд. *vapuṣ-*. Поэтому мы можем представить семантическое развитие в следующем виде: "выбритый, вырезанный" > "красивый, чистый" > "ритуально чистый, священный" > "ритуально чистое мясо"[9]. Аналогичным представляется и направление деривации:

---

[9] Хет. *šuppi-* обладает лишь одним значением, его производное *šuppešduqara-* демонстрирует, видимо, тесно с ним связанное значение "светлый", "яркий" – ср. др.-русск. *чистый* "ясный". Особенно показателен опубликованный Э. Ноем др.-хет. ритуал бога грозы, в котором данное слово употребляется с названиями сосудов [Neu 1970]. Сосуды также могут употребляться без определения или с GE_6 "черный", причем черные и *šuppešduqara-* сосуды применяются в различных ситуациях: первые – тогда, когда ритуальные возлияния совершает надсмотрщик над поварами (UGULA$^{LU.MES}$MUHALDIM), вторые, – царь (*haššuš*). Этот факт не был отмечен издателем, хотя Э. Ной и заметил противопоставление сосудов. Этот факт в сочетании с более общими сведениями о символике цвета в хеттской традиции: белый – господствующий цвет царского ритуального облачения при размытости второго члена противопоставления – им может быть и красный, и черный, и пестрый; сама оппозиция часто нейтрализуется [Ардзинба 1982 : 54–56] – а также с учетом несомненной связи *šuppešduqara-* с *šuppi-* позволяет сделать вывод о том, что *šuppešduqara-* употребляется в значении, близком к цветовому (но не "белый", см. [Neu 1970]), – "светлый, сверкающий" и в то же время в

П > СП. А.А. Королев в ареальном контексте предполагает развитие *"отрезанный" > *"отдельный, выделенный, особый" > "ритуально чистый", что никак не меняет релевантных для данной работы выводов.

2.2.3. Следует отметить, что оба вывода совпали с традиционными (см. 2.1). Это совпадение нельзя назвать полностью случайным. Мы уже писали выше, что в исторически засвидетельствованных хет.-лув. языках новообразования строятся только по модели П > СП. Значительная часть анатолийских слов возникла уже в период отдельного существования этих языков. Слова, имеющие точные индоевропейские соответствия и восходящие к праязыку или к периоду дифференциации диалектов, значительно менее распространены. Более того, сами синхронные отношения в значительном числе случаев соответствуют диахроническому развитию, на чем и основан механизм внутренней реконструкции. Поэтому критерии, описанные в 2.1., фактически являются конкретизацией статистически преобладающего направления развития П > СП и именно в этом отношении они приемлемы[10]. Нашу же критику их в 2.1. нужно понимать лишь как указание на то, что они имеют исключения – т.е. обладают всеми особенностями статистических методов: не только значительной операциональностью, но и известным упрощением действительности, небольшим количеством ошибок (см. [Фрумкина 1960]). Сами же примеры развития, служившие для опровержения этих критериев, являются значительно более редкими. "Методологически порочным" должно быть признано именно их принятие в качестве "системообразующих" факторов, поскольку сами они являются хоть сколько-нибудь убедительными лишь при наличии особых семантических словообразовательных, фонетических (см. ниже) характеристик одного из членов пары словах[11]. Предлагаемый критерий существенно отличается от обоих типов. С одной стороны, в комбинации с методами внутренней реконструкции (только на материале данных пар слов) он может быть использован для реконструкции тех самых "крайних", более редких явлений, недоступных методам внутренней реконструкции. Причем не только в случаях коренной семантической и словообразовательной перестройки СП по П (см. *ḫuelpi-*), но и в более многочисленных случаях смены лишь "угла зрения" (смены в противоположном направлении мотивации в другой системе – из С > П к П > СП типа "мужской пояс" > / < "мужской"). С одной стороны, без подобных случаев наш подход относился бы к нерегулярным, т.к. принятие этимологических решений, которые вынуждают предполагать значительную вторичную перестройку СП по П, представляется обоснованным лишь при отсутствии этимологий, не требующих предположения перестройки. С другой стороны, специфика последних случаев приводит к тому, что методы внутренней реконструкции самостоятельно не могут эффективно использоваться для обнаружения "отклоняющихся" развитий также и подобного типа. В области обычного направления деривации существуют, однако, критерии, в которых синхронные характеристики одного из членов пары слов практически совпадают с диахроническим процессом деривации. Таков критерий нетривиального синтаксического употребления П. Значимым для него является указание на первоначальное вхождение в систему глагола. Так, хет. *aššu-* "хороший, приятный" употребляется в одном из своих значений – "geliebt" (наиболее близком к производящему глаголу хет. *ašš-* "быть приятным, нравиться") – только предикативно [Weitenberg 1984 : 207]. Данное употребление нехарактерно для *u*-основ хетто-лувийских языков. Оно трактуется как свидетельство о первоначальном причастном употреблении *u*-прилагательных вообще и *aššu-*, в частности. Отсюда можно сделать два вывода: СП *aššu-* "добро, приязнь, имущество" производно от П *aššu-*. В свою очередь, П *aššu-*

силу ритуальной значимости белого, светлого цвета ясно демонстрирует отправную точку развития от значения *šuppi-*.

[10] За исключением синонимического критерия, который вообще несостоятелен – см. [Волкова 1974].

[11] Поэтому при обычном, не нацеленном на выявление описываемых ими фактов анализе, они не должны учитываться. То же относится и к 2.2.5.

образовано от глагола *aš̌š-*, а не от и.-е. **(u̯)osu-* П "хороший", связываемого обычно с и.-е. **(u̯)es-* "быть". С другой же стороны, в отличие от более редко встречающихся форм развития (см. 2.1., 2.2.3.), данный критерий может успешно применяться также и для подтверждения более распространенного направления деривации П > СП (см. выше) с большей надежностью, которая определяется именно его более значительной диахронической ориентацией. Говоря другими словами, при его применении существенно уменьшается количество возможных ошибок. Поэтому результаты его применения, совпавшие с обычной моделью деривации (а таких, естественно, будет значительно больше, чем отличающихся, в силу указанных выше причин), никак не могут считаться тавтологичными по отношению к последним.

2.2.4. Обратим, однако, внимание на следующие факты: *кофе, кофейная* П и СП, *кофейня; спать, спальная* П и СП, *спальня* и т.п. Подобные случаи рассматриваются как использование в качестве формально мотивирующего для СП прилагательного, произведенного от C_1 или глагола, причем это СП семантически мотивируется C_1 или глаголом [Лопатин 1967 : 212]. На первый взгляд, этих данных достаточно, чтобы отказаться и от нашей модели. Однако такое заключение преждевременно. При реконструкции направления производности в подобных парах слов у нас вышло бы независимое образование тождественных по форме П и СП. Это решение трудно назвать убедительным: как лексически (близость значения СП и П, возможность как П > СП, так и C_1 > СП; СП = C_2, в то время как СП > П маловероятно, говорят в пользу аттракции значения СП при самом процессе субстантивации П к C_2-производным от C_1-глагола из-за их недостаточной семантической дифференцированности), так и формально П и СП недостаточно обособлены для независимого происхождения в отличие, скажем, от праслав. **mьrkъ* (серб.-хорв. *мрк* "затмение", чеш. *mrk* "мигание, подмигивание") и праслав. **mьrkъ(jь)* (серб.-хорв. *мрк* "черный", СП *мрка* "домашнее животное с черной шерстью"): П **mьrkъ* на славянской почве соотносится с глаг. **mьrkati* (чеш. *mrkati* "мигать", словен. *mrkati* "темнеть, затмеваться (о солнце)"), а С **mьrkъ* произведено от этого глагола [ЭССЯ 1994]; а также болг. диал. *мека* "шерсть", словен. *meka* "дождливый июнь" (<П, сохраненное в праслав. **mękъkъjь* "мягкий" **mękati* "бить") – русск. диал. *мяка* "обжора" (< **mękati* в значении "есть с аппетитом, есть без разбора") [ЭССЯ 1993], где имеется достаточное семантическое различие, находящее поддержку в значениях производящих слов. Поэтому реконструкция групп слов, типа приведенных выше, в нашей модели будет соответствовать действительности.

Показательным примером такого развиия в хетто-лувийских языках может служить хет. *ḫaršiḫarši* "гроза". Это слово с формальной точки зрения тождественно ^{DUG}*ḫarši-* (засвидетельствовано также ^{DUG}*ḫaršiḫarši*, что послужило для Я. Пухвела [Puhvel 1991 : 198–199] указанием на непосредственную связь обоих слов. Основным аргументом при этом является контекст KUB XXV 23 I 38–39 GIM *-an-ma ḫa-miš-iš-ḫi te-et-ḫa-i nu-kan* ^{DUG}*ḫar-ši-ya-al-li gi-nu-wa-an-zi ma-at ḫar-ra-an-zi ma-al-la-an-zi*, который Я. Пухвел трактует как ритуальное воспроизводство звука грома посредством скрежета каменных сосудов. Таким образом, *ḫarranzi mallanzi* употребляются, по его мнению, для обозначения трения с целью получить определенный, напоминающий гром, звук. Однако вместе оба эти слова во всех других контекстах употребляются для обозначения обработки зерна, представляя две последовательные ступени этого процесса. Контекст же KUB XXVII 15 IV 10 ^{DUG}*ḫar-ši-ya-al-la-aš* ZIZ NINDA. KUR_4. RA DU-*an-zi* описывает содержимое сосуда (которое обычно подразумевается), состоящее из особого сорта пшеницы, перерабатываемой в дальнейшем в "толстый хлеб". В таком контексте следует скорее предположить вполне ожидаемый семантический сдвиг в значении *ḫaršiyalli*, а именно метонимическое значение

содержимого сосуда с зерном – само зерно. Что же касается попытки В.Г. Ардзинбы [Ардзинба 1982 : 17] объяснить возникновение данного слова как "бог грозы зерна" на том основании, что соответствующие сосуды были посвящены божествам грозы, в ведении которых находились дожди и которые считались попечителями зерна, то необходимо заметить следующее. (1) *ḫarši-* не обозначало зерна. Единственный раз, когда это значение можно предположить (см. выше), оно является контекстуально связанным и зависимым от *ḫarši-* сосуда, употребленного в той же фразе. *ḫarši-* же обозначало только сосуды, содержащие и другие продукты. (2) Данные сосуды не ассоциируются исключительно с богом грозы [Gurney 1940]. (3) В свете ^{D}U *tetḫešnaš* "бог грозы" ^{D}U *ḫaršiḫaršiyaš* значит именно "бог грозы", при том, что *ḫaršiḫaršiḫarši* употребляется и для неперсонифицированного обозначения грозы. Таким образом, при желании сохранить эту этимологию пришлось бы предполагать образование названия бога грозы (а от него и "грома" вообще) от обычного сосуда только из-за того, что некоторые сосуды такого типа хранились в храме бога грозы, что неубедительно. Таким образом, формы типа ^{DUG}*ḫaršiḫarši* должны объясняться как результат контаминации, однако происхождение *ḫaršiḫarši* все же остается темным. Высказывалось мнение о его звукоподражательном характере [Tischler 1983 : 187]. Звукоподражательность в данном случае несомненно имеется, но было бы ошибкой списывать на нее целиком образование всего слова: игнорировалась бы весьма частая типологическая параллель образования "грозы, грома" от глагола со значением "бить" – звукоподражательная, но не на уровне ономатопоэтического возникновения корня, а на уровне мотивации производного слова, поддержанная и усиленная впоследствии редупликацией. На более раннюю нередуплицированную форму данного слова указывает и анат. **harsal-* "злой, сердитый" (хет. *ḫaršallant-* т.ж., иер. лув. *harsalai* "сердиться")[12], которое так же соотносится с *ḫarši-* как *šuppal* – с *šuppi-*. Что же касается значений обоих слов, то ср. др.-сев. *gramr*, др.-в.-нем. *gram* "сердитый, свирепый", авест. *gram-* "сердиться" – слав. **gromъ*, где значения "сердитый, злой" считаются развившимися из "гром" [Buck 1949 : 1135]. Ср. также многочисленные хеттские контексты, где "гроза, гром" соотносятся с гневом (особенно богов): ^{d}*Te-le-pí-nu-uš le-e-la-ni-ya-an-za ú-it ú-ua-an-ti-ua-an-ta-az ti-it-ḫi-iš-ki-it-ta kat-ta da-an-ku-i te-e-kán za-aḫ-ḫi-iš-ki-iz-zi*, который Х. Хоффнер переводит как "in a rage Telepinu came, with lightning he thunders, the dark earth he assails" [Hoffner 1974 : 18–19]. См. также KUB XXXII 117 Rs. 3–4 na] – *ššu šarāuuar n[a]ššu-ma ḫaršiḫarši ... ḫeyaueš-a* "гнев ли или буря и дожди". Ср. также литов. *griausti, griauti* "thunder" и литов. *griauti* "overthrow, destroy" [Buck 1949 : 58]. В таком контексте представляется более убедительным именно развитие "бить" > "гроза" > "злой, сердитый" несмотря на типологическую возможность независимо от "грозы" возникновения значения "сердитый" (ирл. *bare* "гнев" – лат. *ferīre* "бить", литов. *barti* "ругать", ст.-слав, *братu* "сражаться" [Buck 1949: 1135]). Итак, *ḫaršiḫarši* в конечном счете восходит к тому же корню **hars-*, что и *ḫarši-* "толстый" и, следовательно, *ḫarši* "толстый сосуд", но непосредственно с двумя последними словами не связан.

2.2.4.1. В то же время вывод о раздельном возникновении пар слов, близких к разобранным в 2.2.4., достаточно часто делается в анатолистике и осложняется, к тому же, действиями многочисленных контаминаций. Так, ^{NINDA}*ḫarši-* "толстый хлеб" возводится к праанат. корню **hars-*/**harz-* "хлеб" (сравниваемому с греч. ἄρτος "хлеб"), наряду с хет. *ḫarzazu*, обозначающим блюдо из хлеба [Georgiev 1966].

---

[12] Связь *ḫaršallant-* с *ḫaršar* (так [Puhvel 1991 : 185–186]) маловероятна, т.к. (1) единственная приводимая параллель – англ. *at loggerheads* "в ссоре" имеет другую внутреннюю форму (образ столкновения головами), никак не "принадлежащий голове", (2) в хеттской картине мира местом сильных эмоций (и злобы) являлась *ZI=ištanzan* [Van Brock 1960 : 144–145], а не голова.

Принципиально сходно и сравнение хет. *ḫarši-* (в данном случае его значение определяется как "хлеб, сосуд (ритуальный)") с лик. Б *qirze* "добыча, доля"[13] [Королев 1976; Шеворошкин 1967]. Я. Пухвел привлекает хет. *ḫaršar, ḫaršan-*"голова", а также хет. *ḫaršupanni* и *ḫarašpaṷant-*, обозначающих изделия из хлеба (в двух последних он видит деминутивные образования от основы *ḫarši-*; при этом постулируется сначала выпадение *-i-*, а затем в одном из слов и *u-* [Puhvel 1991 : 190–198]. Более вероятным представляется решение Х. Хоффнера о реконструкции **harspa-*. Учитывая, что *-u-* используется для написания группы согласных [Hoffner 1974 : 160], этот реконструкт можно считать однокорневым по отношению к *ḫarši-* образованием). При этом существование П *ḫarši-* "толстый" либо игнорируется [Georgiev 1966]; либо отрицается [Puhvel 1991 : 190–198] (см. прим. 14). Все гипотезы по поводу родственных связей *ḫarši-* можно примирить, если считать производящей основой хет. *ḫarš-* "пахать" (ср. родственное хет. *ḫarra-* "дробить, разрушать", лик. Б *kixre* "разбивать, разламывать" [Баюн 1985]): ср. широко распространенные развития значений: "дробить" > "кусок" (> "доля") > "хлеб" [Откупщиков 1967 : 215]; "кусок, осколок" (> "черепок" >) "сосуд": серб.-хорв. диал. *лупља* "посудина" – блр. диал. *лупля* "взбучка" (праслав. **lupja*, образованное от **lupiti* "бить, драть, ударять") [ЭССЯ 1990]. Исходя из той же производной основы можно объяснить и *ḫarši-* "толстый" как развившееся из "дробный" – см. русск. диал. *дробный* "тучный" [ЭССЯ 1978]. Менее вероятно объяснение Я. Пухвела, который представляет семантическую эволюцию в виде "голова" > "хлеб, сосуд", возводя *ḫaršar* к и.-е. **ḱr̥Hs-n/r-* (вед. *çīrṣan* - "голова" и т.п.), что само по себе возможно. В поддержку такого развития Я. Пухвел приводит лишь франц. *boule* "bowl, ball, head, military ration loaf". Однако этот пример не показателен, т.к. франц. слово восходит к лат. *bulla* "водяной пузырь, шар" и значение "голова" никак не может рассматриваться как первичное.

Аналогична и этимология *ukturi-*, значение которого трактуется как "погребальный костер" [Bader 1977 : 117; Вяч.Вс. Иванов 1981]. В соответствии с этой этимологией данное слово является образованием с суф. *-turi* от и.-е. **u̯oĝ-eje-* "зажигать, разжигать, раздувать; возбуждать, оживлять, вздымать" (лат. *uegēre* то же, др.-инд. *vājayati* то же, др.-англ. *weccan* "будить, возбуждать, зажигать (огонь)"), являющегося каузативом от и.-е. **u̯eĝ-*[Watkins 1973]. Ср. именные производные от этого корня, обозначающие приспособления для разведения огня: авест. *ātrə vazana* "приспособление для разведения огня", др.-инд. *upa-vājana* "веер". Типологически данное развитие вполне реалистично: скт. *idh-* "разжигать, зажигать", греч. αἴθω то же, скт. *edhas* "топливо" – др.-ирл. *āed*, др.-англ. *ād* "погребальный костер". Исходя из этой же производящей основы можно объяснить и возникновение П *ukturi-* в значении "вечный, крепкий, прочный" – ср. однокоренное лат. *vegetus* "сильный".

Если же мы обратимся снова к значениям этих пар слов, то увидим возможность сохранения данных этимологий лишь при принятии контаминаций. Так, NINDA*ḫarši-* скорее значит именно "толстый хлеб" (действительно использующийся в ритуальных целях). Это подтверждается его взаимозаменяемостью с шумерограммой NINDA KUR$_4$. RA "толстый хлеб", что также показывает безосновательность попытки Я. Пухвела отрицать существование *ḫarši-* П[14]. В данной связи возникает вопрос:

---

[13] Для ликийского менее вероятно значение "жертвенный хлеб" [Баюн 1990б : 65]. Скорее всего, лик. Б слово восходит к **harsa-*, а не к **harsi-*, т.к. *i*-основы обычно хорошо сохранялись в лувийских языках [Баюн 1980]. Что же касается корня, то *-ir-*, скорее всего, результат вокализации *-*r̥-* (в свою очередь *-r̥-*<**ar-* в результате обычной для лик. синкопы – ср. хет. *išpart-* "возвышаться" – лик. Б *sbirte* "памятник").

[14] Собственно говоря, из-за незасвидетельности П формирование признакового компонента все же могло идти и в рамках самого существительного (см. **kreuH-*). Однако сомнительность независимого параллельного

каким еще образом могла возникнуть подобная взаимозаменяемость? Апеллирование к ошибкам представляется нам очень ненадежным. Значительно более обычным является вытеснение слова из языка под влиянием синонимов – *daššu(want)-*, KUR4. RA, *ŠAPŮ*. Лишь в одном контексте есть некоторые основания для постулирования другого чем "толстый хлеб" значения – KUB XXV 23 1 18, 44, 49, где NINDA KUR4. RA находится в линейной последовательности с анализируемым словом [Hoffner 1974 : 156] и, следовательно, ^{NINDA}*ḫarši-* может иметь какое-нибудь другое значение. Однако и данный контекст не очень показателен, т.к. он может отражать и тавтологическую, избыточную манеру наименования одного и того же предмета, характерную для большинства древних и.-е. языков, в том числе и для хеттского. К близкому выводу приходит и Х. Хоффнер. Совершенно фантастическим выглядит перевод данного сочетания как "bread of loaf (shape)" Я. Пухвелом.

Что же касается *ukturi-* СП, то при определении его значения слишком прямолинейно отождествляют внеязыковую реалию и ее отражение/обозначение в языке: из того, что данное слово использовалось для называния погребального костра, делают вывод, что и его значением было "погребальный костер". При этом не принимаются во внимание следующие факты: 1) ни в одном контексте с *ukturi-* нет указаний на то, что это слово обозначало какой-либо вид огня: в KUB XXX 15 Vs 10, на основании которого чаще всего делается подобный вывод, при описании тушения огня используется шумерограмма IZI "огонь", а не *ukturi-*, которое обозначает место, где был разведён огонь; 2) во всех остальных ясных употреблениях *ukturi-* обозначает ритуально отмеченное место, где (а) стоит горшок, в который помещается нечистота, либо нечистота складывается на *ukturi-* и тем самым нейтрализуется её вредное действие; (б) приносят жертвы при ритуальном очищении скота и людей [Otten 1955, 1958]. Поэтому, если мы хотим сохранить для *ukturi-* значение, связанное с огнём, это может быть только "кострище, очаг" (хотя он нормально обозначается хет. *ḫaššaš*), а не "вечный огонь". Однако у нас сохраняется и другая возможность. Существуют весьма показательные типологические данные – закреплённые участки земли, сделанные пригодными для жизни и ритуально чистыми при помощи огня, алтаря, жертвенника, столба. "... Германские обряды ... первоначально были ничем иным, как обеспечивавшим сакрализацию этой территории ... ритуальным воспроизведением мифологической схемы космогонического характера... В данном случае речь могла идти о чём-то вроде создания пригодной для жизни тверди" [Аникин 1988 : 65–66]. В их свете *ukturi-* может значить "твердь, ритуально устойчивое место". Отсюда следует, что при равных прочих возможностях наиболее простым и соответствующим обычному положению дел будет понимание значений данных СП как соотнесенных со значениями П. Таковы отношения в подавляющем числе подобных пар слов[15]. Отсюда также следует вывод, что, как и при любой реконструкции, предпочтение надо отдать более обычному развитию: отсутствию контаминаций и мотивации П > СП в обоих случаях. И если для *ḫarši-* вполне вероятно формирование семантики СП на основе аттракции к (так сказать, на фоне) C_2C_2, то развитие СП *ukturi-* и его индо-иранских соответствий было, скорее всего, независимым, в пользу чего свидетельствует, кроме всего прочего, их не слишком большая семантическая близость. Любопытно отметить, что значение "зажигать" данного глагола ни в одном другом индоевропейском языке не образовало ничего, даже отдаленно напоминающего название огня[16].

2.2.4.2. Другим рядом фактов, "опасных" для нашей модели, являются те случаи, где СП, образованное (в ясных случаях) от П, совпадает по значению с C_1: словен. *mǫ̑ž* "мужчина" > *moški* "мужской, мужественный, гордый" > *mošk*i "мужчина", "человек

развития одного и того же признакового компонента и у ^{NINDA}*ḫarši-* и у ^{DUG}*ḫarši-* заставляет все же предположить существование П.

[15] Которые, к тому же, составляют продуктивную модель.

[16] Да и само оно так и осталось контекстно обусловленным.

мужского пола". Сюда же, видимо, относятся и хет. ^{DUG}*ḫarši-* "кувшин, широкий сосуд" > (*П >) ^{DUG}*ḫaršiyalli* то же, а также "пифос", хет.^{DUG}*lelḫundai* > (*П) > *lelḫuntalli* – синонимичные названия ритуальных сосудов. Предлагаемое объяснение лучше подходит для хеттских слов, чем выдвигаемое Н.Ван Брок деминутивное значение соответствующих производных [Van Brock 1962 : 109–110, 113], хотя бы потому, что доказать какое-либо реальное различие в их значениях невозможно (это признает и сама Н. Ван Брок). Также ошибочным представляется мнение О. Герни, который, считая, что производящая основа и производное на *-alli* не могут быть синонимами (и в этом он был прав – производные -С на *-alli* от С последним не синонимичны), возводил ^{DUG}*ḫaršiyalli* к ^{NINDA}*ḫarši* "толстый хлеб" (у него: "нормальный хлеб") с первоначальным значением "сосуд для (содержащий) нормального хлеба" (в реальном употреблении оба предмета содержат и хлеб, и прочие продукты – в основном, зерно), а ^{DUG}*ḫarši-* к ^{DUG}*ḫaršiyalli* как результат обратного словообразования [Gurney 1940]. Объяснение О. Герни за исключением последнего пункта принимает и Я. Пухвел [Puhvel 1991 : 190–198]. Однако оно не приложимо к другим аналогичным случаям и из-за своей относительной сложности должно быть отвергнуто. В общем же плане следует, видимо, ввести следующее ограничение: в случае тождества семантики С и СП, СП признается производным от П. Основанием этому служит тот факт, что тождество семантики C_1 и C_2 при аффиксальном словообразовании, как правило, признается результатом выветривания значения аффикса, т.е. реконструируется промежуточное звено. В данном случае это звено (П) уже представлено.

2.2.5. В вопросе о возможном несовпадении семантического развития и направления словообразования (а именно о возможности сохранения более архаичного значения в производном) мы вернемся к проблемам, затронутым в 2.2.3. Как уже говорилось, наш критерий примыкает к "системообразующим" критериям, отличаясь от них большей ориентированностью на предшествующие системы и индивидуальные развития (он этимологичен, а следовательно, атомичен). Естественно, к нему, как и к любому системообразующему критерию, имеется ряд исключений, которые никак критерий не опровергают, а лишь указывают на его статистический характер. Важно подчеркнуть, что наш метод является все же более операциональным, чем критерии из 2.1., т.к. последние не описывают регулярных фактов предшествовавшей языковой системы, а также процесса деривации С > П, который проходил под давлением системы, где нормой было П–СП. При завершении реального процесса деривации направление мотивации устанавливалось как П > СП. Наш же критерий не описывает лишь случаев, нарушающих словообразовательную систему, являющихся, судя по эмпирическому материалу, например, ЭССЯ довольно малочисленными[17].

2.2.6. Как мы попытались показать в предыдущем изложении, собственно словообразовательный критерий, играющий столь большую роль в ряде концепций [Откупщиков 1967; Соболева 1959 : 92–93], либо непоказателен (так, хет. *šuppeš-* "стать чистым", *šuppeššar, šuppiyatar* "очищение", *šuppiyaḫ* – "очищать" от *šuppi-* (при отсутствии производных от *šuppa*) в силу своей продуктивности – это стандартный набор для каждого П – ничего не говорят о направлении диахронической деривации[18],

---

[17] Тем более, что сам факт подобного несоответствия – в компенсаторной трактовке [Трубачев 1988], или в генетической [Маковский 1992] – только и мыслим при наличии формально выраженной производности.

[18] Предположительно однокоренное хет. *šuppal* в силу двусмысленности словообразовательного аффикса (слова на *-al* образовывались не обязательно от *i*-основ: наряду с хет. *luppi-* "клинописная табличка" – *luppal* "писец" существует и хет. *išḫiyal* – "Band, Binde" – *išḫay-* "связывать") также не дает возможности уточнить этимологию хет. *šuppi-*. Положение дел усложняется и неясностью значения *šuppal* : "какое-то домашнее животное". Возникновение этого значения могло произойти следующим образом: либо < *"кастрированное животное" (ср. цслав. *бравъ* "мелкий скот" < праслав. **borvъ* "кастрированное животное" [ЭССЯ 1975]) < "кастрировать" < "резать"; либо < *"ритуально чистое животное" (наиболее значимое животное > животное par excellence – ср. обозначение в др.-инд. ритуале *açvamedha* задней части коня как "скот" (*paçu*) [Гамкрелидзе, Иванов 1984 : 482, прим. 1; 483]).

либо должен использоваться с большой осторожностью (см. 2.2.4.). Собственно говоря, словообразовательный критерий может доказать лишь большую "укорененность" П или СП в той языковой системе, которая служит *отправной точкой при анализе*. Степень соответствия этой "укорененности" (видимо, тождественной синхронной мотивации) диахронической производности может, естественно, варьироваться. Их близкое к *полному* соответствие наиболее вероятно при наличии редких и непродуктивных моделей, что доказывает малую операциональность словообразовательного критерия. Так, мы не исключаем возможности влияния C_2 на формирование значений СП *ḫarši*, но данное влияние остается приблизительно в такой же степени возможным, в какой оно могло и не произойти из-за "среднего" характера аффиксов C_2C_2. Подобное положение дел статистически доминирует. Поэтому нам представляются более диагностичными фонетические и в меньшей степени морфонологические критерии. Это удобно продемонстрировать на следующем примере: праслав. **bagra* (болг. *багра* "краска, цвет", серб.-хорв. *bagra* "растение Puccinia graminis", "красная краска, вид морской рыбы", блр. *багра* "пурпур"), **bagrъ* (ст.-слав. *багръ* "багрец", болг. *багър* "багряница, порфира" и т.п. – болг. *багър* "багряный") – **bagno* "болото, грязь, багульник", **bagnъ* "болото, багульник", **bagy* "болота", сюда же часто относят нидерл. *baggaert* "ил, тина, грязь" (<**bhagh-ro-*), герм. **bakki-* (<**bhag-ni-*): др.-сакс. *beki*, др.-англ. *becc*, др.-сев. *bekkr* "ручей", др.-ирл. *būal* (?) "вода" (<**bhogh-la-*) [ЭССЯ 1974], а также др.-макед. (Гес.) ἄβαγνα "розы" [Цымбурский 1984]. Данная группа слов, на первый взгляд, полностью параллельна русск. диал. *руда* "кровь", укр. "ржавое болото", блг. "грязь", польск. *ruda* "сырой луг", литов. *raudà* "красная краска, плотва", *raudas* "красный, красноватый" и т.п., производимых из и.-е. **roudho-* "красный" [Аникин 1993]. Само по себе семантическое развитие может быть двунаправленным ("болото (торфяное)" (> "вода", "грязь") > "багровый"; "багровый" > "болото" – в обоих случаях многочисленны параллели (например, русск. *болото*)). Но на основании редкого чередования придыхательного и непридыхательного в ауслауте, а также аблаута *a:o*, обнаруживающихся исключительно в словах со значением "грязь, болото", первое направление деривации должно быть признано значительно более вероятным. На этом основании мы можем сделать вывод о различном времени и характере возникновения таких, с точки зрения обыденного сознания, близких значений СП по отношению к П:С "болото" > П "темно-красный", в то время как СП – названия растений, рыбы, краски, ткани < П (см. *ḫarki-*). В ряде случаев не вполне ясно, что явилось непосредственным источником мотивации: П или С: так др.-макед. ἄβαγνα "болотное растение с сильным запахом, багульник" (так В.Л. Цымбурский), либо < "растение с красными цветами"? Приведенную этимологию **bagra*/ъ следует предпочесть возведению этого слова к ряду лексем со значением "жечь, гореть, пылать" [ЭССЯ 1974] из-за теснейших словообразовательных связей с **bagno*/ъ, подкрепляемых не менее обычной семантической эволюцией – см. укр. *багрина* "болото, место, богатое источниками". *Предположение о возникновении* звукового облика украинского слова в результате вторичных преобразований никак не выводимо из имеющегося материала, равно как и мысль о различии ареалов распространения **bagra*/ъ и **bagno*/ъ (см. блр. слово) (так [ЭССЯ 1974]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Айхенвальд А.Ю. и др. 1985 – Материалы к реконструкции культурно-исторического процесса в древней Малой Азии. I. // Эпиграфические памятники древней Малой Азии и античного Северного и Западного Причерноморья как исторический и лингвистический источник. М., 1985.

Айхенвальд А.Ю. и др. 1987а – Материалы к реконструкции культурно-исторического процесса в древней Малой Азии. II. // Надписи и языки древней Малой Азии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1987.

Айхенвальд А.Ю. и др. 1987б – Материалы к реконструкции культурно-исторического процесса в древней Малой Азии. II. // Надписи и языки древней Малой Азии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1987.

Аникин А.Е. 1988 – Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988.

Аникин А.Е. 1993 – Руда и ржа // Из истории русских слов. М., 1993.

Ардзинба В.Г. 1982 – Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982.

Баюн Л.С. 1980 – Позднеанатолийские языки как источник по хетто-лувийской дописьменной истории (на материале милийской исторической грамматики) // ВДИ, 1980. № 2. С. 21.

Баюн Л.С. 1985 – Некоторые вопросы реконструкции общеанатолийского глагольного строя // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 9.

Баюн Л.С. 1990а – Опыт сравнительного исследования хетто-лувийских языков. Дис. ... доктора филол. наук. М., 1990.

Баюн Л.С. 1990б – Ликийцы в этнокультурной истории древней Анатолии (по лингвистическим данным). I. // Эпиграфические памятники и языки древней Анатолии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1990.

Волкова Н.О. 1974 – К вопросу о направлении производности при конверсии в парах имя-глагол // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 9. М., 1974. С. 55–56.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Кн. 1–2. Тбилиси, 1984.

Герценберг Л.Г. 1981 – Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981. С. 91.

Жирмунский В.М. 1946 – Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-историческом освещении // ИАН СЛЯ. Т. 5. Вып. 3. 1946.

Иванов Вяч.Вс. 1955 – Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1955.

Иванов Вяч.Вс. 1961 – Из истории индоевропейской лексики клинописного хеттского языка // Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии. М., 1961.

Иванов Вяч.Вс. 1980 – Разыскания в области анатолийского языкознания. 17–19. // Этимология 1978. М., 1980. С. 170.

Иванов Вяч.Вс. 1981 – Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981. С. 104.

Климов Г.А. 1977 – Типология языков активного строя. М., 1977.

Климов Г.А. 1992 – Из истории имени прилагательного (картвельские данные) // ВЯ. 1992. № 5.

Королев А.А. 1976 – Хетто-лувийские языки // Языки Азии и Африки. Т. 1: Индоевропейские языки. М., 1976.

Кубрякова Е.С. 1968 – О понятиях синхронии и диахронии // ВЯ. 1968. № 3.

Кубрякова Е.С. 1978 – Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978.

Курилович Е. 1964 – Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи // Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.

Лопатин В.В. 1967 – Субстантивация как способ словообразования в современном русском языке // Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967. С. 212.

Маковский М.М. 1971 – Теория лексической аттракции. М., 1971.

Маковский М.М. 1992 – Лингвистическая генетика. М., 1992.

Откупщиков Ю.В. 1967 – Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.

Откупщиков Ю.В. 1969 – Словообразовательные методы и этимология // Этимология 1967. М., 1969.

Соболева П.А. 1959 – Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии // ВЯ. 1959. № 2.

Трубачев О.Н. 1976 – Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

Трубачев О.Н. 1980 – Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.

Трубачев О.Н. 1988 – Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988. С. 203–205.

Улуханов И.С. 1977 – Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее исследования и описания. М., 1977.
Улуханов И.С. 1992 – Мотивация и производность // ВЯ. 1992, № 2.
Фрумкина Р.М. 1960 – Применение статистических методов в языкознании // ВЯ. 1960. № 4.
Цымбурский В.Л. 1984 – К интерпретации некоторых древнемакедонских глосс // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984. С. 154–155.
Шеворошкин В.В. 1967 – Лидийский язык. М., 1967. С. 62.
ЭССЯ 1974 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974.
ЭССЯ 1975 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 2. М., 1975. С. 75.
ЭССЯ 1978 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 5. М., 1978. С. 117–122.
ЭССЯ 1981 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 8. М., 1981. С. 194–198.
ЭССЯ 1990 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 16. М., 1990. С. 185.
ЭССЯ 1992 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 19. М., 1992. С. 90.
ЭССЯ 1993 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 18. М., 1993. С. 240.
ЭССЯ 1994 – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 21. М., 1994. С. 136–137.
Bader F. – Emplois récessifs de i.-e. **-tu* // BSLP T. 72, fs. 2, 1977.
Buck C.D. 1949 – A dictionary of selected synonyms in the principal IE languages. Chicago, 1949.
Čop B. 1971 – Indogermanica minora. Sur les langues anatoliennes. Ljubljana, 1977. P. 7.
Georgiev V. 1966 – Heth. *ḫarzazu* // MIO, 1966. Bd. XI. Hf. 2.
Goetze A. 1964 – Language. 1954, V. 3, N 3, rev.: Friedrich J. Heth. Worterbuch.
Gurney O.H. 1940 – Hittite Prayers of Mursili II // Annals of archeology and anthropology. 1940, V. 27. P. 120–124.
Gusmani R. 1968 – Il lessico ittito. Napoli, 1968.
Hoffner H. 1967 – An English–Hittite glossary // RHA T. XXV, f. 80, 1967.
Hoffner H. 1974 – Alimenta hethaeorum. Food production in Hittite Asia Minor. New Haven, 1974.
Kronasser H. 1962–1966 – Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden, 1962–1966.
Marchand H. 1964 – A set of criteria for the establishing of derivational relationship between words unmarked by derivational morphemes // IF 1964 Bd. 69. Hf. 1.
Neu E. 1970 – Ein hethitisches Gewitterritual // StBoT. Hf. 12, Wiesbaden, 1970. S. 68–69.
Neu E. 1983 – Glossar zu den althethitischen Ritualtexten // StBoT 26, Wiesbaden, 1983. S. 174.
Otten H. 1955 – Orientalistische Literaturzeitung. Bd. 50, N 819, 1955 – Rec.: Çığ M., Kizilyay H. Istanbul Arkealojisi müzelerinde bulunan Boğazköi tabletleri III. Istanbul. 1954. S. 393.
Otten H. 1958 – Hethitische Totenrituale. Berlin, 1958. S. 141.
Pokorny J. 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern. 1959.
Puhvel J. 1979 – Bibliotheca orientalis XXXVI, N 1–2, 1979. Rev. Tischler J. Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1983. S. 57.
Puhvel J. 1984 – Hittite etymological dictionary. V. 1–2. Berlin–New York, 1984.
Puhvel J. 1991 – Hittite etymological dictionary. V. 3. Berlin–New-York, 1991.
Starke F. 1990 – Untersuchung zur Stammbildung des keilschriftluwischen Nomens // Studien zu den Boğazköi Texten Hf. 31. Wiesbaden, 1990.
Sturtevant Ed.H. 1936 – A hittite glossary. Philadelphia, 1936. P. 166.
Tischler J. 1983 – Hethitisches etymologisches Glossar. Bd. 1. Innsbruck, 1983.
Van Brock N. 1960 – Hittite *kartimmiya* // Revue hittite et asianique. T. XVIII. fasc. 66–67, 1960. P. 143–147.
Van Brock N. 1962 – Dérivés nominaux en *-l* du hittite et du louvite // RHA. T. XX, Fasc. 71, 1962.
Van Windekens A. 1976 – Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. V. 1. La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976.
Watkins C. 1973 – Etyma Enniana. *Uegeō* // Harvard Studies in Classical philology. V. 77, 1973. P. 195–199.
Watkins C. 1975 – La désignation i.-e. du "tabou" // Langue, discours, société. Pour E. Benveniste. Paris, 1975.
Weitenberg 1984 – Die hethitischen *u-* Stämme. Amsterdam, 1984.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1996 г. Л.Ю. АСТАХИНА

ДРЕВНЕРУССКАЯ РУКОПИСНАЯ КАРТОТЕКА XI–XVII ВВ.*

В 1995 г. исполнилось 70 лет Картотеке ДРС. Те, кто стоял у ее колыбели, стали классиками отечественной лингвистики, литературоведения, истории, палеографии, археографии. Имена их навсегда остались в истории этих наук.

Известность их не зависела от судьбы картотеки. И не известности они добивались, когда в мае 1925 г. *прослушали* доклад акад. А.И. Соболевского, а 22 сентября приняли решение о создании картотеки. Они хотели сохранить для будущих поколений то, что сделали сами, что было накоплено в результате их многолетнего труда и опыта. И мы, наследники, должны сберечь и передать следующим поколениям ученых то, что получено нами, сохранено и приумножено. Сберечь и передать этот удивительный мир слова, мир множества слов, мир всех слов русского языка, от XI века, от первых сохранившихся письменных памятников, до середины XVIII в.; мир слов тех рукописных произведений, которые были утрачены во время Великой Отечественной войны в Киеве и Смоленке: в картотеке сохранились выписки из них.

А в 1925 г. под председательством акад. В.М. Истрина академики, входившие в Отделение русского языка и словесности (ОРЯС): Е.Ф. Карский, Н.П. Лихачев, П.А. Лавров, Б.М. Ляпунов, Н.К. Никольский (при отсутствовавших А.И. Соболевском, М.Н. Розанове, В.Н. Перетце и М.Н. *Сперанском*) – приняли решение "образовать при Отделении Комиссию по собиранию словарных материалов по древнерусскому языку, председателем ее назначить А.И. Соболевского и поручить ему ее организацию". Это решение положило начало будущей Картотеке ДРС (см. Выписку из Протокола XIII заседания ОРЯС 22 сентября 1925 г., копия хранится в архиве Картотеки ДРС ИРЯ РАН; и Докладную записку А.И. Соболевского о составлении словарей древнерусского и старорусского языка – ВЯ. 1960. № 2).

Академик А.И. Соболевский до самой своей кончины работал в московских архивах с рукописными текстами XV–XVII вв. Именно этот период не получил отражения в вышедших из печати в 1912 г. "Материалах для словаря древнерусского языка" акад. И.И. Срезневского. Долгое время считалось, что поздние памятники ничего нового для истории русского языка дать не могут, да и скорописные почерки этого времени невозможно читать без определенной подготовки. А.И. Соболевский *читал скоропись* свободно. В Картотеке ДРС сохранились выписки из 277 источников, сделанные его *рукою*. Более 104 тыс. карточек, своих и своих московских коллег и единомышленников, отправил он в Академию наук в Петербург (Петроград, Ленинград) в 1926–1929 гг. Он сам делал списки источников и в особой так называемой "черной" тетради (*у нее – черный переплет*) составлял первый каталог картотеки, в котором записывал не только библиографические данные памятников, но и количество карточек, и фамилию выборщика. Это были московские профессора, преподаватели гимназий, сотрудники Российского Исторического музея: Н.П. Попов, Н.Л. Туницкий, И.М. Та-

*Подготовка статьи к изданию осуществлена на средства гранта РГНФ № 95–6–32115.

рабрин, А.Д. Седельников, М.Ф. Богданова, А.М. Селищев, В.Ф. Ржига, внук известного академика Ф.В. Буслаев, С.И. Соболевский. И – Т.А. Борзова, Е.Н. Каринская, о которых ничего неизвестно, кроме фамилий и расписанных ими памятников.

Академик А.И. Соболевский торопился: в 1925 г. ему было 68 лет. Два года тому назад, в 1923 г., уже стало известно о намерении слить ОРЯС с Отделением истории и филологии. Тогда академик В.М. Истрин выступил с Запиской (составленной в основе М.Н. Сперанским) в защиту *Отделения русского языка и словесности* (см.: СПб отделение Архива РАН. Ф. 9, оп, № 1133, л. 4 об. – 14).

Теперь самое время было подумать о судьбе накопленных научных материалов[1]. А.И. Соболевский взял на себя всю работу по организации Комиссии. Он предложил составлять картотеку по четырем направлениям: для словаря церковнославянского языка расписывать все те русские тексты, которые дошли до нас в списках не позднее XIV в. и в которых нет признаков русского происхождения, чтобы продолжить Словарь А.Х. Востокова. Такие материалы уже начал собирать Н.Л. Туницкий. Второе направление – продолжение "Материалов" И.И. Срезневского, в которых охвачена была русская письменность преимущественно XI–XIV вв. Третье – собирание материалов для словаря языка Московской Руси по памятникам литературы, законодательства и делопроизводства, оригинальным и переводным XV–XVII вв., периода формирования русского национального языка. И четвертое направление – подготовка базы для словаря русского языка Польско-Литовской Руси по памятникам XIV–XVII вв.

В 1929–1934 гг. во главе этой комиссии, которая вначале была слита с Постоянной Словарной комиссией, а затем на правах секции вошла в Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра (ИЯМ), стоял акад. М.Н. Сперанский. Но начавшееся в феврале 1934 г. так называемое "дело славистов" привело к его аресту, изгнанию из Академии и фактически домашнему заключению на четыре года – он скончался 12 апреля 1938 г. [Ашнин, Алпатов 1994].

М.Н. Сперанский прекрасно читал скорописные памятники, сам расписывал их для картотеки и отправлял в Петербург к Е.Н. Шиповой. Она была в 1932–1933 гг. тем сотрудником, в руках которого были сосредоточены материалы комиссии. В письме к С.П. Обнорскому в апреле 1933 г. он писал: "Кстати, вот Вам отчет о сделанном и делаемом: пока жатва невелика... только 1300 карточек... Так немного карточек набралось потому, что я за это время возился с выборкой из рукописных текстов притом с иноземными оригиналами в руках, что значительно осложняет и писание карточек и замедляет выборку, т.к. приходится дело делать не дома, а в рукописных отделениях" (Письмо М.Н. Сперанского С.П. Обнорскому. 24 апреля 1933 г. Хранится в СПб отделении Архива РАН. Ф. 77, оп. 1, ед.хр. 16, л. 4).

Из этих слов становится ясно, что Картотека ДРС является совершенно особым источником по истории русской лексики. Это не просто собрание цитат. Будучи сверенными с иноязычными оригиналами (речь идет о переводных памятниках) и дополненными параллельными выписками из них, ее карточки приобретают новое качество (см. [Астахина 1994]). М.Н. Сперанский ставил задачу выявить круг памятников, которые необходимо было расписать для картотеки. Ведь еще будучи директором Исторического музея и заведующим Рукописным отделением, он начал работу по определению состава хранящихся там сборников. А еще ранее, работая в Нежинском Историко-филологическом институте, он в летнее время совершал путешествия в Загреб, Вену, Прагу, Софию и работал там в хранилищах в поисках русских и славянских рукописей, переписывал их, подготавливая к изданию. Для Картотеки ДРС из 122 памятников Сперанский выписал более 36 тыс. цитат. Теперь, в 1934 г., этот человек был отстранен от дела.

Но как бы то ни было, в картотеке к этому времени насчитывалось более 145 тыс.

---

[1]Истории создания Картотеки ДРС и современному ее состоянию посвящены статьи Смирновой О.И. [Смирнова 1967], Мордовиной С.П. и Романовой Г.Я. [Мордовина, Романова 1974].

карточек. Их трижды пересчитали в конце марта 1934 г. Е.Н. Шипова и проф. Б.А. Ларин, который стал ученым секретарем Группы ДРС (Древнерусского словаря), вошедшей теперь в ИЯМ. В штате Группы долгое время числился только ученый секретарь, поэтому у него было множество организационных и иных обязанностей, что нашло отражение в рабочих дневниках Группы, которые вел Б.А. Ларин. Он привлек таких специалистов, как искусствовед и бессменный делопроизводитель ОРЯС П.К. Симони; как палеограф, чл.-корр. Академии, зав. отдела Редкой книги Публичной библиотеки В.В. Майков, акад. Б.М. Ляпунов; чл.-корр. Академии наук Вс.И. Срезневский – руководитель Рукописного Отдела БАН, который вместе с сестрой О.И. Срезневской участвовал в издании "Материалов для словаря древнерусского языка" своего отца в 1880–1912 гг.; специалист в области исторического синтаксиса русского языка Б.В. Лавров; зав. Отделом БАН Б.В. Александров; ученый хранитель БАН Ф.И. Покровский, который еще в 1900–1901 гг. вместе с проф. Н.К. Никольским, по поручению А.А. Шахматова, разыскивал в хранилищах России древние произведения, чтобы можно было их напечатать по лучшим спискам; палеограф-историк Н.В. Тимофеев, который привлек к расписыванию памятников и свою дочь З.Н. Савельеву, впоследствии участвовавшую в издании произведений В.Н. Татищева, и многие другие.

В 1936 г. в Ленинграде вышел из печати написанный Б.А. Лариным "Проект древнерусского словаря. Принципы, инструкции, источники". Впервые в русской исторической лексикографии теоретические обоснования предшествовали практической работе над словарем. Можно принять возражения, внести исправления, выслушать мнения оппонентов – составление словаря только начиналось.

Сразу стали готовить кадры редакторов. Планы были грандиозны, но вполне реальны: к 1938 г. картотеку нужно было довести до 1 миллиона выписок и на этой основе к 1945 г. выпустить в свет все 8 томов "Словаря древнерусского языка XV–XVIII вв." (по 100 печатных листов в томе), который был бы снабжен иллюстрациями, потому что иногда, как считал Б.А. Ларин, значение слова – это зрительный образ вещи, называемой этим словом. Хронологические рамки словаря определялись с таким расчетом, чтобы он отразил период, не охваченный "Материалами" И.И. Срезневского, и сомкнулся с академическим "Словарем русского языка", начатый Я.К. Гротом и продолженный А.А. Шахматовым, который уже издавался с 1891 г.

Казалось бы, такой ясный план не должен был сорваться. Но наступил 1937 г., когда двумя приказами в мае и июне были уволены все внештатные выборщики (а их было более 20 человек) в связи с "прекращением финансирования". Эта формулировка в том же 1937 г. погубила и "Словарь русского языка" Грота–Шахматова: он закончил свое существование на слове *обратность*. Более полугода Б.А. Ларин ходил в Картотеку ДРС один, и уже не было в его рабочем дневнике тех подробных записей, как в начале 1934 г.[2]

Впоследствии несколько раз менялся план словаря. В конце 1938 г. нужно было составлять "Краткий исторический словарь русского языка" учебного характера. Когда же председателем Главной редакции ДРС в начале 1940 г. назначили недавно избранного действительным членом Академии наук С.П. Обнорского, имевшего огромный опыт словарной работы, рамки будущего словаря были раздвинуты от XI до XVIII в. включительно (см. его Записку в Отделение о составлении Древнерусского словаря. Хранится в Московском отделении Архива РАН. Ф. 1618, оп. 1, № 34). В 1947 г. чл.-корр. АН СССР Д.И. Абрамович начал составлять однотомный (в двух частях) учебный словарь древнерусского языка, в котором цитаты не документировались. Его материалы хранятся в архиве Картотеки ДРС. В зависимости от изменявшихся задач менялся и состав фондов картотеки[3]. Она включает и созданные

[2]О первых годах работы Группы ДРС под руководством Б.А. Ларина см. [Астахина 1993].

[3]Подробнее о составе материалов этой картотеки см. [Смирнова 1967].

выборщиками указатели слов к отдельным памятникам: к "Патерику Киево-Печерского монастыря", к Торговой книге (рукопись XVI в.), "Горю-Злочастию", "Задонщине", "Слову о полку Игореве", к "Повести временных лет" и др., что стало неоценимым подспорьем для авторов словаря.

Пополнение картотеки возобновилось только в конце 1938 г., когда Б.А. Ларин из числа студентов Пединститута им. А.И. Герцена подготовил, как он написал в Отчете, "человек 20 прекрасных выборщиков". Это были выпуски 1940 и 1941 гг. Многие во время Великой Отечественной войны были на фронте, погибли (А.Г. Сорокин, В.И. Орехов), а кто уцелел – стали хорошими специалистами своего дела. Так, М.В. Артюшенков, который будучи студентом, сделал для картотеки более 2 тыс. выписок, стал журналистом-международником. Окончив после войны Высшую дипломатическую школу, он работал почти во всех странах Латинской Америки. Другие стали преподавателями вузов, техникумов, педучилищ, школ (Е.А. Никулина, Л.А. Булюбаш, Н.С. Маркс, В.А. Николаева и др.). Некоторые посвятили свои силы и знания науке. К.И. Ходова – известный славист, доктор филологических наук, сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН. Б.Н. Капелюш работала над подготовкой к публикации рукописей Пушкинского дома. Х.Ш. Якубова написала кандидатскую диссертацию по философской эстетике. Е.М. Юпашевская известна трудами по радио- и тележурналистике. Некоторые в силу различных жизненных обстоятельств изменили свою специальность, закончили вторые вузы. Так, Т.М. Абдулаева стала специалистом по обоснованию строительства гидростанций, имеет звание почетного энергетика.

Судьба же картотеки и словаря складывалась не просто. К концу 1940 г. в штате, помимо Б.А. Ларина, было четыре и.о. старших научных сотрудников (А.Н. Котович, Б.И. Коплан, Л.В. Успенский, Б.Л. Богородский), четыре младших научных сотрудника (С.Ф. Геккер, С.Л. Чернявская, Г.Л. Гейерманс, Е.М. Иссерлин), научно-технический сотрудник А.С. Смирнова и редакторы-договорники историк П.А. Садиков и впоследствии – Л.В. Успенский. Редактор, известный историк М.Д. Приселков, защитивший в 1939 г. докторскую диссертацию и назначенный на должность декана исторического факультета ЛГУ, перешел на полистную работу. А.П. Конусов поступил в дневную аспирантуру ИЯМ. По состоянию здоровья взяла длительный отпуск А.С. Смирнова. На основе списков "черной" тетради А.И. Соболевского и каталогов, начатых в 1934 г. Б.А. Лариным (которые некоторое время вел и А.П. Конусов), был подготовлен Указатель источников Картотеки ДРС. Его составила С.Ф. Геккер, окончившая после университета Высшие библиотечные курсы при Публичной библиотеке и получившая специальность библиографа научных библиотек. Она живет в Петербурге, у нее прекрасная память на лица и события, связанные с картотекой и словарем. Именно она сохранила все архивы картотеки, все варианты составленного словаря, все дневники Группы ДРС. Именно она одна из первых стала помогать в работе по созданию истории Картотеки ДРС, по идентификации почерков, по разысканию создателей этой картотеки. Во время войны она пополняла картотеку, вносила поправки в составленный к этому времени том словаря.

В конце мая 1941 г. был выпущен Пробный выпуск "Словаря древнерусского языка XV–XVIII вв.", в котором авторы приглашали специалистов высказаться по поводу трех способов набора будущего словаря. Этот выпуск успели только разослать. Началась Великая Отечественная война.

На оборонных работах по трудовой повинности Б.Л. Богородский находился 57 дней, Б.И. Коплан – 36 дней, Г.Л. Гейерманс – 24 дня, С.Ф. Геккер и С.Л. Чернявская – по 14 дней. Прошло сокращение штатов ИЯМ, началась эвакуация. Председатель Главной редакции С.П. Обнорский оказался в Казани, Б.А. Ларин, А.П. Евгеньева, А.А. Скворцова – в Яранске, Е.Н. Шипова – в Казани, затем в Алма-Ате, Б.Л. Богородский – в Кисловодске, затем в Ташкенте. Там же был и С.Г. Бархударов. С.Л. Чернявская уехала в Красноярск. Б.И. Коплан сначала был призван в армию, затем арестован и погиб в декабре 1941 г. Многие умерли в блокаду

в Ленинграде (А.Н. Котович, Б.В. Лавров, А.П. Конусов, Н.В. Тимофеев, Н.С. Чаев, Н.Г. Богданова, Ф.И. Покровский и др.).

В 1944 г. С.П. Обнорский, возвратившись из эвакуации в Москву, возглавил вновь образованный Институт русского языка Академии наук с отделением в Ленинграде. В 1946 г. вновь был издан Пробный выпуск, но уже "Исторического словаря русского языка XI–XVIII вв." Изменилось название, но он мало отличался от Пробного выпуска 1941 г.: разве что фамилии пяти редакторов были помещены в черные рамочки. Так авторские коллективы сообщают о постигших их утратах.

В 1949 г. Б.А. Лариным был отредактирован 1-й том Словаря "*А–Благонько*", над ним уже началась работа в издательстве. Но Б.А. Ларина уволили из Института русского языка (куда с 1944 г. входила Группа ДРС) именно в 1949 г. Произошли изменения в руководстве и в коллективе. Заведующим Словарным отделом и главным редактором Древнерусского словаря стал С.Г. Бархударов, его заместителем с конца 1950 г. – А.П. Евгеньева. Кандидат *филологических наук* Е.М. Иссерлин, работавшая в Группе ДРС с 1934 г., и Л.С. Ковтун, защитившая кандидатскую диссертацию в марте 1948 г., были *переведены в Словарь* современного русского языка, а оттуда в ДРС – И.И. Матвеев и В.И. Пономарев.

В апреле 1952 г. отредактированный по новой инструкции 1-й том Словаря "*А–Воз*" был представлен на Ученый Совет Института языкознания, куда коллектив ДРС вошел в результате реорганизации 1950 года, когда был ликвидирован Институт русского языка. С критическими замечаниями выступили акад. В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, автор "Словаря русского языка" С.И. Ожегов; работавший над этимологическим словарем П.Я. Черных; И.А. Оссовецкий, начинавший работу над словарем одного говора; занимавшийся историей древнерусской литературы А.Н. Робинсон. Было решено опубликовать словарь после прочтения всего тома одним специалистом (см. Стенограмму заседания русской секции Ученого Совета Института языкознания АН СССР, посвященного обсуждению первого тома Словаря древнерусского языка. 18 апреля 1952 г. Хранится в архиве Картотеки ДРС в ИРЯ РАН). Но в июле 1952 г. Президиум АН СССР *принял постановление* о прекращении работы по историческому словарю. Решено было привлечь все лексикографические силы к созданию "Словаря *современного русского литературного языка*" как более актуального в то время.

В сентябре 1952 г. картотека была перевезена в Москву. Официальных документов и решений о ее перевозе пока не найдено...

Но нужда в словаре древнерусского языка ощущалась, а "Материалы" И.И. Срезневского стали к тому времени библиографической редкостью. В январе 1957 г. на Годичном общем собрании Отделения литературы и языка с докладом "О типах словарей древних восточнославянских языков и схеме построения словаря древнерусского языка" выступил Р.И. Аванесов. По его мнению, следовало "отграничить исторический словарь современного языка от словарей той или иной древней эпохи из истории этого языка..." В первом случае объяснения требуют факты современного языка, во втором – "факты древнего периода этого языка в пределах, охватываемых словарем. Составление исторического словаря русского языка – дело далекого будущего. В настоящее время, – говорил Р.И. Аванесов, – актуальна задача составления *словарей отдельных периодов* истории русского языка". Он считал, что "целесообразно принять следующий план словарей: а) словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.), б) словарь старорусского языка (XV–XVIII вв.), в) словарь староукраинского языка (XV–XVIII вв.), г) словарь старобелорусского языка (XV–XVIII вв.)" (см. [ИАН СЛЯ. 1957. № 3. С. 284]).

В газете "Литература и жизнь" 29 июля 1959 г., *отвечая на письма* читателей, акад. В.В. Виноградов писал в статье "Словари, которые очень нужны": "Сначала скажу о картотеке. Она действительно в конце 1952 г. была перевезена в Москву. В 1953 г. она была расставлена и сохраняется в полном порядке, о чем свидетельствует акт ее обследования весьма авторитетной комиссией в составе чл.-корр. АН СССР Р.И. Аванесова и С.Г. Бархударова, профессоров А.П. Евгеньевой, С.И. Коткова,

Б.А. Ларина, В.Г. Орловой и канд. филол. наук Е.Н. Прокопович в начале 1957 г. [в состав комиссии входил и проф. Д.С. Лихачев – *Л.А.*]... С 1953 г. в Картотеке работало более 120 человек, многие из них работали более месяца.

Согласно решению Президиума АН СССР в 1952 г. работа по составлению Словаря древнерусского языка была приостановлена в связи с срочной необходимостью составления *словаря современного* русского языка в 4-х томах (2 тома вышли из печати, 3-й находится в производстве). Сотрудники древнерусского словаря *были* переведены на составление академических словарей современного русского языка. После организации Института русского языка в середине 1958 г. работа над древнерусским словарем возобновилась. Имеющаяся картотека после серьезного ее пополнения позволяет составить два словаря: древнерусский XI–XIV вв. (составление необходимой для него картотеки будет в основном завершено в будущем году) и словарь XV–XVII вв. под руководством акад. С.П. Обнорского. В этому году будет завершена работа по написанию проспекта последнего словаря (инструкция для составителей и редактора и пробные *словарные* статьи).

Лексикографическая работа такова, что она дает свои результаты лишь постепенно, по прошествии многих лет".

Главный недостаток картотеки, по мнению обследовавшей ее Комиссии, усматривался в том, что она была выборочной. Но, заметим: выборки делали замечательные специалисты своего дела, которые тщательно изучили историю первых семи веков русской письменности. В "Проекте" 1936 г. Б.А. Ларин указывал, что кроме выборочного, применялось полное и сплошное расписывание *памятников* для будущего словаря. Полная выписка применялась "для текстов большой литературной ценности, особенно известных и популярных в свое время", что означало "извлечение из памятника в с е х слов его лексического запаса в л у ч ш и х, о т о б р а н н ы х к о н т е к с т а х. Разные *значения и оттенки* значений одного слова должны быть представлены на отдельных карточках, так же, как отдельные слова" [Ларин 1936: 25]. А наиболее "богатые по лексическому составу и типичные в литературном отношении памятники" подвергались "сплошной выписке в некоторых частях или во всем объеме, если памятник небольшой". Текст расписывался "так, чтобы в словаре было представлено к а ж д о е е г о с л о в о в к а ж д о м к о н т е к с т е" [там же]. В таких случаях "весь назначенный к сплошной выписке текст без всяких пропусков делится на связные, законченные по смыслу части, в среднем по 5-6 строк или по 30-35 слов" [Ларин 1936: 26]. Такая карточка вписывалась 4 раза, а вверху на ней в алфавитном порядке надписывались *начальные* буквы всех входящих в цитату слов, т.к. весь текст такой карточки предполагалось путем перестановки по алфавиту использовать последовательно для всех этих слов [Ларин 1936: 27].

Как написал в 1957 г. Д.С. Лихачев, "такого состава крупнейших ученых, которые бы в такой степени *были начитаны* в древнерусских текстах, собрать для написания карточек ДРС никогда больше не удастся" [Лихачев 1975: 37–38].

Тому факту, что известные специалисты – лингвисты, литературоведы, историки, палеографы, археографы – оказались занятыми "черной" работой по *выписыванию цитат* для картотеки Древнерусского словаря, способствовали специфические условия, создавшиеся в начале 30-х годов в нашей стране [Акад. дело 1992; Колобков 1991].

В 1929 г. работала Комиссия по проверке кадров Академии наук и многие сотрудники непролетарского происхождения, а особенно окончившие высшие духовные заведения, или когда-либо преподававшие в них, оказались без работы, без средств к существованию, несмотря на их научную квалификацию и стаж работы. В Картотеке ДРС за карточку платили сначала по 5 и 10 копеек, затем с 1939 г. расценки были дифференцированы: за выписку из древней рукописи, находящейся в архиве, да еще с греческими и латинскими параллелями, можно было получить 55 и 60 копеек.

В "Тетради *для записи поступления* материалов для Словаря древнерусского языка", которую с 1934 г. вел Б.А. Ларин, нет фамилии профессора Петербургской духовной академии, члена Славянской комиссии В.М. Верюжского. А именно его

рукою расписана для Картотеки ДРС большая часть Библии 1499 г. новгородского архиепископа Геннадия с греческими и латинскими параллелями, Патерик Скитский XIV в. по изданию Макариевских Миней, Хроника Иоанна Малалы и другие памятники (также с параллелями). Только память С.Ф. Геккер, да две открытки, посланные Верюжским акад. П.А. Лаврову в 1917 г. (в СПб отделении Архива РАН), и четыре письма его к акад. А.И. Соболевскому 1919–1920 гг. (в фонде Российского государственного архива литературы и искусства) дали возможность восстановить его имя в числе создателей Картотеки ДРС. Может быть, Ф.И. Покровский, который тоже расписывал Библию Геннадия, давал возможность заработать хоть какие-то средства и В.М. Верюжскому?..

В Москве работы над словарем по материалам Картотеки ДРС начались в 1963 г. под руководством С.Г. Бархударова. В числе сотрудников, приступивших к пополнению картотеки, были Е.Н. Прокопович, Н.Б. Бахилина, В.А. Меркулова, И.П. Петлева, Л.В. Куркина, Н.С. Шапошникова (Арапова), М.Я. Гловинская, Е.М. Сморгунова, Г.Л. Зубкова (Вечеслова), М.В. Никулина и др. Из их числа вышла и группа редакторов "Словаря русского языка XI–XVII вв.", работающая до настоящего времени: редакторы Г.Я. Романова, О.И. Смирнова, А.Н. Шаламова, Г.П. Смолицкая, О.В. Малкова, главный редактор Г.А. Богатова. Первоначально предполагалось выпустить "Малый древнерусский словарь" учебного характера, в котором давался бы перевод древнего слова и минимальный цитатный материал. Но объем первых томов показал, что словарь не получится "малым" (см. [СлРЯ XI–XVII: 6–7]).

Вышедшие в свет в 1975 г. первые два выпуска "Словаря русского языка XI–XVII вв.", вызвавшие некоторое недовольство научной общественности, показали, что авторам необходимо полнее использовать возможности картотеки и памятников старинной письменности для раскрытия в Словаре семантики слова. Тем более, что возникновение такого направления в русистике, как лингвистическое источниковедение, открыло новые возможности издания рукописей самого различного характера, предназначенных специально для языковедческих исследований. Использование публикаций 1964–1994 гг., вышедших в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка ИРЯ РАН под редакцией проф. С.И. Коткова, Л.П. Жуковской, при подготовке СлРЯ XI–XVII вв. делает его богаче картотеки в том отношении, что эти издания не всегда расписываются для Картотеки ДРС. Из памятников, снабженных указателями слов или указателями слов и форм, материал сразу берется в Словарь. В то же время в Картотеке ДРС есть материалы, датированные XVIII веком, которые не находят отражения ни в СлРЯ XI–XVII вв., ни в "Словаре русского языка XVIII в." Они так и остаются в фондах картотеки. Кроме того, богатый так называемый "фоновый" материал, представляющий собой диалектные записи, выписки из словарей, фольклорных произведений, также не включается в корпус СлРЯ XI–XVII вв. По произведенным нами подсчетам, в Словарь входит лишь четвертая часть материала Картотеки ДРС.

За последние 20 лет 442 исследователя пользовались материалами картотеки. Зарегистрировано более 500 тем, которые выполнялись с привлечением данных Картотеки ДРС. Это были не только историко-лингвистические темы. Сюда обращались историки и литературоведы, этнографы и археографы, педагоги и юристы, математики и физики, гляциологи и астрономы. Из 89 городов нашей страны и 16 зарубежных стран приезжали ученые, чтобы поработать в Картотеке ДРС [Астахина 1990; 1995а; 1995б].

Таким образом, исполняется пожелание акад. М.Н. Сперанского, который считал, что Картотека древнерусского словаря "должна явиться необходимым пособием не только для специалистов по истории русского языка, но и для сравнительного изучения славянских языков, а сверх того, практическим пособием для всех, кому приходится заниматься с той или иной точки зрения русским прошлым" (см.: М.Н. Сперанский. Записка о Комиссии по собиранию словарных материалов по древнерусскому языку.

31 июля 1927 г. Хранится в СПб отделении Архива РАН. Ф. 172, оп. 1, ед.хр. 13, л. 88).

Картотека ДРС стала национальной сокровищницей в результате труда более чем 270 человек, вложивших свои знания и силы в ее создание. По богатству фонда (около 2 млн карточек) и научному потенциалу она не имеет себе равных. ЮНЕСКО включило ее в свою Программу "Память мира" и оказывает содействие изготовлению страхового дубля этого уникального фонда. Возможно, придет время, когда каждый крупный научный центр в нашей стране и за рубежом сможет получить копии ее материалов – сейчас эта работа только начинается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акад. дело 1992 – Академическое дело. Сборник документов. СПб., 1992.

Астахина Л.Ю. 1990 – Картотека ДРС и историко-лингвистические исследования // Русская историческая и региональная лексикология и лексикография. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Красноярск, 1990.

Астахина Л.Ю. 1993 – Борис Александрович Ларин (по материалам архива Картотеки ДРС) // Вопросы теории и истории языка. СПб., 1993.

Астахина Л.Ю. 1994 – Картотека ДРС – источник по истории русской лексики // Региональные аспекты лексикологии. Межвузовский сборник научных трудов. Тюмень. 1994.

Астахина Л.Ю. 1995а – Картотека ДРС как база историко-лингвистических исследований // Историко-культурный аспект лексикографического описания русского языка. М., 1995.

Астахина Л.Ю. 1995б – Опыт использования материалов Картотеки ДРС для лексикологических и лексикографических исследований (лингво-статистический аспект) // Национальные лексико-фразеологические фонды. СПб., 1995.

Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. 1994 – "Дело славистов": 30-е годы. М., 1994.

Колобков В.А. 1991 – Сергей Платонов: год накануне ареста // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ. История России XIX–XX веков. Сборник научных трудов. Л., 1991.

Ларин Б.А. 1936 – Проект древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники). М.; Л. 1936.

Лихачев Д.С. 1975 – 50 лет Картотеке ДРС // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г. Москва. Вып. 4: Теория и практика исторической лексикографии. М., 1975.

Мордовина С.П., Романова Г.Я. 1974 – Об источниках Словаря русского языка XI–XVII вв. // ВЯ. 1974. № 3.

СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975.

Смирнова О.И. 1967 – Картотека Древнерусского словаря (ДРС) // Лингвистические источники. Фонды Института русского языка. М., 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Т.В. Топорова. **Семантическая структура древнегерманской модели мира.** М.: Изд-во "Радикс". 1994. 190 с.

Рецензируемая монография посвящена исследованию наиболее общих мировоззренческих категорий древнегерманской культуры. Эта проблема в последние десятилетия находилась в центре внимания германистов и индоевропеистов – специалистов в области мифологии и исторической поэтики, текстологов и семасиологов. Т.В. Топорова весьма своевременно привлекает внимание к наиболее глубинному, языковому, воплощению древнегерманской м о д е л и м и р а.

Книга состоит из введения, трех глав ("Пространство и время", "Судьба, право, основы социальной жизни", "Познание, ментальная деятельность"), заключения и библиографии (она снабжена лингвистическим указателем).

Во "Введении" автор излагает ряд теоретических принципов, определяющих направление и характер исследования. Нет сомнений в том, что тема и материал – семантика древнегерманской модели мира – находятся в русле одного из наиболее интересных и перспективных направлений современной диахронической лингвистики. Рецензируемая работа представляет собой разработку круга идей, связанных с именами Э. Бенвениста, В.П. Лемана, Вяч.В. Иванова и др. Речь идет об отражении в языке основных черт модели мира, присущих мифопоэтической культуре. По мысли автора, модель мира воплощена в основных принципах номинации (семантических мотивировках) ключевых лексем. Автор обнаруживает замечательное единство лексики в трех главных тематических сферах (локально-темпоральной, социальной, ментальной), базирующееся на инвариантных семантических признаках, берущих начало в пространственно-временной сфере и захватывающих смежные сферы человеческого бытия: в языке манифестируется приобщенность человека к косные признаки играют, таким образом, определенную роль в структурировании модели мира. Обладая системной упорядоченностью, они вместе с тем обнаруживают и поразительную диахроническую устойчивость: в новых пластах лексики (например, в поэтизмах эддических "Речей Альвиса") возрождаются те же исходные мотивировки – "отделение" и "соединение", "полагание" и "установление" и т.д. Живая связь слова с культурой (мифопоэтическими представлениями) создает и возможность в подходящих поэтических контекстах реэтимологизации слов с разрушенными словообразовательными связями. Тем самым наблюдается преемственность процессов номинации в центральных тематических сферах [Гуревич 1984; Иванов, Гамкрелидзе 1984; Иванов, Топоров 1965; Маковский 1995; Lehmann 1970; Benveniste 1973].

Отношения между словарем и текстом представляют особую важность в системе взглядов автора. Основное внимание в книге уделяется систематизации словаря на основе выделяемых мотивировок. Обилие языкового материала, хорошо прокомментированного и систематизированного, привлечение данных сопредельных дисциплин – мифологии, археологии, первобытного искусства – позволяют Т.В. Топоровой убедительно показать роль мифопоэтических представлений в формировании важной части древнегерманского и шире – индоевропейского – словаря. Сделан серьезный шаг в направлении "социо-стилистической" стратификации лексики древних индоевропейских языков, появляются дополнительные возможности этимологической интерпретации праязыковой лексики. Методика выявления семантической мотивации, которой автор строго придерживается, ведет к группировке лексики по трем уровням (отдельный древнегер-

манский язык – общегерманский – индоевропейский) и тем самым дает весьма перспективное направление для индоевропейской лексикологии. Вместе с тем семантические мотивировки находят подтверждение в самом содержании древнескандинавских мифов (как они известны из Старшей и Младшей Эдды) или даже являются едиными для языка и для мифа. Тексты, в свою очередь, свидетельствуют о нерасчлененности в архаической культуре познания и поэзии – тезис, проливающий свет и на древнейшие номинационные процессы в языке (роль метафоры и т.п.). Наконец, автору крайне важно показать, что сами семантические мотивировки, подкрепленные типологическими параллелями, не только реально выводимы из материала, но и сохраняют актуальность для древнегерманской культуры VIII–XI вв. [Dimézil 1973; Ellis-Davidson 1967: Vries 1935].

Глубокое исследование обширного и сложнейшего материала, умение найти в каждой порции этого материала новую краску для реконструкции того или иного образа – все это безусловные и нечастые в наши дни достоинства книги Т.В. Топоровой. В работе много находок и оригинальных наблюдений. Ср. этимологическое толкование общегерм. **andjaz* "конец" (с. 44–45), убедительный и смелый анализ др.-сев. *ginnungagap* (с. 41–44), замечания о субъективности и объективности в наименованиях судьбы, анализ дистрибуции однокоренных слов в трех сопряженных тематических сферах.

В отношении общегерманского **andjaz* "начало-конец" следует, с нашей точки зрения, учесть др.-инд. *andha-* "половые органы" (божественные половые органы – первопричина Бытия, соотносимого с огнем: ср. др.-англ. *ād* "огонь, костер")[1], ср. греч. ὄντος "сущий".

Начало и конец образуют диаду в мифологическом мышлении. Для первобытного человека знание о начале всех вещей (животных, растений, космических тел) предполагает некоторое господство над ними, знание того, что имело место "в начале", дает и знание того, что произойдет в будущем, выражает надежду человека на то, что мир пребудет вечно, хотя он периодически и разрушается в буквальном смысле этого слова.

Божественное сотворение Мироздания понималось язычниками как разрыв Хаоса, т.е. разрыв "изначального пространства", "предпространства". В свою очередь и сам Хаос характеризуется как "зияний бездна" (ср. *ginnunga gap* в "Старшей Эдде"); ср. и.-е. **ghe-*, **ghə-* "зиять, зевать". др.-сев. *gina* "разевать (пасть)", др.-англ. *ginian* "быть широко открытым". Вместе с тем, поскольку первотворением Божества было Слово, рассматриваемый корень соотносится с и.-е. **kens-* "торжественно произносить, издавать звуки" и с англ. *shine* "сиять" (не только звук, но и свет, считались первотворениями Божества), ср. также и.-е. **konos* "творение, работа, активность", а также русск. *конец;* и.-е. **gen-* "рожать, производить на свет". Типологически ср.: нем. *an-fangen* "начинать", но нем. *Fach* "зияние, дыра"; лтш. *sakt* "начинать", но и.-е. **sek-* "разрывать"; швед. *börja* "начинать", но и.-е. **bher-* "разрывать". С другой стороны ср. типологически: швед. *börja* "начинать", но алб. *burrë* "человек, лтш. *sakt* "начинать", но др.-англ. *secg* "человек, мужчина"; греч. ἀνθρωπός "человек, мужчина", но индо-арийск. *adi* "начало" (ср. общегерм. *andjaz* "конец")[2] + др.-инд. *rupam* "Farbe, Form, Schönheit," тох. А *rape* "гармония, музыка, порядок"). Ср. также др.-англ. *rupe* "волос" (символ связи нижнего, среднего и верхнего миров), а также греч. ῥωπος "миг, мгновение". Ст. еще лат. *orcus* "загробный мир", др.-сев. *rögg* "сверхъестественная сила", англ. *work* "делать, творить", но арм. *verčel* "кончить", тох. А *wir* "новый, молодой".

Понятие "начало" может также соотноситься с понятием "схватить, зачать": ср. нем. *An-fang* "начало", но др.-в.-нем. *fahan* "хватать"; лат. *in-cipere* "начинать", но лат. *capere* "хватать"; др.-инд. *a-rabh-* "начинать", но др.-инд. *rabh-* "хватать".

Понятие конца, космогонического предмета может уравниваться в древнем сознании с понятием подземного царства, которое нередко выступает в образе поля: ср. арм. *and* "поле", а с другой стороны, алб. *andë* "удовольствие" (типологически ср. др.-англ. *wang* "поле", но также "загробный мир"). Вместе с тем ср. гот. *anþar* "другой (мир)". Подземный мир, а также Хаос соотносились с понятием тьмы, мрака: ср. др.-инд. *andha-* "dunkel, blind"[3].

Космогонический предел во вселенском пространстве иногда отождествлялся с обра-

[1] Интересен переход "начинать" > "видеть": "говорить": ср. лтш. *sakt* "начинать": др.-англ. *saihvan* "видеть": *saecgan* "говорить".

[2] Ср. также гот. *aiþei* "мать" (первоначало всего живого). С другой стороны, ср. англ. диал. *ade* "сточная канава" > "бездна".

[3] Понятие загробного мира нередко связано с понятием "скрывать, прятать": ср. в связи с этим лтш. *ada* "кожа", др.-инд. *addana* "щит", ср. др.-англ. *éodor* "огороженное место".

зом Мирового змея, который, в соответствии с древними представлениями, окружал кольцом Землю, и его изгибы указывали на границы пространства. Ср. в связи с этим др.-сев. *naðr* "змея", где начальное *n-* представляет собой отрицание, употребленное из соображений табу. Ср. также: и.-е. **ghē-* "зиять" (литовск. *galas* "конец") > и.-е. **g^{u}ei-* "жить" (ср. и.-е. **kon-* "начало-конец"), по др.-сев. *gōinn* "змея". Понятие змеи в вертикальном положении (символ божественной благости), нередко уравнивается с д е р е в о м (ср. Мировое древо): ср. англ. *snake* "змея", но др.-инд. *nagaḥ* "дерево" (также "гора"); типологически ср. брет. *aer* "змея", но хет. *aras* "дерево", гот. *waurms* "змея", но латышск. *veris* "лес" (**uer-*); др.-инд. *ahi* "змея", но и.-е **ag-* "дуб"; лат. *colubra* "змея", но англ. *holt* "лес" + др.-англ. *widu* "лес"; др.-сев. *liðr* "змея", но швед. *lund* "лес"; др.-русск. *смолкъ* "улитка", но др.-сев. *mǫrk* "лес"; чеш. *had* "змея", но осет. *qād* "дерево"; курдск. *mar* "змея", но арм. *mair* "ель"; литовск. *egle* "ель": ср. с первым элементом этого литовского слова последний элемент в хет. *illyuanka-* "змея", а второй элемент литовского слова следует сопоставить с первым элементом хеттского слова (с первым элементом литовского слова ср. др.-инд. *ahi* "змея").

Вместе с тем змей часто уравнивается с п т и ц е й (ср. мифы о летающих змеях): ср. брет. *aer* "змея", но и.-е. **ar-* "орел": лат. *colubra* "змея", но лат. *columbus* "голубь"; русск. *ястреб*, но брет. *aer* "змея" + лтщ. *tarps* "червь"; нем. *Spar* "воробей", но англ. диал. *piering* "червь"; авест. *merega-* "птица"[4], но курдск. *mar* "змея"; англ. *wren* (название птицы), но гот. *waurms* "змея"; англ. *cock* "петух", но латышск. *čuska* "змея"; гот. *ahaks* "голубь", но др.-инд. *ahi* "змея". Следует отметить, что л о ш а д ь, согласно мифопоэтическим представлениям, считалась неотъемлемой частью Преисподней (бездны), а бездна – символом начала и конца: ср. и.-е. **ghei-* "пустота, бездна" > и.-е. **g^{u}ei-* "жить", но также "вредить", "приводить к гибели, к смерти" (ср. др.-инд. *jyaniḥ* "Schwund, Verlust", авест. *zyānai* "schaden"): сюда же англ. *be-gin* "начинать" и русск. *конь*[5].

Как отмечает Т.В. Топорова, «языковые данные свидетельствуют об особой значимости... "конца" по сравнению с "началом", которая, по-видимому, объясняется асимметричностью этих понятий в мифопоэтической модели мира. Начало, закрепляющее положительные достижения в космизации вселенной, относится к прошедшему, конец же со свойственными ему неожиданностью и непредсказуемостью, как правило, ассоциируется с будущим» (с. 44). Ср. в этой связи уже приводившееся алб. *andë* "удовольствие", др.-инд. *adhya-* "wohlhabend, reich"; др.-инд. *addha* "sicher, gewiß", "in Wahrheit".

Понятие "начала" и понятие "конца", соотносимое с ним, непосредственно связаны с понятием д у ш и и о г н я: ср. др.-инд. *adi* "начало" и англ. *end* "конец", но др.-англ. *ād* "огонь", "костер", и.-е. **and-* "душа", швед. *ond* "злой". Вместилищем души считалась птица, а душа олицетворяла диаду "жизнь-смерть" ("начало"-"конец"): ср. и.-е. **and-* "утка" (типологически ср. и.-е. **ken-* "начало" и "конец", но англ. *hen* "курица"; литовск. *galas* "конец", но лат. *gallina* "курица").

Понятие начала и конца соотносятся с понятием "звук" (божественное первотворение): ср. др.-инд. *adi* "начало", англ. *end* "конец", но нем. диал. *anden* "возвещать"; типологически ср. хет. *harapp/harpai-* "начинать, зачинать", но и.-е. **krep-* "звучать"; и.-е. **ken-* "начинать", но и.-е. **kens-* "громко произносить"; литовск. *galas* "конец", но и.-е. **gal-*, **gel-* "производить звуки".

В древней мифопоэтической традиции понятие предела может воплощаться в образе м и р о в о г о д р е в а, соединяющего все космические зоны, или в образе мировой горы: ср. др.-русск. *удъ* "половой член" ("кол") < **and-*, *ср.* русск. *удочка*. С другой стороны, ср. и.-е. **ond-* "камень, гора".

Согласно мифопоэтической традиции, м е д в е д ь считался прародителем человеческого рода, символом неба и центра Вселенной. В этой связи интересно сопоставить литовск. *lokys* "медведь", но др.-сев. *lok* "конец" (ср. др.-инд. *loka* "Вселенная", лат. *orcus* "загробный мир"); англ. *bear* "медведь", но англ. *bear* "родить" (символ "начала": ср. также авест. *bərəg* "сакральный акт", ирл. *spēir* "небо"), но швед. *börja* "начинать"; ирл. *math* "медведь", но и.-е. **met-* "мера, предел, конец".

Поскольку х л е б символизировал Вселенную как божественное творение, он одновременно олицетворял диаду космогонических начала и конца. Ср. в связи с этим: хет. *harsi* "хлеб", но авест. *karana-* "конец", хет. *harpai-* "начало"; сюда же англ. диал. *hairse* "ослепительный свет, блеск" (свет как божественное первоначало: ср. также и.-е. **ker-* "издавать звуки": звук как божествен-

[4] Последний элемент авестийского слова соотносится с др.-инд. *ahi* "змея". Ср. еще: др.-инд. *hari* "змея", но и.-е. **ker-* "дерево, куст".

[5] Ср. также соотношение "лошадь" > "птица": англ. *horse* "лошадь", но русск. *коршун* (ср. **kres-* "огонь"); нем. *Spar*, англ. *sparrow* "воробей", но хет. *paros* "лошадь".

ное первоначало)[6], а с другой стороны, англ. *horse* "лошадь" (лошадь как принадлежность Преисподней, т.е. конца Света), а также русск. *коршун* (птица как символ неба и бога, т.е. первоначала; птица была также вместилищем души, олицетворявшей диаду начала и конца). Ср. также др.-англ. *hyrst* "лес" (и.-е. **ker-* "дерево, лес" – Мировое древо); русск. *крест* (единение неба и земли – начала и конца в космогоническом пространстве); и.-е. **kres-* "огонь", и.-е. **keresno-* "голова, мозг" (символ неба)[7]. Англ. *bread* соотносится со швед. *börja* "начинать"; гот. *hlaifs* "хлеб" соотносится с хет. *harpai-* "начало, начинать"[8]. Подобным же образом др.-англ. *ād* (совр. англ. *oat*) "овес" соотносится с общегерм. **andjas* "начало–конец" и с пали *addha(na)* "(божественное) время, вечность" < "единство начала и конца". Ср. также русск. *конопля* < и.-е. **kon-* "начало–конец" + и.-е. **ap-* "достигнуть, окончить". Учитывая, однако, что зерно служило исходным материалом для изготовления хмельных напитков, использовавшихся при сакральном возлиянии, русск. *конопля* можно понимать как композитум, отдельные части которого соответствуют осет. *sæn* "вино" + хет. *alpant-* "в экстазе" < "опьяняющая жидкость", ср. и.-е. **ap-* "вода, жидкость" с другой стороны, ср. и.-е. **apel-*, **opel-* "(сверхъестественная) сила".

С другой стороны, с понятием разрыва и Бездны связано понятие всего Сущего (ср., нем. *Degen* "шпага", др.-сев. *dǫkk* "бездна", но тох А *tak-* "быть, существовать"; др.-англ. *mece* "меч", но тох. А *mäsk-* < **mek-* "быть, существовать") и в частности, слова (ср. русск., *омут*, др.-англ., *ēemete* "пустота", но хет. *amatu* "слово") и Вселенной (ср. нем. *Loch* "дыра", но др.-инд. *loka-* "Вселенная").

Интересно обратить внимание на следующее. Слон – животное, питающееся растениями и, согласно данным археологии, некогда распространенное в Европе, – в мифопоэтической традиции символизирует единство космогонических начала и конца, олицетворяет Солнце (символ космогонического единства): ср. в этой связи авест. *karana-* "конец", индо-ар. *kora* "новый"; русск. *солнце*, лат. *sollemnis* "totus et solidus", тох. А *salu* "vollständig" (ср. лат. *solanus* "солнечный"). Рассмотрение слона как светила отражено в греч. σελήνα "луна".

Понятие слона соотносится с понятием единицы – символа Вселенной (вертивальная линия – в частности, шест – в древности олицетворяла Божество): ср. лат. *solus* "один, одинокий", хет. *sirais* "один". Слон олицетворяется Мировой горой – символом единства вселенских начала и конца (ср. тох. А *śul* "гора", латышск. *kalns* "гора") и Мировой душой (ср. англ. *soul* "душа", др.-инд. *sura-* "бог, дух": язычники верили, что души обитают в горе). Слон – предмет поклонения, вокруг которого устраивались ритуальные оргии, неизменно сопровождавшиеся возлиянием, омовением и религиозным экстазом (ср. др.-инд. *sūras* "опьяняющий напиток"; типологически ср. греч. ἐλέφας "слон; слоновая кость", но хет. *alpant-* "опьяненный, находящийся в экстазе", ср. англ. *elephant* "слон"; ср. также литовск. *šlajus* "слон" < и.-е. **lei-* "лить"; с другой стороны, ср. литовск. *šlapis* "слон", но англ. *sleep* "спать, находиться в экстазе", лтш. *slapinat* "мочить, смачивать" лтш. *slapiš* "мокрый", ср. лтш. *slēpnis* "таинство"; перс. *fill* "слон", но и.-е. **pel-* "лить, поливать".

Слон символизировал не только Мировую гору, но и Мировое древо, которое, как и гора, олицетворяла единство космогонических начала и конца, т.е. Божество: ср. лат. *silva* "лес".

Голова слона (ср. лат. *columen* "высота, то, что находится высоко", лат. *caelum* "небо", брет. *kern* "Scheitel", и.-е. **ker-/kel-* "верх, голова", но др.-инд. *karin-* "слон"; типологически ср. тох. А *onkaläm* "слон", но латышск. *augša* "верх, верхняя часть" + и.-е. **kel-* "верх"; перс. *fill* "слон", но англ. *full* "полный, раздутый"[9]) символизирует микрокосм, а туловище (ср. др.-инд. *çarīra-* "тело, туловище", др.-инд. *çaraṇa-* "protection") – макрокосм (ср. также ирл. *colinn* "тело, туловище").

---

[6] Типологически ср.: англ. *bread* "хлеб", но гэльск. *bard* "певец", кельтск. **bardo-* "поэт-миннезинг", ирл. *spēir* "небо".

[7] Ср. также хет. *harsan* "голова" (символ Бога в антропоморфной модели Мира), хет. *harsis* "нормальный, обычный, регулярный"; др.-англ. *hyrst* "драгоценность", "украшение" > ("гармония, порядок, благодеяние").

[8] Готское слово *hlaifs* "хлеб" (предмет жертвоприношения, вокруг которого устраивались ритуальные танцы) соотносится с др.-англ. *hléapan* "двигаться, прыгать", хет. *alpant-* "находящийся в религиозном экстазе, тох. А *klop* "страдание" и с лат. *albus* "белый" [магическая значимость движения и краски"; типологически ср. и.-е. **sed-* "двигаться" (др.-инд. *a-sad-* "hintreten, hingehen"), но русск. *седой;* гот. *steigan* "двигаться", но др.-англ. *déag* "краска"].

[9] С русским словом *слон* интересно сопоставить литовск. *šlaunis* "бедро, ляжка; ягодица". Ср. также: др.-англ. *hrun* "толстый ствол дерева", др.-англ. *hran* "кит"; др.-сев. *hraun* "груда камней". Интересно, что слон может приравниваться к великану (в древности – символ Божества). В этой связи тох. А *onkaläm* "слон", возможно, представляет собой анаграмму, которую следует читать **kon-* "великан" (ср. нем. диал. *Hunne* "Riese") + и.е. **mel-*

Слон – символ божественного огня: ср. англ. *kiln* "печь" (и.-е. **kel-* "гореть"); типологически ср. др.-инд. *varana-* "слон", но **ǵer-* "гореть".

Слон – символ вселенского плодородия, оплодотворения Земли Небом, т.е. олицетворение Божества в его целостности / единство начала и конца. Ср. англ. диал. *clean* "плацента, детское место", лат. *leno* "whore", осет. *kuryn* "родить", *coeryn* "жить". С другой стороны, слон – символ духовной чистоты (ср. англ. *clean* "чистый").

Как мы уже говорили, слон считался олицетворением вселенских начала и конца, наподобие Змею (ср. в этой связи др.-в.-нем. *slango* "змея", но русск. *слон*. (Возможно, что змея является метафорой хобота слона). Следует учитывать, что животные, символизировавшие Божество, (т.е. единство начала и конца Вселенной), нередко уподоблялись Бездне (см. [Маковский 1996, статья "Бездна"]): именно поэтому вполне можно сопоставить русск. *слон* и литовск *slenỹs* "бездна" (типологически ср.: нем. диал. *Lob* "корова", но литовск. *lóbas* "бездна"; лат. *pecus* "скот", но лат. *specus* "бездна"). Можно полагать, что русское слово *слон* и родственные ему славянские слова соотносятся с и.-е. корнем **kel-/*ker-*, **ghel-/*gher-* "гнуть", откуда развились все указанные выше значения [Маковский 1995; Маковский 1996].

Слон был символом "вечности, бессмертия", т.е. символизировал Божество во всей целостности его границ. В этой связи русское слово *слон* можно сопоставить с греч. χρόνος, "время, вечность" (ср. греч. χρουνις "Eber"): типологически ср. перс. *fill* "слон", но англ. *spell* "промежуток времени"; др.-инд. *hastin* "слон", но перс. *qest* "время, вечность"; др.-инд. *varana-* "слон", но и.-е. **ǵermen* "время". Поскольку имена различных животных нередко переносятся на слона, интересно сопоставить нем. *Eber* "боров" и др.-в.-нем. (в глоссах) *eber*. tempus.

С другой стороны, русское слово *слон* может соотноситься с прусск. *lonix* "Stier", галльск. *lon* "Elentier". Вместе с тем следует принять во внимание бретонск. *long* "корабль" (ср. русск. *слон* и русск. *челн*) и ирл. *long* "дом" (типологически ср. литовск. *šlajus* "слон" и "дом").

Слон – олицетворение Мирового разума, Божества, т.е. опять-таки единства начала и конца во Вселенной: ср. русск. *слон* и греч. φρονεῖν "понимать", а также лат. *cerno* "различать, понимать".

Вместе с тем можно полагать, что указанные выше индоевропейские корни, которые лежат в основе всех слов, соотносимых с русским словом *слон*, связаны с такими словами, как болг. *клан* "сук", чеш. *klon* "сук", чеш. *klanice* "шест", а кроме того англ. *corn*, хет. *halki* "хлеб на корню". К тому же корню относится и русское слово *член* (о хоботе слона, ср. хет. sallis "большой"). Интересно русское название растения *па-слен* "Solanum nigrum". Таким образом, можно полагать, что одно из значений русского слова *слон* – "питающийся растениями" (следует учесть, что растения, как и слон, были тотемами; кроме того, растения использовались для изготовления опьяняющей жидкости, используемой при поклонении слону: ср. в связи с этим русск. *по-клоняться*). Относительно соотношения значений "растение" > "слон" и ср. следующие семасиологические параллели: тох. А *onkaläm* "слон", но тох. А *okar* "растение" (элемент *enk-*, представленный в тох. А *onkalăm* "слон", входит в и.-е. **ar-enko* "хлеб на корню", первая часть которого соотносится с ирл. *aran* "хлеб"; однако возможен композитум, состоящий из и.-е. **ar-* "человек, мужчина" + тох. А *oñk, eñkwe* "человек" (в этой связи с русским словом *слон* интересно сопоставить др.-сев. *ljonar* "люди": речь идет о слоне как символе микрокосма в антропоморфной модели Вселенной)[10]; ср. далее: греч. ἐλέφας "слон, слоновая кость", но алб. *elb* "ячмень".

"животное": типологически ср. валлийск. *cawrfil* < < валлийск. *cawr* "великан" + *mil* "животное" / о том,что значение "животное" может соотноситься со значением "слон, свидетельствует следующее: ср. тох. А *lu* "животное" – прилагательное: тох. А *lwem*, тох. В *lwāñe, luwāñe* "относящийся к животным, имеющий вид или повадки животного", ср. русск. *слон*. Отметим, что в композите **kon-* + + *mel* элемент **kon-* может также иметь значение "единство начала и конца" > "божество": типологически ср. общегерм. **andjaz* "начало" и "конец", но др.-англ. *ent* "великан" (ср. др.-англ. *āt*, англ. *oat* "овес"); в этом плане русское слово *конопля* может соответствовать нем. диал. *Hunne* "великан" + + перс. *fill* "слон" (ср., однако, сербско-хорв. *pira* "злаковая культура").

[10] Вместе с тем вполне возможно, что тох. А *onkaläm* "слон" состоит из отрицания (приватив-ного суффикса) **an-*, употребленного из соображений табу, и корня **kaläm*, который полностью соответствует русск. *слон*: ср. др.-инд. *karin* "слон."

Следует принять во внимание и тохт. *illyu-anka* "змея" (символ начала и конца Вселенной), где первый элемент соотносится с и.-е. **(p)ell-* > перс. *fill* "слон", а второй элемент входит в тох. А *onk-(aläm)* "слон" (ср. авест. *anghu-* "Вселенная" лат. *anguis* "змея"); второй элемент тохарского слова совпадает с и.-е. **al-, *ol-* "колдовать" (Mann, s.v.).

Вместе с тем тох. А *onkaläm* "слон" можно сопоставить с тох. А *āṅkar* "бивень (у слона)", в связи с чем и русское слово *слон* уместно соотнести с и.-е. **kerno* "Backzahn, dens molaris". Следует также учесть, что имя греческого мифологического персонажа Кроноса – великана и бога жатвы – может свидетельствовать о более широком распространении корня **slonъ* в индоевропейских языках в прошлом.

Если принять во внимание тот факт, что слон считался божеством, которому делались жертвоприношения, с русским словом слон можно сопоставить др.-инд. *çrāṇayati* "дарит", сербско-хорв. *поклóнити* "подарить", гот. *saljan* "принести в жертву". С другой стороны, учитывая, что Зевс считался божеством первотворением, символом творящего божества, русское слово *слон* можно сопоставить с др.-англ. *hlennan, hlynnan* "звучать", лтш. *rūnāt* "говорить, издавать звуки". Типологически ср. др.-инд. *gaja-* "слон", но др.-инд. *gaj-* "громко кричать", "издавать звуки". Вместе с тем следует учесть и.-е. корень **kel-* "делать, творить": ср. осет. *kaelyn* "делать" [либо в смысле "божество-творец", "чародей", либо в смысле "работающий (хоботом)"]; типологически ср. и.-е. **ker-* "делать, творить", но др.-инд. *kariṇ-* "слон"; и.-е. **ǵer-* "делать, творить", но др.-инд. *varana-* "слон". Ср. также др.-инд. *hastin-* "слон" др.-инд. *hasta-* "рука" (хобот). В этой связи русское слово слон можно соотнести с греч. ὠλλον "forearm", лат. *ullna*, др.-сев. *ǫln* "elbow". Возможно также, что распространенное в большинстве европейских языков слово *elephant* связано с корнем, представленным датским *albue* "локоть" (хобот"); ср. греч. ἐλέφας "слон, слоновая кость" (букв. "нечто изогнутое, как хобот").

Русское слово *слон* может восходить к тох. А *ṣurm* "первопричина". Типологически ср. перс. *fill* "слон", но тох А *pal* "природа".

Слон мог выступать как воплощение Бытия, в связи с чем следует принять во внимание арм. *linim* "быть, становиться" < **klen-*, тох. А *klin-* "должествовать" (слон как символ непреложных космогонических превращений).

Возможно название слона на основе его основной внешней особенности – хобота. В этом случае для сравнения можно привлечь русск. *клин* (типологически ср. др.-инд. *hasta-* "слон" < и.-е. **ghest-* "рука" > "хобот"). Ср. также русск. *клён* (слон как Мировое древо, уподобляемое хоботу). С другой стороны, ср. исл. *slani* "высокий неповоротливый человек", исл. *slanni* "дурак" (< экстаз, потеря чувств при почитании слона); англ. диал. *sloan* "ленивый, неповоротливый"; англ. диал. *slon* "a sneer: an ironical joke: a scolding" (действия ритуальной игры).

Таким образом, как нам представляется, русское слово *слон* является индоевропейским образованием, представленным в славянском ареале. Воплощением космогонической диады "начало–конец" было Ч и с л о. Ср. в этой связи и.-е. **and-* "один", но др.-инд. *adi* "начало" и общегерм. **andjaz* "конец"; тох. А *kaç* "число", но осет. *qäd* "дерево" (Мировое дерево, символ космогонических начала и конца), чеш. *had* "змея" (символ космогонических начала и конца) < и.-е. **ken(d)-* "начало" и "конец" (ср. лтш. *kaṇa* "звук" – божественное первотворение); лат. *numerus* "число" – образование с начальным *n-*, употребленным из соображений табу: ср. и.-е. **ombhel-* "пуп" (символ божественного начала) и чеш. *obly* "круглый" (круг – символ космогонического конца, пространственной границы Вселенной); и.-е. **ter-* "три", но др.-сев. *tala* "число", ср. швед. *tall* "сосна" (символ космогонического начала и конца), брет. *derou* "начало", русск. *дерево* (символ космогонического начала и конца); и.-е. **sek-* "шесть", но лтш. *sākt* "начинать"; др.-англ. *rim* "число", но и.-е. **rem-* "дерево, лес" (символ космогонического начала и конца); валлийск. *rhif* "число", но др.-инд. *a-rabh-* "начинать" (ср. лат. *arbor* "дерево" – символ космогонического начала и конца); и.-е. **duo-* "два", но брет. *diwez* "начало"; гот. *raþjo* "число", но и.-е. **reto-* "дерево, лес" (символ космогонического начала и конца), ср. др.-сев. *liðr* "змея" (символ космогонического начала и конца), Ср. также: алб. *burrë* "человек, мужчина" (символ вертикальной линии, считавшейся священной, и символ единицы), но швед. *börja* "начинать", ср. русск. *бор;* др.-англ. *secg* "человек, мужчина", но и.-е. **sek-* "шесть" (ср. выше); др.-англ. *rinc* "человек, мужчина", но др.-англ. *hring* "круг" (символ космогонического начала и конца: образ земли, огибающей Вселенную); прусск. *gerbin* "число", но хет. *harpai-* "начинать".

В е т е р воплощает диаду "начало–конец", "жизнь–смерть" в космогоническом плане. Ср. общегерм. **andjaz* "начало–конец": англ. *wind* (у многих народов ветер олицетворяет злых духов, творящих зло на земле ср. англ. *wind* "ветер" и швед. *ond* "злой; зло"). Ветер также символизирует колдовство, общение со злыми силами: ср. др.-русск. *вѣдь* "колдовство, ведовство, знание" (знание в древности приравнивалось к колдовству), кашубск. *wieszcz* "упырь, вампир"[11]. Считалось, что ветры обладают определенным

[11] Ср. также англ. *odd* "внешний" (находящийся на периферии, в царстве Хаоса и зла).

цветом (у разных народов количество этих цветов было неодинаковым); ср. в этой связи др.-англ. *wad* "fucus, sandix", но англ. *wind* "ветер", а с др. стороны, *wind* "ветер", но др.-англ. *hwīt* "белый" и др.-сев. *hveiti* "пшеница" (по поверьям древних, в злаках обитали злые духи), ср. литовск. *švidras* "whirlwind, blizzard", ирл. *gaith, ново-ирл. gaoth* "ветер" < < **(k)ue(n)d-*, **(k)uo(n)d-*: сюда же, возможно, и литовск. *juodas* "черный", но лтш. *juods* "злой дух, леший", а также др.-в.-нем. *hwint*, др.-фризск. *hwind* "(охотничья) собака" (собака как существо "нижнего мира", Преисподней), а также нидерл. *kwaad* "плохой", литовск. *gėda* "позор" [значение "дуть" может соотноситься как со значением "колдовство" (ср. ирл. *setim* "дуть", но др.-сев. *seiðr* "колдовство"), так и со значением цвета (ср. англ. *blow* "дуть", но англ. *blue* "синий")]. Ср. также: англ. *wind* "ветер", но валлийск. *hud* "колдовство" < **(k)ue(n)d-*.

Понятие ветра в древности соотносилось также с понятием числа (чи́сла не только символизировали различное количество ветров, различаемых теми или иными народами, но и служили основой для совершения магических действий). В этом плане следует принять во внимание и.-е. **ond-*, **and-* "один" – символ Вселенной, а также вариант **(k)ue(n)d-* > **ked-*: тох. А *kaç* "один". Числа нередко использовались для нанесения вреда врагам: ср. тох. А *kaç* "число", но др.-англ. *sceaðu* "вред, ущерб"; гот. *raþjo* "число", но лат. *laedere* "вредить, наносить ущерб"; англ. *tal* "число", но также "вред, ущерб".

Ветер – олицетворение души: ср. англ. *wind* и осет. *udd* "душа", арм. *šunč* "дыхание", др.-сев. **ond-* "дыхание".

Магические силы, приписываемые ветру, могли быть не только губительными, но и спасительными: ср. и.-е. **kuent-* "святой", и.-е. **kut-* "сверхъестественная сила".

Считалось, что источником ветра является Бездна: ср. (лат. *uter*, лтш. *veders* "утроба") и гора/камень (ср. и.-е. **ond-* "камень, гора" (гора, камень – местопребывание души и огня), ср. также англ. *weather* "погода". Стремительное движение бушующего ветра истолковывалось язычниками как действие сверхъестественных сил, в связи с чем следует принять во внимание др.-англ. *witan* "преследовать, наносить вред", др.-англ. *wod* "man, furious". С другой стороны, к тому же корню относится англ. *wonder* "чудо": значение движения (в частности, движение ветра) может соотноситься со значением колдовства (магия движения: ср. англ. *wander* "двигаться, слоняться"); типологически ср. норв. *vikja* "to turn aside", но также *vikja* "to conjure away" (англ. *witch* "ведьма"), укр. *корзати* "плести", но русск. диал. *корзовка* "чертовка", русск. диал. *корзиться* "грезиться, мерещиться". С другой стороны, значение "быстро двигаться, бушевать" может соотноситься со значением "лес, дерево" [дерево – символ первотворения, Вселенной, лес – одно из излюбленных мест языческих сакральных действий; деревья, раскачиваемые сильным ветром, напоминали язычникам о действии сверхъестественных (в частности, злых) сил.]. В этой связи с англ. *wind* "ветер", следует сопоставить др.-англ. *widu* "лес". Типологически ср.: лат. *saltus* "лесистое место", но также "скачок, прыжок"; др.-сев. *skogr* "лес", но русск. *скакать*.

К тому же корню, что и англ. *wind*, относится англ. *wound* "рана": типологически ср. герм. **gisnan* "удивляться" (ср. англ. *aghast*), но ирл. *goite* "verwundet".

Далее следует подробнее остановиться на мифологеме судьбы. Как справедливо замечает автор (с. 76–78), семантические мотивировки судьбы надежно и полно описываются на основе следующих признаков: о т д е л е н и е, с о е д и н е н и е, и з м е р е н и е, п о л а г а н и е, у с т а н о в л е н и е, и з м е н е н и е, д в и ж е н и е. Следует, однако, учесть и следующий фактический материал индоевропейских языков, который имеет силу и для германских языков.

Мифологическое мышление нередко отождествляло понятие судьбы с женскими божествами: лат. *sors* "удел, судьба" (ср. хет. *suris* "жертвоприношение"), но и.-е. **sor-* "женщина"; лат. *fors(*dhers-)* "непредвиденный (слепой) случай", но исл. *dros* "женщина"; н.-ирл. *adh* "судьба", но др.-англ. *ides* "женщина"; др.-англ *sāel* "судьба", но осет. *syl* "женщина"; др.-англ *wyrð* "судьба", но др.-сев. *vorð* "женщина".

Согласно учению кармы, судьба – это творение самого человека: др.-англ. *wyrð* "судьба", но и.-е. **uer* "делать, творить"; греч. κῆρα "судьба", но и.-е. **ker-* "делать", др.-русск. *кобъ* "судьба", но др.-англ. *scéapan* "творить, делать"; и.-е. **ag-* "судьба", но лат. *agere* "творить, делать".

Слова со значением "судьба" могли соотноситься с астральной символикой (звезда, небо): др.-англ. *siðr* "судьба", но лат. *sidus* "звезда"; лат. *fors* "непредвиденный (слепой) случай" (< и.-е. **dhers-*), но англ. *star*, нем. *Stern* "звезда".

Понятие судьбы отождествлялось с понятиями рождения – смерти: лат. *fors* "непредвиденный (слепой) случай", но др.-англ. *teors* "penis"; греч. τύχη "судьба", но англ. *stock* "род", др.-инд. *tok-man* "семя", осет. *tug* "кровь"; греч. κῆρα "судьба", но осет. *coeryn*

"жить", "рожать"; др.-англ. *wyrð* "судьба", но осет. *waryn* "рожать"; и.-е. **dhugh-* "судьба", но др.-сев. *doegja* "умереть".

Понятие судьбы неразрывно связано с понятиями "ткать, соединять" (судьба изображается как нить, связывающая "верхний" и "нижний" миры): греч. τύχη судьба, но и.-е. **teg-* ткать; и.-е. **ad-*, **ued-* судьба, но латышск. *audums* ткань; греч. μοῖρα судьба, но и.-е. **mer-* ткать, связывать.

Интересно соотношение значений "судьба" – "время": греч. κῆρα "судьба", но др.-прусск. *kerdan* "время" (ср. др.-инд. *kala-* время); др.-англ. *wyrð* "судьба", но и.-е. **uer-men* "время"; греч. τύχη "судьба", но осет. *dug* "время".

Понятие судьбы может также соотноситься с понятием руки (согласно мифологическим представлениям, судьба записана на ладони руки): и.-е. **bhag-* "судьба" и "рука"; греч. κῆρα "судьба", но др.-инд. *kara-* "рука"; лтш. *laimė* "судьба", но др.-ирл. *lam* "рука"; русск. *рок*, но лит. *rankà* рука; тох. А kast "голод" (> "смерть, судьба"), но др.-инд. *hasta* "рука".

Согласно древним представлениям, судьба человека записана не только на руке, но и на деревьях, а также на лбу у человека (ср. арм. *tčakatagir* "судьба", букв. "написанное на лбу"): др.-англ. *wyrð* "судьба", но *writan* "писать"; русск. *жребий*, но греч. γράφω, лат. *scribere* "писать"; др.-англ. *faege* "обреченный", но и.-е. **peik-* писать; лтш. laite (< **legmen)* "судьба", но др.-инд. likh "писать". Поскольку звезда считалась символом судьбы, она нередко уравнивалась со лбом человека, на котором, как мы говорили, также записывалась судьба: нем. *Stern* "звезда", но *Stirn* "лоб"; лат. *stella* звезда, но валл. *tal* "лоб"; и.-е. **adh-* "судьба", но др.-в.-нем. *andi* "лоб".

Понятие судьбы может соотноситься и с понятием металла: кельт. **adh* "судьба", но др.-ирл. *eadam* "железо"; греч. κῆρα "судьба", но др.-инд. *hirana-* "металл", кимр. *haearn* железо; лат. *fors* (< и.-е. **dhers-*) "непредвиденный (слепой) случай", но лат. *ferrum* (< и.-е. **dhers-*) "железо".

Значение "судьба" может соотноситься со значением "краска" (не только как средство письма, но и как таинство, средство волшебства): и.-е. **dhugh-* "судьба", но др.-англ. *déag* "краска"; греч. κῆρα судьба, но и.-е. **ker-* "краска"; лат. *fatum* "судьба", но др.-ирл. dath "краска"; др.-англ. *sāel* "судьба", но и.-е. **sel-* "краска" (ср. англ. *sallow* "бледный"). Ср. еще др.-англ. *sāel* "судьба" и "время". Ср. также соотношение значений "судьба" > "дерево": и.-е. **bhag-* "судьба", но гот. *bagms* "дерево"; лат. *fors* "непредвиденный (слепой) случай" (< и.-е. **dhers-*), но русск. *дерево*; греч. κῆρα "судьба", но латышск. *çers* "куст" (ср. русск. *черенок, корень*); русск. *жребий*, но др.-сев. *hrapi* "низкорослое дерево" [Голан 1993].

На стр. 102–106 рецензируемой книги справедливо отмечается, что в древнегерманских языках понятие с в о б о д ы кодируется при помощи того же корня, что и мир. Во всех обозначениях свободы присутствует элемент **fri-* со значением личной принадлежности, т.е. в древнегерманских языках произошел семантический переход "свой" > "свободный" (ср. нем. *Frieden* "мир, покой"). Нам представляется, что понятие свободы в индоевропейских и германских языках понималось иначе, а именно как божественная стихия, как Воля божества, с которыми человек не может бороться, как непреложная односторонняя мистическая созидательная и разрушительная сила. Так, гот. *freis*, англ. *free* "свободный" могут восходить к и.-е. **per-* "чудо" (ср. арм. *hraśk* "чудо"), к лат. *pario* "родить, сотворить", ирл. *spḗir* "небо", англ. диал. *free* "червь, змея" (символ Вселенной и Божества), лат. *sper-ma* "мужское семя". Естественно, что все перечисленные значения включают в себя понятие Гармонии, порядка, мира [англ. *free* "свободный" может соотноситься и с англ. *fir* "ель" (Мировое древо)]. Типологически ср. лат. alere "кормить, вскармливать, родить", но хет. *ellu* "свободный"[14]; русск. *свобода* < и.-е. **seu-* "родить" + лат. *foetus* "оплодотворенная яйцеклетка, потомство"; лат. *liber* "свободный", но лат. *liberi* "дети, потомство" (результат свободного божественного творчества)[15]. Возможно также, что русское слово *свобода* представляет собой отрицательную частицу *se-* (употребленную по соображениям табу) + корень, представленный англ. *womb* "матка + др.-русск. *удъ* "penis" или и.-е. **se-om(b)-* "песня, гармония" + греч. ᾠδος "песня, гармония" (первым элементом этого слова мог быть и корень **ombh-* "пуп, середина" > "гармония, порядок"). Наконец, можно допустить композитум: хет. *šamu* "небо" + др.-инд. *bodhi* "дерево" (мировое древо) или ирл. *wybr* "небо" + осет. *udd* "душа".

Остановимся на отдельных неточностях, встречающихся в книге. Например, в перечне объектов первотворения отсутствуют карлики, которым назначена важная роль в создаваемом богами мире (с. 19); о "гибели

[14] Ср. лат. *velle* "хотеть"; тох. А *wäl* "смерть", тох. А *wir* "молодой, новый".

[15] Отметим, что акт деторождения язычники считали величайшим божественным чудом, всецело зависящим от Воли божества.

богов" (т.е. последнем акте мировой драмы) едва ли можно сказать, что она сопровождалась "первой в мире войной" между-асами и ванами (с. 20). Следует указывать и на иные этимологические толкования ключевой лексики в тех случаях, когда они являются более распространенными (например, эддическое *vindga meiði a* (дат. падеж) как "кривое" (Гутенбруннер) или "ветровое дерево" (ср. продуктивность поэтизмов с первым компонентом *vind-* в функции субстантивного эпитета).

Рецензируемая книга представляет значительный интерес как для германистов (которые найдут в ней богатейшую коллекцию этимологических и иных фактов, относящихся к ключевой лексике), так и для исследователей других специальностей (которых, несомненно, привлечет отстаиваемая автором идея модели мира). Публикации этой книги способствуют широкому обсуждению важнейших проблем современной компаративистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Голан А. 1993 – Миф и символ. М., 1993.

Гуревич А.Я. 1984 – Категории средневековой культуры. М., 1984.

Иванов Вяч.В., Гамкрелидзе Т.В. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I–II. Тбилиси, 1984.

Иванов Вяч.В., Топоров В.Н. 1965 – Славянские языковые моделирующие системы. М., 1965.

Маковский М.М. 1995 – У истоков человеческого языка. М., 1995.

Маковский М.М. 1996 – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.

Маковский М.М. 1996а – Язык и культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996 (в печати).

Benveniste E. 1973 – Indo-European language and society. London. 1973.

Dumézil G. 1973 – Gods of the ancient Northmen. Berkley; Los Angeles, London, 1973.

Ellis-Davidson H.R. 1967 – Pagan Scandinavia. New York, 1967.

Lehmann W.P. 1970 – Linguistic structure as diacritic evidence on proto-culture // Indo-European and Indo-Europeans / Ed. by G. Cardona, H. Hoenigswald. Philadelphia, 1970.

Vries J. de. 1934 – Die Welt der Germanen. Leipzig, 1934.

М.М. Маковский

Akamatsu Tsutomu. **Essentials of functional phonology.** Louvain-la-Neuve: Peeters, 1992. 195 p.

Книга проф. Ц. Акамацу (Университет Лидса, Великобритания) по своему характеру полностью соответствует названию: это действительно основы и действительно функциональной фонологии – и ничего больше. Читатель, который пожелал бы почерпнуть из нее сведения о многоликой, разветвленной современной фонологии (бурно процветающей, главным образом, в США), испытает разочарование: об этом нет просто ни слова, и в списке использованной литературы из американских фонологов упомянуты лишь Блок и Трэгер, Пайк, Тводдл, Чжао, Лабов и в виде исключения Хомский и Халле с их фундаментальным трудом [Chomsky, Halle 1968], ставшим уже в значительной мере фактом истории.

Зато эта книга – замечательная популяризация и развитие фонологических идей А. Мартине, работы которого по фонологии приводятся едва ли не в исчерпывающем виде. Вместе с тем это не слепая апологетика, в ряде вопросов автор расходится с главой направления, однако в основе своей это та разновидность функциональной фонологии, которая взросла на почве Сорбонны. В кратком предисловии А. Мартине отмечает как отрадный факт выход на английском языке (и к тому же в Англии) прекрасного очерка "французской" фонологии. Безусловно, книга продолжает ряд обобщающих трудов доброй старой классической фонологии, и ее девственная незатронутость никакими новыми веяниями делает ее заметным событием на фоне нынешней фонологической жизни Запада.

Отдавая должное заслугам Пражского лингвистического кружка в разработке функционального подхода к описанию языка, автор подчеркивает, что сегодня функционализм жив благодаря главным образом возглавляемому А. Мартине Международному обществу функциональной лингвистики, проводящему ежегодные конференции с 1974 г. Называя себя последователем Трубецкого и Мартине, автор оговаривает расхождения с ними в некоторых пунктах, но подчеркивает полную солидарность в понимании сущности фунциональной фонологии, задачи которой он видит в идентификации, описании и классификации функций звуковой субстанции языка в их иерархической упорядоченности под тем специфическим углом зрения, который характеризует функционализм.

Изложение собственно фонологии начи-

нается с главы о двойном лингвистическом членении языка, которая вместе со следующей главой о фонологии как функциональной фонетике живо напоминает основные положения концепции Мартине. Описание функций звуковых элементов строится как традиционная вариация на темы Бюлера и Трубецкого: разграничиваются репрезентативная, указательная, апеллятивная, кумулятивная, делимитативная, дистинктивная, контрастивная, экспрессивная функции, понимаемые в целом так же, как они определены указанными авторами.

Начиная с главы IV, идет обсуждение основных понятий и принципов функциональной фонологии (далее – ФФ), открывающееся понятием фонологической оппозиции как оппозитивного отношения между дистинктивными (иначе – фонологическими) единицами, взаимозамена которых различает значимые единицы. Важным дополнением к этому определению служит указание на самый широкий смысл понятия "терм фонологической оппозиции", покрывающего такие разнополюсные сущности, как релевантный признак и фраза, одинаково трактуемые как дистинктивные единицы. Впрочем, есть терминологический нюанс в употреблении автором понятий "терм" и "дистинктивная единица": первый используется, когда в центре внимания находятся свойства оппозиций, второй – когда внимание сосредоточено на самих минимальных единицах, наделенных различительной функцией (признак, фонема, тон, архифонема, архитон).

Дистинктивные единицы обладают рядом важных свойств: 1) все они обязательно выполняют различительную функцию и могут выполнять некоторые другие функции, 2) все они по своей природе дискретны и, следовательно, недоступны никакой градации, 3) за исключением признаков, с их одновременной встречаемостью, все прочие единицы располагаются последовательно, 4) любая из этих единиц предполагает операцию выбора со стороны говорящего. Трудно в этих характеристиках усмотреть специфику школы ФФ – фонолог любого направления сочтет их аксиоматичными. Но вот при обсуждении центральной единицы – фонемы – функционализм заявляет о себе отчетливее.

Важность этой единицы для ФФ вытекает из того, что фонема – минимальная единица второго лингвистического членения. При этом, однако, главную роль играют оппозиции, так что это понятие в теории ФФ логически предшествует понятию фонемы: "фонемы выводятся из фонологической оппозиции на том основании, что являются термами этой оппозиции" (с. 31). В связи с этим можно заметить, что при том широком понимании оппозиции и ее терма, которое постулируется в книге, из понятия оппозиции следует, строго говоря, не понятие фонемы, а понятие эмической единицы некоторого уровня, каковой, разумеется, может быть (и является в первую очередь) фонема.

Примечательно, что в обсуждаемой концепции отсутствует понятие уровня, играющее, например, важную роль в концепции Московской фонологической школы (особенно в изложении А.А. Реформатского [Реформатский 1970]). При учете же этого понятия и, в частности, принципа преемственности уровней можно было бы добавить, что оппозиция элементов некоторого уровня l_i предполагает наличие иерархически более высокой оппозиции на уровне l_j, из чего следует, что из оппозиции включающих единиц (например, морфем) выводится оппозиция включаемых единиц (фонем).

Сама же фонема определяется в рамках ФФ как "сумма фонологически релевантных (т.е. различительных) признаков" (с. 32). Это определение – в традициях Пражского лингвистического кружка; автор считает полезным также соотнесенное с данной трактовкой понятие фонологического содержания фонемы, введенное Трубецким и означающее то же, что сказано выше о фонеме. Каждой фонеме сопоставлен ряд ее фонетических манифестаций (вариантов), причем автор категорически отвергает термин "аллофон" ввиду его отличных концептуальных коннотаций (фонема как класс аллофонов в дескриптивистской трактовке), хотя и аллофон, и вариант обозначают одну и ту же физическую реальность.

Терминологический пуризм автора напомнил о 50-х гг., периоде расцвета фонологии, когда живо и пристрастно обсуждались демаркационные проблемы различных фонологических школ. Действительно, существуют два взгляда на фонему: один – как бы взгляд "извне", когда фонема рассматривается через ее реализации, другой – взгляд "изнутри", когда она рассматривается через основания ее противопоставлений в системе. В обоих случаях фонема трактуется как множество, но в первом случае – как множество манифестаций, во втором – как множество признаков.

Не странно ли, однако, сейчас, на исходе XX в. истово ратовать за выбор только одной из этих трактовок как более правомерной? Ведь, например, определение фонемы как ряда позиционно чередующихся звуков (точка зрения МФШ в лице М.В. Панова [Панов 1979]) вовсе не исключает описания ее в терминах различительных признаков.

Два аспекта рассмотрения, дополняя друг друга, дают более полное представление о фонеме как одной из базисных единиц языка. Вместе с тем эти аспекты различаются масштабом предельной единицы, с которой имеет дело исследователь. При взгляде "извне" предельной единицей является фонема, при взгляде "изнутри" – признак, и в зависимости от задач и исследуемого материала мы можем строить описание в терминах тех или других единиц. Следует отметить, что теория фонемных манифестаций, чтобы быть завершенной, предполагает разработку теории позиций, чего нет в ФФ, но что занимает центральное место в концепции МФШ. Точно так же теория оппозиций предполагает разработку теории различительных признаков, что имеет место в обеих концепциях.

Релевантный признак (РП) объявляется в ФФ дистинктивной единицей par excellence, наряду с фонемой. Посвященный ему раздел – один из самых полемичных и самых характерных с точки зрения излагаемой концепции. Уже в сноске к заголовку раздела автор резко отграничивает трактовку признака в ФФ от прочих "нефункциональных" подходов, вновь, как и в связи с другими понятиями, намекая на концептуальную омонимию общеупотребительных терминов. Острие неприятия при этом нацелено на Гарвардскую теорию признака, хотя – поразительно! – нет ни одного упоминания и ни одной ссылки на работы Р.О. Якобсона.

Подчеркивая фундаментальность понятия релевантного признака в ФФ и реальность этой единицы (из чего следует и реальность фонемы как суммы релевантных признаков), автор перечисляет основные характеристики минимальной фонологической единицы.

1) Языковая специфичность РП (т.е. его системная мотивированность).

2) Невозможность идентификации РП вне его противопоставленности другим признакам ("функциональный принцип релевантности признака", с которым соотнесен "принцип функциональной эквивалентности РП", состоящий в том, что положительное значение того или иного признака функционально эквивалентно сумме отрицательных значений его оппозитов, например, РП "апикальный" в английском языке функционально эквивалентен признакам "нелабиальный, несвистящий, нешипящий, невелярный").

3) Принципиальная небинарность РП и, соответственно, некорректность признаковых наименований типа "голос" (что действительно предполагает бинарность: + или –) и предпочтительность терминов типа "звонкий", "глухой".

4) Возможность существования наряду с мультиоппозициональными признаками (входящими в несколько признаковых оппозиций) также биоппозициональных, т.е. парных признаков, оппозиционно замкнутых друг на друга, подобно "глухости" – "звонкости" в английском (отметим попутно, что автор отвергает довольно распространенную трактовку оппозиций английских смычных /p/: /b/, /t/: /d/, /k/: /g/ как напряженных-ненапряженных или сильных-слабых и сводит их к признаку глухости-звонкости).

5) Безразличность конкретного фонетического языка, т.е. того, в каких терминах – артикуляционных, акустических или перцептивных – описывается РП.

6) Комплексность РП как совокупности неразделимых звуковых (фонических) различительных признаков, в сумме образующих целостную дистинктивную единицу, каковой и предстает в ФФ релевантный признак. При этом в составе РП различаются фонологически ключевые и автоматически сопутствующие звуковые характеристики. Например, для англ. /l/ латеральность – главный фонический компонент РП "латеральный", а апикальность – признак, автоматически имплицируемый латеральностью, тогда как для англ. /t, d, n/ именно апикальность считается ключевым (и константным) компонентом РП "апикальный", позиционно-комбинаторными манифестациями которого являются дентальность, альвеолярность, постальвеолярность и т.д., сопутствующие апикальности в различных видах звукового контакта. Это одно из самых глубоких и интересных положений в рецензируемой книге, и жаль, что автор не разграничил четко два вида автоматизма (импликации), характеризующие выбор фонических компонентов: парадигматический автоматизм, заданный в системе (латеральность → апикальность) и синтагматический автоматизм, определяемый позиционными правилами языка (апикальность → апикодентальность и т.п.). А ведь с этого и начинается теория позиций.

Читатель с "московским складом фонологического мышления" не может не споткнуться на одном из базисных положений ФФ: любая манифестация данной фонемы обязательно содержит ее релевантные признаки, хотя содержит также и нерелевантные, причем манифестация рассматривается как таковая в той степени, в какой она отражает релевантные характеристики фонемы. Это положение имеет важные последствия в теории ФФ и само является следствием явно не декларируемой, но легко угадываемой об-

щей установки на автономную фонологию, в результате чего критерием тождества фонемы становится критерий фонетического подобия. Последствием же указанного положения является та трактовка архифонемы, которую мы находим в книге.

Подобно фонеме, архифонема трактуется как дистинктивная единица, представимая в виде суммы релевантных признаков и имеющая свои фонетические манифестации. При этом автор настойчиво подчеркивает обязательную связанность архифонемы с нейтрализацией, в определении которой, впрочем, проступают явные черты тавтологичности: "Нейтрализация – это недействительность нейтрализуемой оппозиции в контексте нейтрализации вследствие аннулирования (cancellation) оппозиции между теми релевантными признаками, которые обеспечивают действенность нейтрализуемой оппозиции в контексте релевантности" (с. 81).

В таком подходе есть очевидное концептуальное и терминологическое противоречие. Прямо указывая, что архифонема встречается в позиции нейтрализации (т.е., говоря иным языком, является позиционно обусловленной и, следовательно, принадлежит к уровню вариантов), она, тем не менее, наделяется равным с фонемой эмическим статусом (т.е. помещается на уровень инвариантов). Примечательно, однако, какими примерами иллюстрируется архифонема и нейтрализация: автор советует избегать примеров типа нем. *Rat* 'совет' – *Rad* 'колесо' (оба – [ra: t]) при *Rates* – *Rades* (форма генитива), т.е. именно тех, которые считаются в МФШ наиболее показательными для разграничения сильных и слабых позиций и для демонстрации явления нейтрализации. Для Ц. Акамацу образцовыми случаями последней являются примеры типа англ. *spit* 'плевать' (с архифонемой /p–b/) или исп. *cambiar* 'менять' – *andar* 'ходить' – *mancha* 'пятнышко' (с архифонемой /m–n–ɲ/).

Иными словами, к нейтрализации им относятся главным образом случаи неразрешимого синкретизма (обусловленного отсутствием сильных позиций), которые в МФШ описываются через понятие гиперфонемы". [Виноградов 1971]. Последняя лишь внешне напоминает архифонему, концептуально же это подлинная эмическая единица, соответствующая конкретному позиционному варианту. Что же касается отказа автора от "арифметического" понятия маркированности при описании оппозиций и нейтрализации (например, /б/ = /п/ + "звонкость"), то в этом его можно понять.

Все положения, сформулированные для сегментного уровня, распространяются и на просодический уровень, где описываются тоновые оппозиции и архитоны на материале китайского языка (пекинский вариант). Принципиальное значение для китайской и общей тонологии имеет трактовка так называемого 5-го тона (в безударных слогах). Если рассматривать его как архитон, в котором нейтрализуются четыре парадигматических тона, то просодическая система в целом должна определяться как тональная, но если, вслед за Ц. Акамацу, полагать, что в безударных слогах тон вообще отсутствует, то перед нами просодическая система скорее квазиакцентного типа с противопоставлением нескольких видов мелодического ударения.

Следуя идее А. Мартине, автор считает словесную просодию (тон, акцент) одним из компонентов речевой мелодии, наряду с другим компонентом – интонацией, которая трактуется как психо-биологически обусловленная речевая характеристика "архетипического" (универсального) порядка. Эта небольшая глава содержит интересные наблюдения и обобщения, касающиеся типологии речемелодики на примере английского, немецкого, французского и китайского материала.

В заключительной главе автор касается вопроса о динамическом аспекте синхронической фонологии, который связан с социолингвистическими параметрами языка и речи. На примере оппозиции /a/ – /ɑ/ (средняя – задняя) он демонстрирует специфику этого подхода: статическая формулировка констатирует лишь неуниверсальность этой оппозиции для парижского ареала, тогда как динамическая формулировка, опирающаяся на исследование речи возрастных групп, констатирует постепенное исчезновение указанной оппозиции.

Автор подчеркивает резкое отличие отстаиваемой им динамической фонологии от социофонетических исследований У. Лабова, которые, по мнению Акамацу, работают не на лингвистику, а на социологию, поскольку базируются на критерии социальных (экономических) групп, тогда как лингвиста интересуют речевые характеристики, связанные с возрастными, половыми, географическими различиями говорящих. Автор списывает особенности лабовского подхода на специфику социальной структуры в США, полагая, что для Европы все это не столь актуально. Но критицизм Акамацу в данном случае вызывает лишь недоумение, ибо с социолингвистической точки зрения релевантны все социальные факторы (от политических до демографических), способные служить источником речевого варьирования.

Книга Ц. Акамацу представляет собой образцовое обоснование концепции отдель-

ной фонологической школы и одновременно это достойный подражания образец жанра введения в лингвистическую дисциплину. Каких бы фонологических взглядов ни придерживался читатель, эта книга не может не подкупить его своей простотой, точностью и стройностью изложения. И независимо от личных или корпоративных предпочтений мы ясно сознаем, что функциональная фонология – разновидность той классической фонологии, с которой началось триумфальное мировое шествие структурализма и которая оказала глубокое воздействие на образ лингвистического мышления и на структуру лингвистических методов XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Chomsky N., Halle M. 1968 – The sound pattern of English. N.Y., 1968.

Реформатский А.А. 1970 – Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1970.

Панов М.В. 1979 – Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

Виноградов В.А. 1971 – *ОЗПЕРАНД* [ас'п'ирант]. К проблеме гиперфонемы // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.

В.А. Виноградов

F. Bezlaj. **Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga *P—S*. Dopolnila in uredila Marko Snoj in M. Furlan. Ljubljana. Založba "Mladinska knjiga". 1995. 355 s.**

Выход в свет третьего тома "Этимологического словаря словенского языка" без всякого преувеличения можно считать большим событием в славистике. Замысел этимологического словаря восходит к довоенному 1939 г., когда была создана этимологическая комиссия в составе Ф. Рамовша, Р. Нахтигаля, А. Брезника и И. Графенауэра. В 1943 г. Ф. Рамовш опубликовал двадцать пробных статей, знакомство с которыми показывает, что в будущем словаре предполагалось отвести основное место систематизации лексического материала, почерпнутого из литературного языка, исторических и диалектных источников, этимологические комментарии сообщают в самом кратком и общем виде сведения о родственных связях словенских слов, т.е. собственно этимологии отводилось весьма скромное место. Война надолго отодвинула реализацию этимологического проекта. Уже в послевоенные годы после смерти Ф. Рамовша осуществление большого словарного предприятия было возложено на проф. Безлая, ученика Ф. Рамовша. На протяжении многих лет Словенская АН находила возможным и необходимым поддерживать столь многотрудное дело, требующее серьезной и долгой подготовительной работы, и в этом проявилась большая научная проницательность и дальновидность ведущих словенских ученых. Работа над этимологическим словарем стала итогом многолетних исследований Ф. Безлая, посвященных этимологическому изучению словенской лексики. Проведенные Ф. Безлаем в 50—70 гг. исследования словенских названий гидронимов [Bezlaj 1956—1961], изучение тематических групп лексики (ср. термины корчевания [Bezlaj 1955], слова со значением locus fluminis profundior [Bezlaj 1954] и др.), "Очерки" [Bezlaj 1966] и многочисленные статьи, посвященные этимологизации словенской лексики, заложили фундамент словенской этимологии. Естественно, новое время внесло существенные коррективы в первоначальный замысел, при разработке концепции словаря учитывались качественно новые подходы, те новые принципы, на которых базируется современная этимология. Ф. Безлаем полностью подготовлены первые два тома, которые увидели свет в 1976 и 1982 гг. Работа над третьим томом протекала трудно, акад. Ф. Безлай был уже тяжело болен, 27 апреля 1993 г. его не стало. И возникло опасение, что словарь Безлая разделит судьбу многих словарных предприятий, успешно начатых, но и не доведенных до конца. К счастью, этого не произошло. Остались ученики — М. Сной и М. Фурлан, которые взяли на себя нелегкий труд и сумели подготовить и издать осенью 1995 г. давно ожидаемый третий том словаря. Они включились в работу над словарем в 1981—1983 гг., в процессе работы под руководством Ф. Безлая они приобрели навыки этимологического анализа, опыт словарной работы. Молодые исследователи, прошедшие школу Б. Чопа и Ф. Безлая, уже хорошо известны в науке своими исследованиями в области этимологии, славянского и индоевропейского языкознания. В кратком предисловии к третьему тому М. Фурлан и М. Сной приносят глубокую благодарность своим великим учителям. На титульном листе акад. Ф. Безлай обозначен как основной автор словаря, и в этом проявление глубокого уважения к ученому, так много сделавшему для историко-этимологического изуче-

ния словенского языка, хотя справедливости ради нельзя не отметить, что в третьем томе большая часть словарных статей написана учениками академика. По желанию Ф. Безлая, статьи, написанные его учениками, отмечены начальными буквами имени и фамилии, т.е. M.F и M.S.

"Этимологический словарь словенского языка" занимает особое место в кругу славянских этимологических словарей. Концептуально он ближе всего стоит к словарю Махека. Методика этого направления в этимологии базируется на принципе семантического тождества соотносимых лексем, именно близость значений служит отправным моментом в поисках общих генетических истоков для основ, в фонетическом отношении весьма удаленных друг от друга, из этого положения следует допущение нерегулярных фонетических изменений и объяснение многих фонетических переходов на основе контаминации, смешения основ, входящих в состав разных этимологических гнезд. Решение конкретных этимологических задач тесно связано с пониманием узловых проблем сравнительной грамматики славянских языков, с представлениями о развитии во времени и в пространстве системы праславянского языка. В работах словенских этимологов праславянский язык представлет как статичная система, в известном смысле лишенная своей внутренней истории, организованная по моделям индоевропейского праязыка, отсюда ориентация на исследование и реконструкцию древнейшей, начальной ступени в развитии праславянского языка. Морфологическая, словообразовательная, семантическая структура праславянского оценивается с позиции индоевропейского праязыка. Процесс семантической эволюции, вопросы словообразовательной структуры слова, отношение производящей и производной основ, направление словообразовательных связей — эти и многие другие вопросы остаются за пределами внимания исследователей. И хотя там, где это оказывается возможным, делаются попытки проследить историю слова, определить состав и структуру лексико-семантических единиц собственно праславянского времени, все-таки в центре внимания исследователей остается другая проблема — отражение в структуре и семантике словенского и шире — славянских языков индоевропейского наследия. Именно эта проблема вынесена на первый план. Индоевропейская направленность словаря — это то, что принципиально отличает анализируемый словарь от "Этимологического словаря польского языка" Ф. Славского с характерным для него первостепенным вниманием именно к праславянскому прошлому польского языка. Восстановление состава и структуры той части словаря, которая сложилась в *праславянскую* эпоху, входит в число первоочередных задач московского [ЭССЯ] и краковского словарей [Sł. prasł.].

При выявлении индоевропейских истоков словенских слов особенно подробно исследуются отношения с балтийскими языками, близким по форме и значению балтийским словам отводится первое место в ряду индоевропейских соответствий. Более того, особенно в III томе наблюдается тенденция свести к единой линии развития, восстановить общие процессы, общие правила, регулирующие образование глагольных и именных основ. Ставится как бы знак равенства между этими системами, недостающие звенья в славянской глагольной системе восстанавливаются по данным балтийских языков. Через весь материал проходит идея производности праславянского от балтийского праязыка. В словаре, как и во всех работах Ф. Безлая, последовательно обосновывается положение об особой архаичности словенского языка. Словенский язык, обнаруживающий в ряде случаев соответствия только в индоевропейских языках и в первую очередь в языках балтийского ареала, предстает как область консервации древних основ, утраченных на остальной славянской территории. Поиски словенских лексических диалектизмов с глубокими индоевропейскими истоками составляют одно из важнейших направлений этимологического словаря. В плане этногенеза словенского языка решается проблема внутрисловянских лексических связей словенского языка. В этимологических исследованиях Ф. Безлая, разрабатываемых под этим углом зрения, и в словаре особо выделяются словенские лексемы с исключительными западно- и восточнославянскими соответствиями. В существовании особых изоглосс, связывающих словенский язык с разными частями славянского мира, Ф. Белай видит подтверждение теории, по которой в освоении Восточных Альп принимали участие разные славянские племена, двигавшиеся с востока. Конгломерат разных племен и стал той основой, на которой сложился словенский язык.

Этимологический словарь представляет собой сложное многоаспектное исследование, в котором одинаковы важны и концептуально значимы все составляющие ретроспективного анализа: собственно лексический материал, организация этого материала в пределах словарной статьи, приемы анализа, определение круга родственных образо-

ваний и восстановление исходной формы, генетических истоков слова в том или ином лексическом гнезде и т. п. Опубликованный III том представляет собой вполне самостоятельное, оригинальное исследование, которое, не нарушая общего замысла, углубляет и развивает традиции словенской этимологии и вместе с тем несет на себе печать авторской индивидуальности. На новом витке развития этимологии то направление в науке, которое связано с именами К. Оштира, Б. Чопа, Ф. Безлая, обогатилось новыми идеями, новыми приемами анализа, получило дальнейшее развитие в работах их учеников. Можно говорить об определенной эволюции III тома в сторону более углубленной, детальной разработки индоевропейских истоков славянского слова, расширения приемов анализа, большей строгости и доказательности. При обосновании этимологии авторы опираются на действующие в славянских и индоевропейских языках словообразовательные модели, широко используют опыт семантической типологии (ср. семантическое обоснование связи слов **pozabyti* и **byti*). В настоящем томе, в отличие от предыдущих, лишь в редких случаях слова объясняются на основе контаминации (ср. *slâtina, smotláka*). Структура слова оценивается с позиции индоевропейского, количественные различия корневого вокализма объясняются при помощи л а р и н г а л а . В круг научных интересов составителей словаря входят вопросы славянской акцентологии. Ударению отводится роль важного критерия при реконструкции исходной основы, словообразовательных отношений (ср. **smȇchъ: *smьjáti sę* и **smȇchъ: *smě-chá-ti*, **smôrdъ: *smôrditi* и **smôrdъ ~ лтш. smards, smārds* 'запах, дух'). Впервые в этимологическом словаре акцент предстает как важнейшая характеристика слова. Последовательная реконструкция древних акцентных отношений, древней парадигмы слова составляет отличительную особенность словаря.

В третьем томе, который равен по объему первым двум томам, вместе взятым, исследуется словенская лексика в объеме трех букв *p-, r-, s-*. Как и в предыдущих томах, заглавное слово дается в окружении близкородственных образований, почерпнутых из диалектов, старых и новых словарей. В круг источников по словенской лексике, помимо словаря Плетершника и старых словарей Хиполита, Кастельца, включены урбарии и недавно опубликованные диалектные словари Новака, Карничара, материалы по исторической топонимии, рукописные словари (ср. словарь Кенды). Обращает на себя внимание основательность и надежность сведений по истории, географии слов. Более последовательно, чем в предыдущих томах, исследуются все исторические записи слова, представленность слова во всех лексикографических источниках, прослеживаются пути миграции, формы бытования словенского слова и соседних немецких диалектах (ср. словен. *pógrad* и бавар. *Bōgrád*, каринт. нем *Pograden* и т.п.). Вносятся поправки в написание слова (ср. *snegúr* 'Turdus saxatilis' вместо приводимого Эрьявцем *slegúr*), в процессе текстологического анализа уточняется значение слова (ср. *slobôst*). Наряду с апеллативами в словаре найдем большой пласт топонимических названий, а также собственных имен (ср. *Perun, Perhtra, Pírniče, Prédoslje, Slop, Sneberje, Smrje, Smrjene, Stroma* и др.), причем одни топонимы имеют самостоятельные позиции в словаре, а другие приводятся в составе этимологического гнезда, что помогает не только расширить материальную базу исследования, но и прояснить внутреннюю форму топонимического названия (ср. *Peričnik, Peračica*, названия водопадов, в составе гнезда словен. *práti* 'lavare').

В соответствии с общей концепцией словаря авторы стремятся дать более углубленную разработку индоевропейских истоков слова. В ряде случаев авторам удается расширить состав индоевропейских соответствий за счет привлечения нового материала, при этом особое внимание уделяется показаниям хеттского, тохарского, албанского и других языков. Как и в предыдущих томах, подробно исследуются отношения с балтийскими языками. В ходе анализа акцент делается на различиях в структуре индоевропейской корневой морфемы, подробно прослеживается, в каких направлениях шло пребразование исходной основы в разных группах индоевропейских языков. При этом в качестве единицы исследования выступает корневая морфема минимальной длины. Когда оперируют минимальными величинами, всевозможными комбинациями, состоящим из двух, трех-четырех элементов, включая ларингальный, открывается большой простор для самых неожиданных сближений весьма далеких образований. Такой чисто формальный подход нередко лишает реконструкцию реальности, переводит ее в область абстрактных отношений, где действует единственный критерий достоверности — чистота, строгость процедурного анализа, проводимого в соответствии с теми правилами, которые принимаются самим автором за аксиому. На чисто корневом уровне постулируется связь весьма удаленных друг от друга слов. Примером широкого использования сочетаемостных возможностей корня мини-

мальной длины с различными расширителями может служить гнездо с и.-е. корнем *er-, *erə-, *erH- 'разделять, быть отдельным, редким, просторным', который, по мнению авторов, находит отражение в слав. *-oriti (ср. русск. *разоритъ*), *rědъkъ < *reH- (ср. также [Pokorny I: 332—333; Fraenkel: 15—16]), а также в словен. *ramica*, соотносимом с др.-русск. *рама* 'граница, пашня, примыкающая к лугу' (< *ormy, *orma 'граница (= поле или лес)' < < *orH-men-, *órH-mā), хет. *arḫa-* 'граница' < < *érHā|o-, *irḫa* 'ряд, ограничение' < *ērHa|ā, *irma(n)* 'болезнь' < *érH-mēn, др.-инд. *īrmā* 'рана' < *r̥H-mo-.

Усилия исследователей направлены на поиски архаичных структур, построенных по моделям, действовавшим еще в индоевропейскую эпоху. Исходя из системы индоевропейских отношений, в ряде случаев авторы объясняют словообразовательную структуру собственно славянских слов, сложившихся на почве праславянского. Так, представленные в диалектах синонимы типа *redoséja, redkoséja, redesēja* 'большое решето для просеивания муки' как будто бы дают основание видеть в словен. *rédos* усеченную форму, но авторы отдают предпочтение другому объяснению — из индоевропейского сложения *rědo-sHo-s, вторая часть которого из и.-е. *seH- 'percribrare' с вокализмом в нулевой ступени. Некорректно, исходя из и.-е. *saln-éiH-nā, объяснять праслав. *solnina* (s.v. *slanína*), имеющее все признаки собственно славянского образования, произведенного по активной модели при помощи суф. *-ina* от прилаг. *solnъ 'соленый'. Минуя обязательную ступень внутриславянского анализа, авторы прямо соотносят слав. *periti < *perti (ср. словен. *périti* 'вставлять зубья в щетку, грабли', 'вставлять спицы в колесо') с греч. πείρω 'прорываюсь, проникаю', πόρος 'проход', гот. *faran* < и.-е. *per(H)- 'перевезти, переправить'. Как видим, авторы прямо проецируют словообразовательную структуру словенского слова на плоскость индоевропейских отношений, не используя в полной мере возможности внутренней реконструкции.

В составе праславянского словаря большое место занимают омонимы. Семантический принцип, а точнее расхождения в семантике формально близких слов, положен в основу реконструкции праславянских омонимов. Современная этимология не ограничивается диахронической идентификацией форм соотносимых слов. Историческое тождество слова основано на учете исторической эволюции формы и значения слова. К использованию семантического критерия в этимологии уже давно наметились разные подходы. В словаре В. Махека, а вслед за ним и в работах словенских этимологов значение понимается как некая статичная величина. Родственными признаются слова с близкими или совпадающими значениями, даже если весьма велики формальные различия, отклонения в форме, для объяснения которых прибегают к фонетическим изменениям и преобразованиям нерегулярного характера. Проблема омонимов относится к числу сложнейших в славянской индоевропейской этимологии. Омонимы возникают под влиянием разных факторов в разное время. Необходима мобилизация всех ресурсов, чтобы выяснить: 1) не является ли формальное тождество результатом определенных фонетических процессов, актов словообразования и т.п; 2) не являются ли омонимы результатом семантической дивергенции [Аникин 1988: 6—22]. Прогресс в этимологии в ряде случаев стал возможен благодаря семантике. В работах Э. Бенвениста [Бенвенист 1974], О.Н. Трубачева [Трубачев 1980], Б. Егерса и других ученых получили обоснование специальные критерии семантического анализа, установления исторического тождества в семантике. В значении закреплен результат длительной семантической эволюции слова. Семантический анализ должен предварять поиски индоевропейских соответствий. Изменение значений во времени, историческая идентификация значений и таким образом восстановление диахронических тождеств — условия, обязательные для этимологического анализа. В конечном итоге надежность этимологии напрямую зависит от полноты материала и от того, насколько успешно удалось выявить в семантической структуре слова архаичные элементы, помогающие определить исходную и последующие ступени семантических преобразований. Поэтому особое значение приобретает достоверность семантической реконструкции. Широко привлекаемые в словаре примеры из области семантической типологии могут служить дополнительным аргументом при выборе того или иного этимологического решения лишь при условии предварительно проведенного внутриславянского анализа.

Статичный подход к семантике, невнимание к внутриславянским семантическим процессам неизбежно приводят к неверным выводам о характере отношений лексем, утратившим в силу разных причин тождество значений. В ряде случаев определяются как омонимы слова, имеющие общие генетические истоки. Нельзя признать обоснованным разделение *piti I 'bibere' и *piti II 'мучить, грызть, болеть'. Примеры типа русск. *пить*,

кровь, словен. *izpiti komu kri* 'уничтожить', болг. *пие ме* 'сильно болит внутри' и т.п. скорее говорят о метафорическом переосмыслении семантики гл. **piti* 'пить'. Так же трудно согласиться с реконструкцией для праславянского языка омонимов **plesti I* 'плести' (~ др.-в.-нем. *flehtan*, лат. *plectere* 'плести' и др.) и **plesti II* 'говорить, лгать' < **(s)pel-* 'говорить восторженно' (~ лит. *plèpti, plepiù* 'лгать', лтш. *plepêt* то же) с разными рядами индоевропейских соответствий. Вполне понятен и, как нам кажется, не требует особых доказательств переход от значения 'плести' > 'плести, вести разговор' > > 'сплетни'. Нет оснований предполагать разное происхождение для словен. *rázbor I* 'различие' и *rázbor II* 'пробор в волосах' с выведением последнего из индоевропейского **orz-òrъ* (> словен. *razòr* 'sulcus'). В пользу этимологического тождества этих образований говорят русск. *про-бо́р* 'раздел волос на две стороны', *пробра́ть, голову, волосы* 'сделать пробор, расчесать дорожку', семантически мотивированные гл. *пробрать* в значении 'прополоть, прочистить от сорной травы; проредить, выбрать лишнее' [Даль[2] III: 468]. Вслед за Скоком [Skok III: 231—232] авторы принимают для индоевропейского омонимы **seH-* 'сеять' (слав. **sě-ja-ti*) и **seH-* 'percribare' (ср. слав. **sito*) и пытаются разграничить продолжения этих основ в славянском материале, что едва ли оправдано (ср. [Фасмер III: 615]).

Одна из задач, решаемых словарем, состоит в том, чтобы выявить древнее, индоевропейское наследие в словенском словаре. В центре внимания изолированные лексические архаизмы с родственными связями только на индоевропейском уровне. В словаре немало слов, которым отведен статус изолированных образований в славянском словаре (ср. *sot*). Однако статус слова во многом зависит от этимологического истолкования. В качестве примера можно привести словен. *sprželj* 'насекомое' < **sprъž-elь*, сближаемое с литов. *sprìgis* 'щелк, щелчок', *sprìgė* 'Impatiens noli tangere', лтш. *spridzīgs, sprigans* 'быстрый, проворный'. Но не исключено, что обозначение насекомого сложилось на основе переосмысления *prga* 'пыль', т.е. 'нечто незначительное, очень маленькое' > 'насекомое', и связано отношением производности с глаголом *sprzéti* 'превратиться в пыль'. Семантика требует более гибкого подхода. В словен. *solina* 'навоз', *solíniti* 'удобрять, унавоживать', отнесенным к изолированным образованиям, авторы видят реликт и.-е. **sal-* 'нечистота, грязь' (> литов. *sal̃sti, salstù, saltaĩ* 'стать грязным, нечистым', арм. 'грязь', алб. *alb* 'эксперименты', хет. *šalpa-, šalpi-* то же и т.д.). Восстановить историческую преемственность значений помогает серб.-хорв. *со̀лило* 'место, где солится трава для скота', непосредственно мотивированное исходным значением 'соль'.

Словарь предлагает немало интересных этимологических решений. Ф. Безлай видел свою задачу в том, чтобы в трубных случаях показать многомерность этимологического пространства, всем ходом рассуждений он лишь в самом общем виде намечал решение, допуская как одно из возможных соотнесение анализируемого слова с тем или иным этимологическим гнездом. В III томе авторы не ограничиваются критическим аннотированием и реферативным обзором существующих этимологических версий, они стремятся к большей определенности, конкретности, предлагают свои, во многом оригинальные решения. Определяя генетические истоки словенской лексики, авторы опираются на имеющиеся этимологические разработки: в одних случаях принимается то или иное из известных толкований, в других делаются попытки развить и углубить одну из версий (ср. *stláti* < **stьlati* ~ лтш. *tilât* 'быть расстеленным, о льне, конопле', *tilêt* 'белить лен', лат. *lātus* 'широкий' < и.е. **(s)telH-* 'простирать'; *prt* 'кусок ткани' ~ литов. *spartas* 'завязка', греч. σπάρτος 'растение, используемое для изготовления веревок', арм. *p°arem* 'опоясать' и др.). В этимологически трудных случаях рассматриваются возможности разных подходов и оценивается их вероятность с учетом общих закономерностей. Многие словенские слова этимологизируются впервые. Трудности этимологизации словенской лексики сопряжены с тем, что в многочисленных диалектах слово претерпевает сложные фонетические преобразования, которые приводят к затемнению изначальной формы. Во многих случаях восстановление внутренней формы слова требует не только знаний в области истории языка, словенской диалектологии, но и догадки, остроумия, неординарного подхода. Авторам удается найти достаточно вероятные толкования для многих так называемых темных слов, среди них глагол *pogníti* 'искривить, изогнуть' и тесно связанные с ним имя *zapóga* 'сгиб', а также топоним *Zapóge* < **za-po-gъb-; pòrta* 'ливень, дождь' из **po-vьrta*, ср. серб.- хорв. диалект. *vrnuti* 'падать (о дожде, снеге)'; диалект. *prda* 'одежда, которую несут за невестой в день свадьбы' < **pridъ* 'то, что прибавляется, добавок, польза'; *prstjen* 'неприятный, противный' < **pri-stъdènъ*, далее к *studíti*; *rene* 'мотовило' < и.е. **ųert-nā* и др. Заслуживает внимания предположение о родстве словен. *senki* 'abortus, послед после родов' со ст.-чеш.

ksenci 'мальки жаб, рыб', польск. *ksieniec* 'съедобные внутренности рыб' и т.п. < **kъsenьci* (ЭССЯ, 13:245). На наш взгляд, найден верный путь к пониманию внутренней формы словен. *spolik* 'мелкие, незрелые зерна', которое вместе со словен. *izpoljek* 'плохой хлеб' соотносится с глаголом **jьzpolti*. Перечень удачных, вероятных этимологических решений без труда, легко может быть продолжен.

Естественно, любая словарная статья, любой этимологический этюд заслуживает самого внимательного изучения, более того, может и даже должен стать предметом специального анализа. По причине краткости рецензии мы не можем дать подробный разбор всего лексического материала, включенного в словарь. Этимологические этюды, разработанные авторами, построены на большом материале, содержат много интересных идей. Новый материал и несколько иной подход к оценке материала открывают новые перспективы в этимологическом изучении слова или позволяют внести некоторые коррективы в уже известные решения. Этимология, оставаясь гипотезой более или менее вероятной, дает богатый материал для размышлений и тем самым стимулирует более углубленное изучение разных аспектов сравнительной грамматики славянских языков, помогает мобилизовать имеющиеся средства для переоценки или, наоборот, утверждения, всестороннего обоснования того или иного решения. Анализируемая работа представляет собой солидный труд, который, несомненно, привлечет к себе внимание славистов и станет предметом специальных научных обсуждений, которые помогут осмыслить, обобщить опыт словенской этимологии в широком контексте исследований, посвященных реконструкции праславянского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аникин А.Е. 1988 — Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988.

Даль[2] — Толковый словарь живого великорусского языка. 2-ое изд. Спб.; М., 1880—1882 (1955). Т. I—IV.

Бенвенист Э. 1974 — Семантические проблемы реконструкции // Общая лингвистика. М., 1974.

Трубачев О.Н. 1980 — Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 5.

Фасмер — Этимологический словарь русского языка / Перевод с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. М., 1964—1973. Т. I—IV.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд // Под. ред. О.Н. Трубачева. М., 1974—1995 —. Вып. 1—22—.

Bezlaj F. 1956—1961 — Slovenska vodna imena. Knj. I—II. Ljubjana, 1956—1961.

Bezlaj F. 1966 — Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana. 1966.

Bezlaj F. 1955 — Krčevine // SR. 1955. № 1—2.

Bezlaj F. 1954 — Sinonima za pojem "locus fluminis profundior" // SR. 1954. Knj. V—VII.

Fraenkel E. 1955 — Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg—Göttingen, 1955.

Pokorny J. — Indogermanisches etymologisches Wörtebuch. Bern. 1949—1959. Bd. I—II.

Skok P. — Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971—1974. Knj. I—IV.

Sł. prasł. — Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc., 1974—1991—. T. 1—6—.

Л.В. Куркина

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1996

НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

27—29 октября 1995 г. в Норвегии, на горном курорте неподалеку от города Рюкан, проходил Международный симпозиум "Псковские говоры: диалектология и история русского языка", организованный Институтом восточно-европейских и восточных исследований при университете г. Осло. Главным организатором симпозиума был директор этого Института проф. Ян Ивар Бьёрнфлатен.

В работе симпозиума приняли участие ученые из Норвегии, России, Нидерландов, Швеции, Литвы, Германии и Финляндии.

Во вступительном слове Я. И. Бьёрнфлатен отметил особую историческую роль псковских говоров, давно привлекавших к себе внимание как диалектологов, так и историков языка. Это особое положение связано и с богатством памятников письменности, и со сравнительно незначительными миграционными процессами на псковской территории, и с наличием в псковских говорах ряда ярких диалектных особенностей.

С докладом на тему: "Из истории изучения псковских говоров" выступила Л.Я. Костючук (Россия), отметившая, что изучение отдельных сторон псковских говоров и памятников псковской письменности привело к систематическому и многоаспектному изучению уникальных псковских говоров. С 1945 г. оно велось по программе ДАРЯ; с начала 50-х годов по программе Б. А. Ларина стал осуществляться сбор материала для словаря нового типа ("Псковский областной словарь с историческими данными") — полного по отбору лексики с привлечением данных псковских памятников письменности. Обследование псковских говоров проходило также и с целью сбора материала для ОЛА и для топонимических наблюдений, а с 1989 г. — для Лексического атласа русских народных говоров.

С 1961 г. проходят регулярные научные конференции, посвященные изучению псковских говоров в их связях с другими говорами и языками (славянскими и неславянскими). В результате создаются сборники научных трудов, последний издан в 1995 г. С 1967 г. выходят выпуски Псковского областного словаря, вып. 11 — 1995 г.

Изучение псковских говоров ведется по разным уровням. Уникальный материал псковских говоров позволяет сделать и важные научные открытия. В частности, С.М. Глускина обнаружила отсутствие второй палатализации в северо-западных русских говорах. Лингвистические факты в совокупности с данными археологии и истории помогают в определении этно-исторических судеб населения Псковской земли в глубокой древности.

В докладе А. С. Герда (Россия) был поставлен вопрос об истории формирования диалектных границ на территории Новгородской и Псковской областей, отмечалось несовпадение хронологии изоглосс и исторических границ.

В докладе В. Вермеера (Нидерланды) обсуждались проблемы, связанные с гипотезой о тождественности носителей того общеславянского (ранне-восточнославянского) диалекта, в котором не состоялась вторая палатализация, с летописными кривичами.

Л. Е. Грушина (Россиия) посвятила свой доклад населению Изборского края в конце первого—начале второго тысячелетия (по археологическим данным).

В. Б. Крысько (Россия) выступил с докладом на тему: "Древние псковско-новгородские говоры на общевосточнославянском фоне". Он сопоставил археологические и лингвистические аргументы в пользу гипотезы о западнославянско-древненовгородских генетических связях и показал зависимость выводов археологии от выводов лингвистики, которые, как он полагает, базируются на недостаточно надежных методологических и фактологических основаниях. Опираясь на

альтернативную концепцию об ильменско-словенском характере древненовгородских археологических находок, предложенную петербургскими археологами и языковедами, В.Б. Крысько выдвинул гипотезу, согласно которой древненовгородский диалект был в основе своей ильменско-словенским, а языковая ситуация Древнего Новгорода как и других областей Древней Руси, характеризовалась сосуществованием трех языковых систем: церковнославянской, стандартной древнерусской и местного диалекта.

Л. Я. Костючук выступила с докладом "Старое и новое в псковских говорах как закономерность развития и функционирования", в котором отметила, что псковские говоры продолжают сохранять явления прошлого, которые в условиях современного функционирования развиваются, видоизменяются, что приводит к новым отношениям в системе парадигмы явлений. Было показано функционирование слов с корнем *дым-* (*вздымать* и др.), сложные отношения с новообразованиями корня *дын-*, то ли возникшего из переразложения в структуре слова (ср. *вздынуть*), то ли сохраняющего древний суффиксальный элемент *н* вместо *м*. Старое и новое четко прослеживается на судьбе семантической структуры слов, семантико-слово-образовательных отношений ряда слов (например, с корнем *дроб-/дреб-*). Полнота сведений, учет свидетельства памятников письменности, записей иностранцами русской речи в прошлом способствуют пониманию лексико-семантической системы говоров.

Л. М. Карамышева (Россия) сделала сообщение об истории рыболовецкой лексики в русских говорах.

Т. А. Пецкая (Россия) говорила об истории возникновения названий некоторых мер. Она обратила внимание слушателей на то, что в исследованиях по метрологии особое место занимают меры сыпучих тел. В докладе были проанализированы наименования некоторых мер сыпучих веществ в псковских говорах сопоставительно с данными памятников псковской письменности. Привлечение аналогичных материалов по другим говорам позволяет также выявить своеобразие этой тематической группы слов.

Р.Ф. Касаткина (Россия) выступила с докладом на тему "Наблюдения над ударением в говорах Гдовского района Псковской области". Основное внимание было уделено функционированию словесного ударения в спонтанной диалектной речи, а также особенностям ритмической структуры слова гдовских говоров. Было показано, что при преобладании в фонетической системе говоров севернорусских черт им свойственна просодия слова, типичная для ареала среднерусских говоров — владимиро-поволжских и подмосковных, а также для некоторых южнорусских (рязанских) говоров. При такой просодии слова особенно выделяется гласный 1-го предударного слога — длительностью и силой. Поэтому при прослушивании текстов устной спонтанной речи у исследователя нередко возникают затруднения с определением места словесного ударения.

К. Саппок (Германия) выступил с докладом на тему: "Диалектный текст: методологические и теоретические аспекты". Докладчик рассмотрел с точки зрения когерентности, употребления дейктических слов и сигналов чужой речи фрагменты звучащего диалектного текста из книги "Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Вып. 1. Севернорусские говоры" (Отв. ред. Р.Ф. Касаткина. М.; Бохум, 1991), показав при этом, что их восприятие и интерпретация в диалектных текстах сильно зависят от функционирования паралингвистических признаков.

Л. Стеенсланд (Швеция) в докладе "Был ли Псков местом рождения русского жанра толковых азбук?" продемонстрировал, что две определенные толковые азбуки связаны друг с другом и тематически, и хронологически. Обе они имеют антиеретический (а не антииудейский) характер и направлены, как кажется, против стригольников в Пскове. Не исключено, что это вообще первые русские толковые азбуки.

З. В. Жуковская (Россия) в докладе "Проблемы картографирования псковских лексем" говорила о том, какие трудности возникают перед картографами при составлении легенды к карте, при выборе знака, установлении порядка слов в легенде и распределении знаков на карте, а также о том, какие карты уже составлены для Лексического атласа русских народных говоров.

Я. И. Бьёрнфлатен сделал доклад на тему: "Лингвогеография Псковской области". На основании обследования псковских говоров, осуществленного автором на протяжении нескольких лет, выявлены ареалы ряда псковских диалектных черт. Основное внимание было обращено на распространение и историю слов с сочетанием *ке* (*кеп* "цеп", *кедить* "цедить").

В докладе Н. В. Большаковой (Россия) "Архаические элементы в лексике псковских говоров" рассматривались некоторые направления в исследовании лексико-семантической системы псковских говоров,

при этом особое внимание было уделено анализу лексики в семантико-деривационном аспекте. Это позволяет выявить типологически близкие элементы значения, в том числе и архаические, а также проследить динамику их развития.

В. Н. Чекмонас (Литва) в докладе "Особенности реализации согласных [ц] и [ч] в говорах Псковской области" показал, что твердые [ц] и [ч] во всех говорах Псковской области являются апикальными слабовеляризованными звуками, они характеризуются относительной краткостью и сильным взрывом. По мнению докладчика, [ц] и [ч] выступают в нормальном, сильном (в конце слова и фразы) и слабом вариантах. Слабыми [ц] и [ч] являются в конце слов перед последующими [т, д, н]; в этой позиции происходит систематическое "усечение" аффрикат и замещение их [т, д] ([т', д'] перед последующими мягкими), например [ат'эт та] "отец-то". На основе данных, извлеченных из магнитофонных записей, собранных в более чем 80-ти пунктах, автор показал, что "усечение аффрикат" является живым процессом, известным всем говорам Псковской области.

Доклад Л. Л. Касаткина (Россия) был посвящен анализу консонантизма среднерусских говоров Гдовского района Псковской области, севернорусских по происхождению и сохраняющих ряд северных черт. Основное внимание было обращено на фонетические особенности, связанные с противопоставлением согласных по напряженности/ненапряженности и с заменой его на противопоставление по глухости-звонкости.

В докладе З. Хонселаара (Нидерланды) была охарактеризована система вокализма деревни Островцы Гдовского р-на Псковской области. Это исследование представляет собой первую часть полного описания говора, в которое войдут также морфология, словарь и диалектные тексты.

М. Савийерви (Финляндия) выступила с докладом "Прибалтийско-финско-русские контакты и севернорусские диалекты". Она показала, что финские, карельские и вепсские диалекты сохранили в своей лексике следы новгородских, архангельских, олонецких и вологодских диалектов. Эти следы пока еще совершенно не исследованы с точки зрения диалектологии.

С. Б. Степанова (Россия) посвятила свое сообщение очерку фонетической системы говора д. Роскопель Гдовского р-на Псковской области.

Работа симпозиума завершилась круглым столом "Состояние и очередные задачи изучения русских говоров". В работе круглого стола приняли участие Л. Я. Костючук, А. С. Герд, Р. Ф. Касаткина, Б. Стунджа (Литва) В. Н. Чекмонас (Литва), П. Хаутзагерс (Нидерланды).

Л. Я. Костючук говорила о необходимости продолжения работы по комплексному изучению псковских говоров, А. С. Герд о ведущейся работе по изданию Лексического атласа русских народных говоров. Р. Ф. Касаткина сказала, что неотложной задачей диалектологической работы является проведение массовых магнитофонных записей современных говоров, в том числе и в тех пунктах, которые уже были обследованы ранее. В. Н. Чекмонас предложил создать хрестоматию звучащих текстов псковских говоров. П. Хаутзагерс отметил, что самое заметное в этом симпозиуме, наряду с существенностью и высоким качеством докладов, было то, что представители стольких разных стран осознали важность своей общей цели и выразили готовность обмениваться не только результатами своих исследований, но и материалами.

Подводя итоги симпозиума, его организатор Ян Ивар Бьёрнфлатен отметил, что доклады и состоявшаяся дискуссия отражают высокий уровень исследований по синхроническому и диахроническому изучению говоров Псковской земли, и что подобные симпозиумы полезно проводить и в будущем.

Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина (Москва)

21–22 ноября в Санкт-Петербурге проходила 2-я научная конференция по тунгусо-маньчжурским языкам, организаторами которой выступили отдел алтайских языков ИЛИ РАН и кафедра алтайских языков РГПУ им. А.И. Герцена*. В конференции приняли участие сотрудники научно-исследовательских институтов РАН, преподаватели и студенты вузов Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Были заслушаны и обсуждены 15 докладов по трем основным направлениям: 1) проблема грамматики тунгусо-маньчжурских языков (4 доклада); 2) взаимодействие лексических систем тунгусо-маньчжурских

* О 1-ой конференции см. в журн. "Вопросы языкознания", 1994, № 3.

и, шире, алтайских языков; состояние этимологических исследований (5 докладов); 3) этнография, история и культура тунгусо-маньчжурских народов.

И.В. Недялков (Санкт-Петербург), назвал основные семантические (аспектуальные и темпоральные) признаки 16 эвенкийских деепричастий, по которым он подразделил их на две группы: контекстные (полисемичные) и специализированные (моносемичные). Контекстные деепричастия представлены 5 формами, выражающими в качестве главного одно из таксисных значений – одновременность (*-на, -дяна*), предшествование (*-ми, -рАки*) и следование (*-дАлА*). Специализированные деепричастия в свою очередь подразделяются на таксисные (*-кса, -кАним, -мнен, -мнак, -наси, -чАлА, -ктАвА* и *-дЯнмА*) и нетаксисные формы. Последние выражают либо значение цели (*-дА, -вунА*) либо значение результата (*-кнАн*).

С. Л. Чареков (Санкт-Петербург), представив доказательства гипотезы о происхождении показателей локативных падежей эвенкийского языка из словообразовательных суффиксов наречий места, выделил несколько этапов в развитии их от конкретных значений, близких к значениям послелогов, до отвлеченной ("грамматической") семантики – такой, как обозначение адресата действия, производителя действия и т.д.

Н. И. Гладкова (Санкт-Петербург), посвятившая свой доклад сопоставлению падежных форм эвенкийского и эвенского языков, подчеркнула их сходства и различия, которые в наибольшей мере проявляются в винительном неопределенном эвенкийского языка и в незначительном падеже эвенского. Разнообразны значения падежей – от 2 до 8. При этом в ряде случаев разными падежными формами выражаются одинаковые значения, например, совместность – формами совместного и творительного падежей. Указывая на отсутствие в грамматиках и учебных пособиях единого критерия выделения падежей, Н.И. Гладкова считает необходимым использование в соответствующих целях двух уровней: семантического и синтаксического.

Вопросы, связанные с созданием исторической грамматики удэгейского языка, были затронуты в докладе А. Х. Гирфановой (Санкт-Петербург). Так для бесписьменных и младописьменных языков возможности привлечения языковых данных, расположенных в определенной временной последовательности, ограничены, написание исторической грамматики предполагается осуществить 1) путем изучения изменений значимых элементов, наблюдаемых в текстах; 2) посредством сопоставления фактов удэгейского языка с фактами родственных языков; 3) через воссоздание истории удэгейского языка на основе тщательного анализа результатов сравнительного изучения тунгусо-маньчжурских языков.

А. М. Щербак (Санкт-Петербург) в докладе "Тюркские и монгольские лексические заимствования в тунгусо-маньчжурских языках. (К подготовке материалов для этимологического словаря)" показал, что подготовка материалов для этимологического словаря тунгусо-маньчжурских языков – важный этап их дальнейшего изучения, характеризуемый разветвлением лексикологических исследований, поисками новых решений в области фонетики и морфологии, объединением усилий представителей разных языковых специальностей: тунгусо-маньчжуроведов, тюркологов, монголистов, китаистов, палеоазиатоведов. Принимая во внимание высокую степень смешанности лексического состава тунгусо-маньчжурских языков, первоочередной задачей на этом этапе следует считать выделение и описание заимствованного фонда, в котором явно преобладают слова монгольского и тюркского происхождения. Убедительных данных, свидетельствующих о непосредственных контактах тунгусо-маньчжурских и тюркских языков в прошлом нет, и поэтому правомерно говорить о монгольских языках как источнике заимствования не только монгольских, но и тюркских слов. Наличие посредника в тюркско-тунгусо-маньчжурских связях предполагает тщательный учет промежуточных изменений, имевших место в ходе фонетического освоения тюркизмов в монгольской языковой среде, в частности так называемого перелома i, преобразования сочетаний согласных с гласными и т.д.

Внимание А. М. Певнова (Новосибирск) привлекли тюркские заимствования, обнаруживаемые лишь в чжурчженьском письменном языке. С одной стороны, такие заимствования отражают определенный этап этнической истории чжурчженей, с другой, позволяют сделать вывод, что генетически близкий к чжурчженьскому маньчжурский язык начал свое самостоятельное развитие еще до XII в. н.э., до появления чжурчженьского письменного языка (иначе эти тюркизмы были бы и в маньчжурском). Кроме тюркизмов, в чжурчженьском письменном языке есть лексические заимствования из монгольских, китайского, корейского и других языков. Ограниченный объем известной чжурчженьской лексики (около 1000 слов) вынуждает ограничиться ориентировочной оценкой иноязычного влияния, однако для общего вывода о смешанном лексиче-

ском составе чжурчженьского письменного языка достаточно и этих фактов.

Тема доклада А.А. Бурыкина (Санкт-Петербург) – слова неизвестного происхождения в якутском и других тюркских языках Сибири. По мнению докладчика, часть встречающихся в якутском языке слов "неизвестного происхождения" – заимствования из хатыйского, ненецкого, чукотского, юкагирского языков, контакты с которыми пока не изучены. Среди заимствований из тунгусо-маньчжурских и монгольских языков в якутском и других тюркских языках Сибири прослеживаются такие формы, монгольский или тунгусо-маньчжурский архетип которых полностью утрачен или представлен в живых языках иными морфологическими вариантами. Для части изолированных слов названных языков после восстановления тюркских праформ обнаруживаются закономерные параллели в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках в строгом соответствии с уточненной сеткой фонетических соответствий, установленных для всех трех групп алтайских языков. Наличие какого-либо неидентифицированного субстрата в якутском языке при этом не усматривается.

С. Е. Яхонтов (Санкт-Петербург) подробно изложил свою точку зрения на два алтайских слова китайского происхождения. Первое из них – нанайское *пудин* "красавица" и соответствующие слова в маньчжурском и монгольских языках. Все они восходят к китайскому *фужэнь* "госпожа". Второе – эвенкийское *hantaй ~ antaй* "колдун, знахарь". Оно заимствовано эвенкийским языком из монгольского, ср.: среднемонгольское *hab* "волшебство, колдовство". Закономерно соответствующим ему в маньчжурском языке мог бы быть корень слова *фафун* "закон". И то, и другое следует возвести к китайскому *фа* (среднекитайское *fap*) "закон", "магия". Фонетический облик заимствований показывает, что они относятся ко времени не ранее VII в. В обеих группах слов соблюдаются обычные для алтайских языков фонетические соответствия: нан. *п* – маньчж. *ф* – ср.-монг. (и эвенкийск.) *h*. Итак, наличие регулярных соответствий не может быть доказательством ни исконного характера сравниваемых слов, ни генетического родства сравниваемых языков.

Тунгусоведческие исследования в республике Корея подробно охарактеризовал В. Д. Аткинин (Санкт-Петербург). Нынешнее их состояние отражает в определенной мере тот интерес, который проявляют лингвисты к проблеме родства корейского и алтайских языков. Можно выделить два типа исследований, в которых так или иначе рассматриваются материалы тунгусо-маньчжурских языков. Первый тип – "чисто" тунгусоведческие исследования. Второй, наиболее распространенный, охватывает работы, выполненные на материале тунгусо-маньчжурских языков, но служащие целям обобщений широго плана и, прежде всего, ориентированные на решение проблемы алтайского родства.

А.А. Петров (Санкт-Петербург) предпринял попытку определить содержание понятия языковой картины мира на материале языка эвенов, эвенков, негидальцев, солонов. По мнению докладчика, в языке находят отражение представления, связанные с особым менталитетом тунгусов, их мировидением, мироощущением. Проблема же менталитета должна рассматриваться комплексно, с учетом сложного соотношения разных картин мира: концептуальной, языковой, мифологической.

В докладе Н.Я. Булатовой (Санкт-Петербург) были приведены сведения об истории и языке малоизвестного тунгусского народа с самоназванием манегир ~ манягир ~ манагир. По материалам научных исследований XVII–XX вв. изложена история расселения манегров, дана справка о численности, охарактеризована хозяйственная деятельность (вначале манегры были оленеводами, затем – коневодами и земледельцами). Н. Я. Булатова во время экспедиционной поездки в Амурскую область летом 1984 г. (совместно с Г.И. Варламовой) впервые собрала уникальный лексический материал (около 1000 слов), анализ которого показывает, что язык манегров – эвенкийский, подвергшийся влиянию маньчжурского и монгольских языков.

Л.И. Сем (Санкт-Петербург) проанализировала названия и самоназвания четырех тунгусо-маньчжурских народов – нанайцев, ульчей, ороков и орочей, относящихся к так называемой нанайской, или нанийской, подгруппе.

М.М. Хасанова (Новосибирск) на материале негидальских героических сказок выделяет "фольклорные знаки" – элементы, возникающие в сюжете и предопределяющие его дальнейшее развитие. Каждый из таких знаков не строго детерминирует последующее развитие действия, а лишь предполагает 2–3 вполне конкретных варианта, один из которых реализуется в повествовании.

Тема доклада Т.Д. Булгаковой (Санкт-Петербург) – нанайская сказка о "Кащее", сюжет которой рассматривается в свете шаманских представлений о тайной вражде шаманов, о совершаемых ими во сне сражениях, о неправдоподобной их неуязвимо-

сти, объясняемой тем, что души их спрятаны в недоступном для врага месте, и о поисках духами-помощниками сражающихся шаманов этих спрятанных душ.

Историко-этнографические сведения и сведения о языке сибинцев мало известного в исторической и географической литературе народа, привела в своем докладе Е.П. Л е б е д е в а (Санкт-Петербург). Сибинцы (сибо) – ветвь маньчжурского народа – говорят на диалекте, близком к маньчжурскому литературному языку. Прародина сибо – Западная Маньчжурия, районы, расположенные близ городов Бодуне (Фуюй) Цицикар, где можно проследить их проживание с конца II тысячелетия до н.э. В 1700–1701 гг. бодунеские сибо были переселены в район г. Мугдеа (Шэньян), а цицикарские – в Хухо-хото (Внутренняя Монголия). После окончания Чжунгарской войны часть сибо в 1768 г. была переселена из Мукдена в Синьцзян и расселена в районе реки Или, где проживает и сейчас. Приблизительная численность их – 25 тысяч человек. Часть сибинцев после 1949 г. переселилась на Тайвань.

И.В. Недялков, А.А. Петров
(Санкт-Петербург)

CONTENTS

A.V. Bondarko (St.-Petersburg). R.O. Jakobson's theory of invariance and the problem of general meanings of grammatical forms; G.A. Klimov (Moskow). Two millinaries of external history of a peripherial language (the case of Svanian); E.V. Uryson (Moscow). Syntactical derivation and the "naïve" image of the world; N.V. Percov (Moscow). Grammatical and obligatory phenomena in language; P.V. Petruxin (Moscow). Narrative strategy and the use of verbal tenses in Russian chronicles of the XVII century; E.M. Breido (Moscow). The interval model of Russian metrics; A.V. Sidel'cev (Moscow). On the derivation om word-pairs "adjective – substantivized adjective" in Hittite-Luwian; **From the history of science**: L.Yu. Astaxina (Moscow). Old Russian manuscript card-catalogue of the XI–XVII centuries; **Reviews**: M.M. Makovskij (Moscow). *T.V. Toporova.* Semantic structure of the Old Germanic image of the world; V.A. Vinogradov (Moscow). *Akamatsu Isutomu.* Essentials of functional phonology; L.V. Kurkina (Moscow). *F. Bezlaj.* Etimoloski slovar slovenskega jezika. **Scientific life.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.04.96 Подписано к печати 06.06.96 Формат бумаги 70 × 100 1/16
Офсетная печать Усл.печ.л. 11,7 Усл.кр.-отт. 19,5 тыс. Уч.-изд.л. 14,0 Бум.л. 4,5
Тираж 1637 Зак. 18

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка 18/2. Институт русского языка, телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6